Николай Февр

СОЛНЦЕ ВОСХОДИТ НА ЗАПАДЕ

Buenos Aires
Año del Libertador General San Martín
1950

NICOLAS FEVR

Sale el Sol en el Occidente

НИКОЛАЙ ФЕВР

СОЛНЦЕ ВОСХОДИТ НА ЗАПАДЕ

Издание газеты
«Новое Слово»

[redacted]

Буэнос - Айрес Año del Libertador General San Martín 1950

Queda hecho el depósito
que marca la ley 11.723.

Обложка работы художника Н. Тищенко.

Impreso en la Argentina.
Printed in Argentina.

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Второй мировой войне будет посвящено много книг. Первые из них уже начали появляться в разных странах и на разных языках. Книги эти не всегда равноценны по своему содержанию и не всегда представляют одинаковый интерес для русского читателя.

Книга Николая Февра «Солнце восходит на западе», предлагаемая нами Вашему вниманию, интересна прежде всего тем, что она является живым человеческим документом, расчитанным в первую очередь на русского читателя.

Николай Февр является представителем тех многочисленных русских людей, которые в начале германо-советского столкновения искренне поверили в объявленный официально Германией «крестовый поход против большевизма» и пожелали, в том или ином виде, принять участие в этой борьбе. Позднее, разочаровавшись в своих надеждах, эти люди отошли от участия в событиях, с тем чтобы снова принять в них участие в трагические дни власовской эпопеи. Люди эти сохранили твердое убеждение в том, что большевизм это – «враг номер первый российских народов» и, что про-

тив него необходимо и дальше бороться, используя для этой борьбы каждую возможность, которая не находится в противоречии с национальным достоинством русского человека.

Книга Николая Февра представляет интерес не только как исторический материал, вышедший из под пера единственного русского журналиста - эмигранта, побывавшего на родной земле после двадцатилетнего отсутствия. Несмотря на то, что события описанные в ней относятся к уже отгремевшим дням второй мировой войны, книга эта в полной мере сохранила свою злободневность Больше того — многие ее страницы приобрели особое значение именно теперь, в сопоставлении с событиями сегодняшнего дня и, быть может, станут еще более значительными в свете событий дня завтрашнего.

Издательство

I

....Двадцать второе июня тысяча девятьсот сорок первого года. Утро. Город Белград. Я сижу в своей комнате. Из окна я вижу часть главной улицы югославской столицы и солдат германской оккупационной армии, гуляющих по ней. Радио, поставленное на берлинскую волну, гремит бравурными маршами. В промежутках между ними, голос диктора и грамофонные диски, с записанными на них речами вождей национал-социалистической Германии, еще и еще раз, возвещают миру ошеломляющую весть: -война Германии против Советского Союза.... Война!....

....Девятое мая тысяча девятьсот сорок пятого года. Вечер. Маленькая деревушка в Верхней Австрии. Я сижу на балкончике крестьянского домика. Внизу, по дымящейся пылью ленте дороги, ползут металлические гусеницы передовых частей американской оккупационной армии. Радио, поставленное на московскую волну, глухо рокочет от орудийных салютов, которыми Москва отмечает сегодняшний день. Голос диктора, читающего приказы по красной армии, возвещает миру, никого уже не удивляющую весть о безоговорочной капитуляции Германии.... Капитуляция....

Между этими двумя событиями лежит три года, десять месяцев и две недели. Лежит тысяча четыреста семнадцать дней. Тысяча четыреста семнадцать дней,

до того наполненных кровью и слезами, надеждами и разочарованиями, героизмом и подлостью, насилием и подвигом, что в другое время всего этого хватило бы на сто лет.

В моей жизни — жизни журналиста, эти тысяча четыреста семнадцать дней, оказались наполненными таким количеством покрытых километров, неизгладимых впечатлений и незабываемых встреч, что в иных условиях, этого хватило бы на десяток доброкачественных журналистов мирного времени.

Этому страшному отрезку, в истории наших дней, будет впоследствии посвящено много печатных томов. Военные специалисты подробно разберут ход гигантских военных операций, невиданных еще в истории ратного дела. Политики, по примеру прошлой войны, в своих мемуарах познакомят читателей с закулисной стороной ныне отгремевших дней. Писатели, на кровавой канве этих сумрачных лет, создадут увлекательные и захватывающие романы.

А потом, значительно позже, историки, как пчелы, перелетающие с одного цветка на другой, будут с головой уходить в эти печатные труды, для того чтобы выбрать из них самое ценное и перенести его на кончике своего пера в драгоценные соты истории. Не той истории, которая писалась в Германии национал-социалистами и не той, которая пишется теперь в Советском Союзе большевиками, а той далекой беспристрастной истории, которая будет написана тогда, когда и само представление о большевизме и национал-социализме начнет стираться в недоуменном мозгу более счастливых поколений.

Если хоть одна тысячная доля, из предлагаемых мною вниманию читателей записей, осветит хоть на секунду удовлетворенной улыбкой лицо одного из историков будущего, то это будет достаточным удовлетворением для автора. А это может случиться только в том случае, если раскрывши пожелтевшие страницы этих записей историк почувствует в них то, что всегда было и будет самым ценным в подобного рода литературных документах. А именно: — п р а в д у .

К ней я и буду стремиться от первой и до последней страницы моих записей, кстати, сделанных не потом, а целиком набросанных еще в ходе событий, о которых идет речь на этих страницах.

С этой задачей мне больше всего поможет справиться то обстоятельство, что в начале гигантского столкновения на востоке Европы у меня не было нарочито предвзятого отношения, ни к большевизму, ни к национал - социализму, ибо оба они были тогда чужды и далеки для меня, выросшего и вне России, и вне Германии, под сенью демократического дерева, раскинувшего свои ветви над версальской Европой. А в ходе этого столкновения, когда я вблизи познакомился и с одним, и с другим, я одинаково искренне пожелал, чтобы в вихре наступивших событий нашли свою могилу и большевизм, и национал-социализм, обе политические системы не достойные, ни истории цивилизованного человечества, ни имени Человека вообще.

Теперь, когда отзвучали первые громы, далеко еще не закончившейся мировой грозы, национал-социализма больше нет. Но его старший единокровный брат — большевизм продолжает существовать. Продолжает существовать и угрожать существованию и тех немногих идеалов, которыми еще дышет человечество и которые оно с таким трудом, на протяжении тысячелетий, отвоевывало от царства невежества и мрака.

Если на страницах моих записей большевизму будет уделено значительно больше места, чем национал-социализму, то, с одной стороны, это явится следствием именно того, что национал-социализм уже мертв и желающих вбить лишний гвоздь в гроб покойника найдется, вероятно, значительно больше, чем тех, кто попытается еще раз поднять свой голос против благополучно здравствующего большевизма, собирающегося прикрыть гробовой крышкой весь цивилизованный мир.

С другой же стороны вполне понятно, что большевизм для меня, как русского, является темой гораздо более животрепещущей, нежели германский национал-социализм. Это же относится и к тому русскому чита-

телю, для которого я в первую очередь и пишу свои записи.

Я делаю это не только, как единственный русский журналист из Европы, которому удалось во время войны объехать значительную часть Европейской России и наблюдения, которого могут, таким образом, представлять несомненный интерес, но и как убежденный, до последнего моего дня, враг большевистской системы, которым я сделался не в будничной скуке эмигрантских дней, а в долгих странствованиях по просторам обезображенной большевизмом, родной земли.

Пока будет существовать большевизм, будут существовать и его враги. И чем дольше будет существовать он, тем больше настоящих и упорных врагов будет выковано в борьбе с ним.

Памяти борцов против большевизма, отдавших в этой борьбе свою жизнь, участникам нынешней и будущей борьбы с этим безжалостным врагом Правды, Добра и Красоты, пусть будут посвящены страницы моих записей.

II

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О СЕБЕ. МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ ЭМИГРАЦИИ. ПРОЩАЙ БЕЛГРАД.....

Резкий толчек поезда отрывает меня не только от вокзального перона, но и от годами налаженной и устоявшейся жизни. Медленно проплывают мимо обгоревшие скелеты белградского вокзала. Поезд со скрипом вползает на только что починенный, после подрыва, мост через реку Саву и осторожно добирается до другого берега. Из окна вагона я вижу так хорошо знакомую мне серожелтую полосу реки, которая сегодня легла резкой гранью не только между мной и городом, оставшимся по ту сторону ее, но и между двумя совершенно различными этапами моей жизни.

Мерно укачивающий ход поезда располагает всегда к раздумью. Невольно поддаюсь этому, неписанному для всех пассажиров всего мира, закону и пробую восстановить в своей памяти главные вехи того пути, который судьба проложила между моими «вчера» и «завтра».

Начало войны Германии против Советского Союза застало меня в столице Югославии, Белграде, где я

находился в то время на положении профессионального журналиста и русского эмигранта.

Последнее обстоятельство может сразу же внести сомнение в душу читателя относительно сказанных мною выше слов об отсутствии у меня предвзятого отношения к большевизму.

Однако, для того чтобы между мною и читателем не было никакой недоговоренности, я должен сразу же рассеять это сомнение ссылкой на то обстоятельство, что когда 20 января 1920 года английский угольщик «Вотан», стоявший на одесском рейде, принял меня в свою неуютную утробу для того чтобы сделать из меня политического эмигранта, в моем ученическом билете значилось, что я был кадетом Киевского Кадетского Корпуса и имел двенадцать с половиной лет отроду.

Таким образом, в момент оставления мною родины, мое отношение к большевикам исчерпывалось лишь чувством благодарности за то, что они оторвали меня от скучной школьной парты и бросили на огромный английский корабль, который повезет меня не то в Турцию, не то в Африку, а может быть даже в саму Америку, родину Всадника без головы, Кожаного чулка и Ястребиного когтя.

То обстоятельство, что корабль привез меня не в Америку, а на Балканы и забросил в недра Боснии, втечение всех лет, отданных средней школе, не изменило моего отношения к большевизму, тем более, что боснийские минареты, фески и чадры, до некоторой степени вознаграждали за отсутствие майн-ридовской экзотики.

Позже — университет и затянувшийся на несколько лет жестокий поединок с жизнью за право занять в ней какое то место, тоже мало способствовали вдумчивому освоению того, что произошло на моей родине и выяснению собственной позиции в этом вопросе.

А еще позже, читая советскую и эмигрантскую литературу о революции и гражданской войне, а равно советские и эмигрантские газеты, отражавшие, каждые по своему, нынешнюю жизнь на родине, я одинаково

не верил полностью ни тем, ни другим, предполагая, что правда находится где то по середине.

Поединок с жизнью, окончившийся временной победой, вывел меня на дорогу журналиста. Но я никогда не работал ни в одной эмигрантской газете. Узость тем, затрагиваемых в них меня угнетала, а старые и непонятные счеты, сводимые на их страницах представителями потонувшего мира, действовали на меня отталкивающе. Еще меньше интересовали меня многочисленные эмигрантские организации и я никогда не состоял ни в одной из них.

Я был представителем того поколения русской эмиграции, которое выросло и сформировалось на чужбине. А это обстоятельство не могло не сказаться на нашем поколении. И оно сказалось по разному. Молодое эмигрантское поколение в общем делилось на три неравные по количеству группы. Первая группа, к чести нашего поколения самая малочисленная, состояла из тех, кто совершенно отрекся от всего русского и растворился в новой среде, стараясь сделаться хорошим французом, немцем или сербом. Вторая, более значительная группа, двинулась по старым проторенным политическим тропам, пытаясь установить на них какие то новые вехи и варилась в эмигрантском соку, внося немного оживления в унылую сутолоку серых будней. И, наконец, третья, самая многочисленная группа, состояла из тех, кто не забыл, что он русский, но и не пристал ни к одной из эмигрантских группировок, не веря чужому опыту, в столь важном жизненном решении. как определение своего отношения к происходящему на его родине.

Представители этой группы росли какими то дичками на пестром эмигрантском поле, бессознательно ожидая, какого то своего момента, когда они сами, без посторонней помощи, смогут занять ту или иную позицию к происходящему на их родине. И, если бы в этот момент, они убедились, что большевизм хорош и необходим русскому народу, то так же легко стали бы его искренними сторонниками, как убедившись в противном, сделались бы его заклятыми врагами.

Я принадлежал, именно, к этой третьей группе.

Этим, казалось бы могли быть исчерпаны сомнения и читателя и мои собственные. Но сегодня мне хочется быть придирчивым и педантичным. И я сам задаю себе вопрос, — а может быть, так называемая тоска по родине восстановила меня подсознательно против большевизма Быть может, естественная тяга к родным местам и препятствие к этому в лице большевиков, уже автоматически должны были настроить меня против советского режима?

Тоже нет. Что такое, в сущности эта пресловутая тоска по родине, которая часто импонирует людям не имевшим случая испытать ее и из которой некоторым предприимчивым изгнанникам, иногда удается сделать довольно выгодную «профессию»?

Тоска по родине это, прежде всего болезнь. И при том болезнь душевная. И как всякая болезнь, а тем более болезнь душевная, она у каждого отдельного человека, принимает свои особенные и только данному человеку свойственные формы. У одних тоска по родине выражается в тоске по степным просторам Украины, у других по громадам кавказских гор, у третьих по родным оставшимся на родине, у четвертых по родному селу и, наконец, у пятых просто по той хорошей жизни, которой они жили у себя дома. А если жизнь эта была там тяжелая и безрадостная, а на чужбине им удалось устроиться значительно лучше, то таким людям тоска по родине бывает, подчас, и вообще незнакома. Я не раз встречал самых простых добротных русских людей, влачивших на родине тяжелую чернорабочую лямку, а заграницей вдруг удачно расторговавшихся, разбогатевших, обзаведшихся домом, землей и семьей. Когда я их спрашивал — хочется ли им вернуться на родину, они обычно отвечали, что иногда очень и очень хочется — «эдак одним глазком заглянуть в свое село (или город) и посмотреть, что там делается.....» Мне было понятно их желание. Но это уже не тоска по родине, а просто любопытство.

Тоска по родине непременно у каждого человека имеет, что то свое, личное, конкретное или слагается

из нескольких таких личных и конкретных чувств. Отвлеченная же, какая то всеобъемлющая тоска по родине, встречается только у романистов никогда вынужденно не покидавших своей страны и взявшихся писать роман из жизни очередных, входящих в моду, политических изгнанников.

Когда я пробовал определить в чем заключается моя тоска по родине, то всегда на первый план у меня выступало чувство тоски по моей матери, оставшейся в Советском Союзе. А когда, в 1935 году маленький серый конверт, с лиловыми чернильными строчками, принес мне известие, что у меня больше матери нет, я в значительной степени излечился от душевной болезни именуемой тоской по родине. Излечился во всяком случае настолько, что чувство это даже подсознательно не могло влиять на мое отношение к политическому режиму, существовавшему на моей родине.

Но, повидимому, болезнь эта подвержена тем же законам, которые существуют и для других болезней души. А именно: — она может возобновиться при каком-нибудь внутреннем толчке, связанном с внешним потрясением.

Внешним потрясением, вызвавшем в свою очередь, какой то внутренний толчек во мне и было 22 июня 1941 года или, другими словами, начало войны между Германией и Советским Союзом.

С этого дня я лишился того относительного душевного покоя, который можно было иметь в городе недавно пережившем воздушные бомбардировки и оккупированном чужими войсками.

Я почувствовал, что вот теперь наступил тот момент, когда можно каким то путем пробраться на родину и, наконец, самому убедиться в том, что с ней произошло за эти долгие и смутные годы.

Это тем более, что если тоска по родине является величиной относительной, то любовь к родине и долг перед ней, представляют собой величины постоянные и определенные. Эти величины требовали немедленного решения и участия, в том или ином виде, в наступивших событиях. Мои мысли, как и мысли со-

тен тысяч русских людей, по эту сторону рубежа, естественно устремились на восток.

Путь на родину для русских эмигрантов в эту войну (как, впрочем и в прошлую) лежал, увы, через Берлин. А для русского журналиста путь этот лежал через единственную к этому времени русскую газету в Европе, берлинское «Новое Слово».

Спустя несколько дней после начала войны я получил от редакции этой газеты предложение — принять участие в ее работе и, в конце августа 1941 года, поезд уносит меня из Белграда в Берлин, на работу в редакцию «Нового Слова». Первый этап новой жизни для меня начался. Но уже тогда я думал только о той минуте, когда начнется и второй этап. А он начнется тогда, когда я буду подъезжать к бывшей границе Советского Союза.

И я не сомневался, что я добьюсь этого и дождусь этой минуты.

Вечерний сумрак давно уже поглотил поезд, гладко бегущий по равнине восточной Хорватии. Давно уже исчезли за поворотом и растаяли в наступившей темноте знакомые очертания Белграда. Но я все еще смотрю в ту точку горизонта, где в последний раз потерял его из вида. И мысленно прощаюсь с ним. С грустью и нежностью я прощаюсь с этим городом, где прошли четырнадцать лет моей жизни, где я был мостильщиком улиц и студентом, рабочим на фабрике и журналистом, грузчиком в речном порту и автором пьес, шедших на сцене государственных театров. Жестокие, какие то джеклондоновские годы моей жизни остались в этом городе, поглощенном сейчас далью и сумраком.

Почему же нежность при мыслях о нем и грусть от сознания долгой, повидимому, вечной разлуки с ним. Ответ на этот вопрос прост и не нов. В этом городе я оставил самое ценное, чем обладает каждый из нас на протяжении всего своего земного существования. Я оставил в нем свою молодость.

И еще одно. В этом солнечном и пыльном городе, простоватом и грубоватом, веселом и жизнерадостном,

вместе с запахом барж, груженых сливами, типографской краски, машинного масла и затхлых университетских аудиторий, я впитал в себя и тот крепкий и свежий дух здравого смысла и независимого мышления, которым всегда отличался и этот город, и народ, выстроивший его.

За это я особенно благодарен этому городу, ибо хорошо знаю, что именно эти заложенные здесь в меня начала, помогут мне справиться с предстоящей мне сложной работой журналиста в условиях невиданной военной бури.

Поезд продолжает выстукивать колесами, какую то односложную мелодию и несет меня дальше и дальше. В Берлин.

III

В БЕРЛИНЕ. ОЖИДАНИЯ И РАЗОЧАРОВАНИЯ. НА РОДИНУ.

Берлин осенью 1941 года внешне ничем не напоминал о том, что он столица государства ведущего большую и напряженную войну. Огромный город, купаясь в лучах ласкового осеннего солнца, жил привычной размеренной жизнью. С грохотом проносились над головами прохожих поезда городской электрической дороги, то выскакивали из под земли, то снова ныряли вглубь ее, аккуратные вагончики берлинского метро, архаически скрежетали трамваи, как бы злясь на кого то за свою отсталость, а огромные двухэтажные автобусы плавно неслись по улицам, обдавая удивленных прохожих чистым бензинным перегаром.

Только отсутствие на берлинских улицах привычнаго потока легковых автомобилей, говорило о том, что столица Германии живет не совсем обычной жизнью.

Но также тихо было в огромной, зеленой прохладе Тиргартена, с доверчиво спрыгивающими, на плечи отдыхающих белками, также шумел и пестрел Курфюрстендамм обилием людей, нарядов, детских колясок и породистых собак. На пляжах Ванзее и Николасзее беспечно отдыхали сотни тысяч берлин-

цев и берлинок, а по волнам этих озер бездумно скользили прозрачные парусники яхт-клубов.

Знаменитые берлинские универмаги: Кадеве, Аваги и Херти всасывали в свои нарядные утробы и возвращали назад улице бесконечные вереницы покупателей. На оживленных перекрестках, до последнего экземпляра, раскупались свежие издания «Ангриффа» и «Нахтаусгабе». Заглянув в них, на ходу, берлинцы на минуту вспоминали, что где то идет война, большая война, но заголовки сообщений с фронта были победные и успокаивающие. Газета только пробегалась глазами и небрежно отправлялась в карман пиджака или в корзину для мусора.

Под вечер бесчисленные берлинские рестораны наполнялись до отказу. В Адлон, Кайзергофе и у Кемпинского весело хлопали пробки от шампанского, в уютных маленьких «вейнштубе» кокетливые кельнерши разносили брэнди и женевер, а в шумных и продымленных скверными сигарами пивных, грузно сталкивались в воздухе огромные кружки с пенистым пильзенским или мюнхенским пивом.

Ничего, что выйдя из ресторана берлинец попадал в кромешный мрак затемненного города и снова вспоминал, что идет война. Тогда и эта темнота не была еще мрачной и зловещей, а какой то веселой и легкомысленной. Тут и там вспыхивали фонарики, освещая лицо, взвизгивающей от неожиданности, прохожей, удачную или плоскую шутку сменял взрыв хохота, там и тут слышалось пение.

Правда иногда эту темноту прорезывал завывающий звук сирены и сотни световых лучей от прожекторов, перекрещиваясь, упирались в темное небо, делая его похожим на какое то гигантское шапито бродячего цирка. Но на это тогда еще никто не обращал никакого внимания. И запоздалый прохожий быстро нырял в одну из дверей безчисленных баров. в какой нибудь «Мелоди», или «Фраскиту,,, где несмотря на воздушную тревогу, неутомимая скрипка выводит одну и ту же назойливую мелодию: **Ich bin heute ja so verliebt**, а безмолвные парочки, сидящие по углам, часами мнут друг другу руки, удивляя заб-

реднего иностранца, какой то сосредоточенной бездеятельностью немецкой влюбленности.

Фронт войны был очень далеко и с каждым днем отодвигался все дальше и дальше. Редкие воздушные налеты никакого вреда не причиняли. И средний берлинец очень легко относился к той буре, которая уже два месяца бушевала на востоке.

Это понятно. Но уже очень скоро мне пришлось убедиться в том, что и государственные люди Германии, столь же легкомысленно отнеслись к этой войне.

И это осталось для меня непонятным до последнего ее дня.

Отличительной чертой Берлина этих дней, было обилие иностранцев. Берлинцам это напоминало дни мировой Олимпиады, происходившей в их городе незадолго перед войной. Присутствие здесь большого количества иностранцев и на этот раз было связано со своеобразной мировой Олимпиадой. Только участники ее на этот раз состязались не в беге, не в плавании и не в метании копья или диска, а в искусстве убивать себе подобных.

Финские, венгерские, румынские, итальянские и хорватские солдаты, французские, испанские, валлонские и фламандские добровольцы, оживляли улицы германской столицы непривычными для глаза военными формами и пестротой своего говора.

В эти дни на улицах Берлина все чаще и чаще стала звучать и русская речь.

Осенью 1941 года русские эмигранты со всех концов Европы устремились в Германию и в первую очередь в Берлин. Их влекло сюда вполне понятное желание принять участие в борьбе против большевизма и в построении новой России.

То обстоятельство, что русские эмигранты оказались в стане внешних врагов своей родины, вряд ли, может удивить кого нибудь. В этом отношении русская эмиграция не выдумала ничего нового. Все эмигранты всех исторических эпох поступали точно также, надеясь, что поражение во внешнем столкновении, повле-

чет за собой падение существующего политического строя на их родине. Не тоже ли самое думали и французские эмигранты из армии принца Конде, оказавшиеся по другую сторону Рейна?

Впрочем, за примерами не надо обращаться в столь глубокую даль истории. Ибо, точно также поступили в войне 1914 — 1918 г.г. и большевики, находившиеся в то время в эмиграции. Они охотно предоставили свои перья в распоряжение германского генерального штаба и строчили прокламации, призывавшие русских солдат сложить оружие. Они, с помощью германского командования, перебрасывали своих агентов на другую сторону фронта для подрывной работы в тылу. Они систематически работали по разложению русских военнопленных в Германии. И, наконец, венцом трогательного сотрудничества партии большевиков с кайзеровскими генералами, был тот момент, когда лидер большевистской парти Ленин, получив от генерала Людендорфа несколько десятков миллионов золотых марок, отправился в немецком запломбированном вагоне в Россию, доканчивать успешно начатое дело по развалу русской оборонной мощи.

В этом отношении русская белая эмиграция оказалась много порядочнее и принципиальнее, чем эмигранты - большевики. Ибо последние, призывая к миру «без анексий и контрибуций», прямо играли в руку германскому генеральному штабу, не пытаясь в своем сотрудничестве с немцами провести какие то принципиальные грани. Белая эмиграция эти грани проводила.

Именно, поэтому лозунги выброшенные германской пропагандой в первые дни войны, вроде: — «крестовый поход протв большевизма», «мы воюем не против русского народа, а против советской власти», и наконец, — «мы хотим видеть своим соседом свободную и дружескую нам Россию», еще больше укрепили русских эмигрантов в их стремлении принять участие в этой борьбе.

В искренности этих лозунгов осенью 1941 года не сомневался еще никто из эмигрантов, не потому, что

они страдали излишней доверчивостью к руководителям Германии, а потому, что каждому здравомыслящему человеку, было совершенно ясно, что только честным проведением в жизнь этих лозунгов, Германия может добиться успеха в начатой ею войне на востоке. Только отделив понятия «Россия» и «большевизм» можно было вести эту борьбу. И только опираясь на поддержку русского народа, можно было добиться победы над большевизмом.

Сообразно этому и были расчитаны действия эмигрантов, которые выражались не только в полном предоставлении себя для начавшейся борьбы, но и в подаче германским правительственным учреждениям целого ряда проектов, согласно которым, по их мнению, должна была эта борьба протекать.

Различаясь между собой в деталях, все проекты в общем сводились к одному и тому же. А именно: —образование национального российского правительства в одном из крупных городов, занятых германскими войсками; признание этого правительства Германией и ее союзниками и заключение с ним союза против большевиков; военная и техническая помощь Германии и ее союзников национальному российскому правительству. Последнее же, согласно этим проектам, должно было: организовать российскую национальную армию для борьбы с советской властью: взять в свои руки административное управление областями, очищенными от большевиков и подписать с Германией экономический договор, который являлся бы для нее компенсацией за помощь в антибольшевистской борьбе.

Вот общие контуры тех проектов, которые осенью 1941 года были поданы в большом количестве германским правительственным учреждениям, различными группами русских эмигрантов. Как выяснилось позже, точно такие же проекты, составленные почти в тех же выражениях, подавались германским оккупационным властям в русских городах и бывшими советскими гражданами.

Все эти проэкты на имели в себе ничего фантасти-

ческого и уже первые месяцы войны создали целый ряд предпосылок, для их успешного воплощения в жизнь.

Одной из главных предпосылок было, обнаружившееся в начале войны, нежелание красной армии защищать советскую власть. Миллионы красноармейцев, сдавшихся в плен под Минском и Смоленском, Брест-Литовском и Уманью, Черновицами и Одессой, сложили оружие совсем не потому, что они не умели драться, а потому что они драться не хотели. Мало того, многие из них, сдавшись в плен, выражали желание немедленно принять участие в борьбе против большевиков. Из этого, казалось бы, надо было сделать соответствующие выводы, и позаботиться о том, чтобы и новые контингенты красноармейцев, которые будут призваны советским командованием, отнеслись бы к этой войне также как и их сдавшиеся в плен товарищи. А для этого нужно было сделать следующее: во первых с максимумом гуманности отнестись к пленным краснармейцам, а во вторых дать им знамя для их борьбы против большевизма. Таким знаменем только и могло быть национальное российское правительство с определенной и ясно выраженной политической программой.

Второй предпосылкой, обнаружившейся в первые месяцы войны, была всеобщая ненависть к большевикам гражданского населения огромной территории, занятой германскими армиями и та радость, с которой были встречены повсеместно германские войска. Совершенно ясно, что эта радость совсем не являлась следствием, какой то особой любви населения к немцам, которых оно совершенно не знало, а проистекала исключительно из надежды, что немцы избавившие их от большевиков, помогут им избавиться и от тех жизненных условий, в которые оно было поставлено советской властью. Гражданское население, очищенных от большевиков территорий, поверило германским лозунгам первых дней войны, столь же искренне, как и русские эмигранты, и с правом ожидало проведения этих лозунгов в жизнь Вполне понятно, что основной гарантией, исполнения

немцами данных обещаний, население этих территорий считало образование российского национального правительства.

И, наконец, третьей предпосылкой для удачного проведения в жизнь этих проэктов, было наличие в Европе русских эмигрантов, действительно, беззаветно отдавших себя делу борьбы с большевизмом. Если Германия, как заявляли ее руководители, начала 22 июня 1941 года, на самом деле, идеологическую войну против большевизма, то ей сама судьба, просто с неба, давала в руки козырь, который назывался — русская эмиграция. Этот козырь я не собираюсь переоценивать, но недооценивать его тоже нельзя. Это было все-таки (включая Прибалтику и Польшу) несколько сот тысяч убежденных врагов большевизма, в массе своей интеллигентных людей, которые хорошо знали своего врага, ибо боролись с большевизмом словом и делом еще тогда, когда никому неизвестный ефрейтор Адольф Гитлер никакого понятия о большевизме не имел. Эти люди охотно отдавали свои силы этой борьбе, но отправным пунктом ее считали, опять таки, создание основ российской государственности.

Вот те основные козыри, которые немцы имели в своих руках уже в самом начале войны на востоке. Из всех врагов Германии в этой войне, только один Советский Союз давал ей в руки редчайший в истории шанс, — в ходе войны из врага превратиться в друга. Ни одно другое государство на континенте, ни Франция, ни Польша, ни Бельгия, ни Голландия, ни Югославия, ни Греция, этого шанса Германии не давали. Во всех этих странах немцев встречали как врагов и относились к ним как к врагам. И только в Советском Союзе, который к тому же мог стать самым мощным врагом и самым ценным другом, немцев встречали, как освободителей и относились к ним, как к друзьям. От самой Германии зависело —пожать протянутую ей дружескую руку русского народа или — оттолкнуть ее.

Гитлер в своих многочисленных речах очень любил подчеркивать, что провидение, якобы, питало к

нему особое расположение. Если за всю его политическую карьеру, провидение действительно было к нему хоть один раз благосклонно, то это как раз и имело место в осенние месяцы 1941 года.

Как Германия розыграла козыри, которые оказались у нее в руках в начале войны с Советским Союзом и как Гитлер воспользовался расположением к нему провидения, мы увидим позже.

Но уже тогда, осенью 1941 года, в политической атмосфере окружавшей русский вопрос, начали появляться какие то неясные туманности.

И за очертаниями этих туманностей было очень удобно следить из редакции «Нового Слова».

Недалеко от Александрпляц, одной из многолюднейших площадей Берлина, в огромном и мрачном здании издательства и типографии «Кениг», помещалась редакция русской газеты «Новое Слово», в которой я в это время начал свою работу.

«Новое Слово» ведет свое начало с 1933 года, когда оно унаследовало закрывшийся в то время «Руль». Втечение восьми лет «Новое Слово», не будучи в состоянии конкурировать с большими парижскими газетами, вело убогое существование, едва сводя концы с концами. Вряд ли кто нибудь из редакции «Нового Слова» мог в то время предполагать, что именно этой газете выпадет на долю сыграть историческую роль среди зарубежной прессы тем, что она первая попадет на русскую землю, явится мостом между эмиграцией и бывшими советскими гражданами и воспитает на своих страницах целую плеяду блестящих антибольшевистских журналистов из рядов бывших подсоветских людей.

После разгрома Франции и прекращения существования тамошних русских газет, «Новое Слово» оказалось единственной русской газетой в Европе. Начало войны Германии против Советского Союза особенно подняло интерес читателей к этой газете. В те дни, когда я вступил в ряды ее редакции, газета уже давно перевалила за стотысячный тираж и читалась

русскими людьми от Атлантического океана до Днепра и от Эгейского моря до Нордкапа.

Благодаря этому редакция «Нового Слова» оказалась своеобразным фокусом, в котором пересекались, в те дни, настроения, надежды, ожидания и разочарования русских людей за рубежом. Десятки посетителей ежедневно передавали свои личные впечатления, а свыше сотни писем, доставляемых каждый день почтой, освещали положение вещей в самых различных местах.

Настроения зарубежных русских людей в те дни, можно охарактеризовать двумя словами: растерянность и ожидание. Растерянность от неожиданности и грандиозности наступивших событий и ожидание, каких то очень важных политических сдвигов, которые вот - вот должны произойти в разрешении русского вопроса.

К сожалению редакция «Нового Слова» не могла, ни рассеять этой растерянности, ни приподнять завесу над ожидавшимися событиями, ибо, как это ни странно, сама была совершенно не в курсе происходившего.

Когда, в конце августа 1941 года, я переступил порог редакции, я думал, что застану там людей точно информированных германскими правительственными кругами о политической стороне войны на востоке. Я думал, что найду в редакции, с немецкой аккуратностью и организационной предусмотрительностью, заготовленные обращения к русскому народу, декларации, манифесты и прочий пояснительный материал, столь необходимый при разрешении такой грандиозной задачи, как война с государством занимающим одну шестую часть суши. Каково же было мое удивление, когда я в редакции застал нескольких растерянных и ничего не понимавших людей, знавших о происходящих событиях не больше, чем знал я, только что приехавший из балканского захолустья.

Таким образом, получалось, что единственная русская газета в Европе, выходящая к тому же в Берлине и на которую, естественно, были обращены взоры миллионов русских людей с надеждой, что она

внесет какую то ясность в их умы, не только не получала никаких разъяснений от германских правительственных учреждений, но и сама питалась рассказами разных посетителей и письмами от знакомых и незнакомых лиц.

А судя по рассказам людей, посещавших редакцию и по письмам доставляемых почтой, на солнце, которым был для миллионов русских людей — «крестовый поход против большевизма», стали появляться какие то непонятные темные пятна.

Первым и наиболее мрачным пятном было, подтвержденное многими свидетельствами, ничем не оправданное зверское обращение с миллионами красноармейцев, добровольно сдавшимися в плен к немцам. Сгоняемые за колючую проволоку, они уже месяцами жили под открытым небом, не получая почти никакой пищи и тысячами гибли ежедневно в наступившей осенней стуже. И для улучшения их положения не только не делалось ничего, но и самым решительным образом пресекалась всякая инициатива местного населения помочь этим несчастным.

Вторым пятном, повисшим над русским вопросом, оказалось распоряжение Гитлера об учреждении «Министерства занятых восточных областей» и появление во главе этого загадочного министерства ненавистника всего русского, одного из творцов дурацких теорий о высших и низших расах, темного фанатика — Альфреда Розенберга. Образование этого министерства само собою исключало появление, на арене исторических событий на востоке, национального российского правительства. А это заставляло задуматься.

И, наконец, третьим пятном особенно коснувшимся русских за рубежом, был точно установленный факт, что все двери ведущие в Россию, для русских эмигрантов плотно и недвусмысленно закрыты соответствующими германскими властями. Таким образом, в «крестовом походе против большевизма», было отказано принять участие самым старым, самым опытным и, в конце концов, самым надежным его врагам. Это обстоятельство подействовало угнетающе на рус-

ских за рубежом и уже в то время оттолкнуло многих из них от Германии, которой они искренно предложили свои услуги для честного разрешения русской проблемы. С другой стороны, отсутствие русских эмигрантов на территории занятой германской армией, очень скоро сказалось в той подозрительности местного населения по отношению к немцам, которая сменила первоначальную радость. Советская же пропаганда использовала этот факт по своему. А именно: узнав об отсутствии русских эмигрантов в занятых немцами областях, она громогласно заявила: — «немцы идут истреблять русский народ и лучшим доказательством этого является то обстоятельство, что даже такие заклятые враги советской власти, как белоэмигранты и те не пошли за ними»......

Все это, вместе взятое, говорило о том, что или у германского правительства вообще нету определенного плана в отношении русского вопроса или этот план скрывается и не имеет ничего общего с надеждами и ожиданиями, как русских эмигрантов, так и населения занятых областей.

В начале декабря редакция «Нового Слова» сделала единственную коллективную попытку повлиять на ход мыслей в головах ответственных государственных людей Германии.

На основании огромного и интересного материала, собранного за первые месяцы войны, редакцией был составлен документ в серьезности, которого нельзя было усумниться. Ибо, в основу этого документа легли проверенные сведения, просочившиеся с оккупированных территорий, опросы пленных офицеров и солдат красной армии и свидетельства многих военных переводчиков, побывавших уже в России.

В конце этого документа, основательность которого германским властям не трудно было проверить, указывалось на необходимость следующих срочных мероприятий: 1) обнародования исчерпывающей декларации германского правительства по русскому вопросу; 2) образования на русской территории Российского Национального Комитета для объединения вокруг себя всех антибольшевистских сил; 3) переда-

чи гражданского управления на занятой территории в руки этого Комитета; 4) немедленного улучшения в положении пленных красноармейцев и 5) допущения на занятые территории русских эмигрантов для административной работы.

А в заключении этого документа было подчеркнуто, что если к разрешению русского вопроса не будет привлечен русский народ, то несмотря на все успехи германских войск, война с Советским Союзом закончится для Германии - катастрофой.

Для того, чтобы в то время, время упоения победами и раздела земного шара, в Берлине, в официальном документе упомянуть слово «катастрофа», надо было иметь больше гражданского мужества, чем дальнозоркости. Ибо, уже тогда только слепые не видели к чему приведет война на востоке, если в ходе ее Германия будет расчитывать только на свое оружие.

Документ этот был передан Розенбергу, так как в то время все относящееся к «делам востока», сосредотачивалось у него. И, несмотря на то, что время передачи этого документа было выбрано умышленно и совпадало с первой германской неудачей — откатом от Москвы, никакого ответа на этот меморандум редакция не получила. Даже сухой благодарности за труды и потраченное время. Господин Розенберг, вероятно, попросту не прочел этого документа. А если и прочел, то наверно забыл о нем на другой же день.

Интересно, вспомнил ли он о нем через четыре года среди грустных размышлений в одиночной камере нюренбергской тюрьмы? Времени, во всяком случае, он имел для этого достаточно.

В отчаянных и бесплодных попытках пробить дубовую стену самоуверенности, близорукости и тупоумия, которая плотно окружала тогда официальный Берлин, проходили осенние и зимние месяцы 1941 года.

Но только ли официальный Берлин отличался этой невозмутимой толстокожестью? Нет. В то время одинаково трудно было рассеять носорожий оптимизм, как у министра, произносившего очередную

речь, так и у парикмахера, оставлявшего вас сидеть с намыленной щекой для того, чтобы восторженно прослушать эту речь по радио.

Когда я думаю об этом, то мне кажется, что немцы вместе со стальной каской, одеваемой ими на голову во время войны, облекают и свои мозги какой то непроницаемой металлической оболочкой, которая не позволяет им, ни рассуждать, ни сомневаться, ни мыслить критически. И лишь в конце, непременно проигранной, войны, когда они снимают с себя стальную каску, тогда падает с их мозгов и эта металлическая оболочка. И тогда они начинают в изумлении почесывать голову.

Так было в прошлую войну. Так случилось и в эту.

С первого дня войны на Востоке, естественной заботой редакции «Нового Слова», была отправка своих корреспондентов в очищенные от большевиков области. Казалось бы, что присутствие русских журналистов в оккупированных областях, должно было бы быть желательным и для немцев, ибо это могло бы пролить лишний луч света на обстановку складывавшуюся там.

Однако, оффициальные берлинские круги смотрели на этот вопрос иначе и повидимому присутствие русских журналистов - эмигрантов, в занятых германскими войсками областях, было почему то нежелательным.

Во всяком случае, редакции русской газеты, издающейся в Берлине, понадобилось ровно полгода для того, чтобы выхлопотать соответствующее разрешение. И, таким образом, только во второй половине декабря, редакции «Нового Слова», больше благодаря личным знакомствам, чем оффициальным связям, удалось получить разрешение на отправку одного сотрудника на один месяц в Россию.

Выбор редакции пал на меня.

В ледяной декабрьский день я уложил маленький чемоданчик и отправился на вокзал Шарлотенбург чтобы, после двадцати одного года ожидания, сесть на поезд, который повезет меня на родину.

IV

ПО ДОРОГЕ «ТУДА». РИГА — РЕВЕЛЬ. ЗАВЕТНАЯ ЧЕРТА

По дороге «туда»... Как быстро можно написать эти три слова и как долго нужно было ждать того момента, когда можно будет сесть в поезд, с сознанием что едешь не в Берлин, не в Париж, не в Рим, а «туда»...... На родину....

По дороге «туда».... Три простых слова... Но сколько сложных переживаний, сколько не сбывшейся яви, сколько не приснившихся снов, сколько радости, горя, надежд и разочарований таят они в себе.

Сколько российских изгнанников жили, живут и будут жить надеждой на этот момент. Каждому из них он рисуется по своему. В длинные северные ночи, в тягучие южные дни, близ полярного круга и на экваторе, всюду куда ни забросила судьба русских людей, думают они об этой минуте и ждут ее. Как это произойдет — не знает никто. Но, что это когда то произойдет — на это надеется каждый.

Пусть не так выглядит этот момент как, может быть, рисовало его воображение. Пусть не только радость сулит он. Разве думаешь об этом, когда после двадцати одного года жизни на чужбине, садишься в поезд, который повезет тебя на родину. Нет. Совсем новое, еще неизведанное чувство заполняет тебя

всего. Трудно передать это чувство словами. Чувства нам даны природой, а слова выдуманы человеком. И как все выдуманное человеком, бледнеет перед созданным природой, так и язык наш, как бы богат он не был, не всегда может в точности передать то, что заполняет нашу душу.

И поэтому сейчас, когда берлинские дома растворяются в холодном тумане, позади уходящего поезда, я не пробую подбирать слова для описания моего душевного состояния. Я просто искренне и от души желаю всем, кто познал в своей жизни горечь разлуки с родной землей, как можно скорее самим пережить это чувство.

Чувство связанное с тремя простыми словами — «по дороге туда».....

За морозным стеклом вагона возникают из тумана, останавливаются на минуту и проплывают дальше холодные названия городов: Кюстрин, Диршау, Эльбинг, Кенигсберг.....

Уже несколько раз переменился состав моего купе. Сейчас в нем едут несколько учеников, какой то специальной кенигсбергской школы. В купе шум и веселье. Они едут на рождественские каникулы в Тильзит. Один из них — русский. Он тоже едет в Тильзит. Он там родился и это его «дом». Он шумит и радуется больше всех. Спрашиваю — давно ли он не был дома. Отвечает — еще бы, целых четыре месяца. Я улыбаюсь и думаю, что еду тоже домой. Но я не был дома — двадцать один год.....

И тут же ловлю себя на мысли — домой ли я еду? Я еду в Псков, в котором никогда в жизни не был. И, тем не менее, испытываю какой то необыкновенный подъем, то заставляющий без причины улыбнуться, то нагоняющий необъяснимую грусть. И я ясно отдаю себе отчет в том, что если бы ехал я сейчас не в Псков, а в Киев, в город, где прошло мое детство и который я помню так, как будто уехал из него вчера, то это чувство подъема было бы несравненно ярче, острее и более волнующе. А попав в Киев, я, наверно, наибольшее волнение испытывал бы подходя к тому дому, в котором когда то жил. Значит и по-

нятие «дом» распадается на несколько составных частей. Большой дом — родина, маленький дом — твой город и совсем крошечный — тот «твой» дом. Совсем как в собирательной чечевице — чем тоньше луч солнца пойманный в нее, тем сильнее жжет он подставленную под него руку.

Зимой 1941 года — Тильзит был последним этапом нормального путешествия. Здесь уже надо вместе с солдатами, с боем брать место в грязном вагоне третьего класса. Отсюда начинается дорога по наспех опустошенной, отступавшими большевиками Прибалтике

Если читатель подумает, что я в качестве специального корреспондента, совершал свою поездку окруженный комфортом, заботами и почетом, то это будет ошибкой, которая может помешать при чтении. Может в таких условиях и ездили немецкие журналисты союзных или нейтральных стран. Я же корреспондент русской газеты, хоть и издававшейся в Берлине, совершал свои поездки, как эту, так и последующие, какой то полуконтрабандой. У меня было разрешение на совершение такого то маршрута и на пользования услугами железной дороги. Вот и все. Остальное предоставлялось собственной изобретательности и находчивости.

Другими словами, переезжая границу, я ничем неотличался от какого нибудь местного обывателя, получившего разрешение на поездку по железной дороге. Это имело и плохие стороны и хорошие. Плохие — те, что можно было по несколько дней сидеть на каком нибудь полустанке и тщетно пытаться попасть в переполненные поезда, проползающие мимо. Можно было очутиться в незнакомом городе (ведь они все стали незнакомыми) без крова над головой. И, наконец, попросту протянуть где нибудь ноги от холода и голода. А хорошее было в том, что я не был связан, ни обществом в котором совершаю поездку, ни сроками отхода поезда или автобуса, ни навязанным мне и точно расчитанным по дням и часам маршрутом.

Я колесил по родной земле и в поезде, и в автомобиле, и на подводе, задерживался где мне хотелось

дольше, где не хотелось меньше, ночевал у друзей и у совсем незнакомых людей и ни разу не пожалел о тех трудностях, которые порой приходилось преодолевать на своем пути.

От Тильзита известного мне, главным образом, по «тильзитскому миру» (после заключения которого, газеты наверно писали, что войн больше никогда не будет), до Риги ехать почти сутки.

Поезд медленно ползет по снежной равнине, останавливаясь на всех станциях и полустанках. Пейзаж Прибалтики, вероятно, ничем не отличается от северно - русского. Особенно зимой. Те же снега, сосновые леса и белые стволы берез. Те же сани с бубенчиками, те же дуги над лошадиными шеями. Да и люди, по крайней мере издали, те же. В овчинных полушубках, в валенках, в теплых ушастых шапках. И, тем не менее, чувствуешь, что все это еще не настоящее.

Это еще Прибалтика. А настоящее начнется лишь тогда, когда я, побывав в Риге и в Ревеле, поверну на восток и где то, недоезжая Пскова, перееду ту заветную черту, ту бывшую границу Советского Союза, за которой начнется та подлинная советская сторона, в которой живут люди почти четверть века называвшиеся советскими гражданами. Что это за страна? Что это за люди? Чем они жили? Чем живут? Что думают они о всем происходящем?

С каждым оборотом колес близится ответ на эти вопросы.

Рига зимой 1941 года — это город после урагана. Вернее, после двух ураганов. Первый ураган пронесся здесь после прихода большевиков и вырвал массу человеческих жизней из рядов латышской и русской интеллигенции. Второй ураган сопровождал уход большевиков. Сжигалось и увозилось все, что можно было сжечь и увезти и лишь поспешность отступления помешала большевикам произвести полное опустошение. После ухода красной армии, оказалась уничтоженной только часть старого города. Вся остальная Рига осталась цела.

К сожалению нельзя сказать того же и о рижанах. В Риге трудно найти семью, которая не оплакивала бы хотя бы одну жертву, вырванную у нее советской властью. Здесь впервые я наталкиваюсь на свежие следы большевиков и по свидетельствам людей, только что перенесшим полуторагодичное владычество советской власти, нетрудно себе составить достаточно ясную картину о том, что собою представляет эта власть. По крайней мере в том виде, в каком она является в чужую страну, только что включенную в состав Союза Советских Социалистических Республик.

А является она в эту страну, в так хорошо знакомом виде ражого мясника подпоясанного кожаным фартуком, с плохо замытыми следами крови на нем, и с огромным ножем неумело спрятанным под этим самым фартуком. Впрочем, нож стыдливо прячется только первые дни. Затем он появляется откровенно наружу, во всем зловещем блеске хорошо отточенной стали. И тогда начинается свежевание распластанной перед ним туши, еще вчера свободной страны, еще вчера счастливого народа.

И свежевание это производится по всем правилам мясницкого искусства. Как мясник вынимает сначала из туши внутренности — сердце, печень, почки и легкие, так и советская власть начинает вырезывать из тела страны интеллигенцию — профессоров, общественных деятелей, педагогов, офицеров, священников.

Причем не только сам принцип «работы» остался тот же, что и на заре русского большевизма, но и методы ее за эти четверть века не претерпели никаких изменений. Из разговоров с десятками рижан становится ясным, что большевики за двадцать четыре года «ничего не забыли и ничему не научились». Это те же люди, так хорошо знакомые из времен октябрьской революции, гражданской войны и эпохи военного коммунизма. Аресты ни в чем неповинных людей производились ночью и сопровождались полным ограблением арестованного и его семьи. Никто даже самые близкие люди, не могли добиться никаких све-

дений о судьбе арестованных. Их увозили ночью и они исчезали навсегда.

Часто ночью увозили целые семьи. Так случилось и с одной, знакомой мне ранее, латышской семьей. Маленький мальчик, ночевавший случайно в эту ночь у знакомых, придя домой застал дом пустым. Он до сих пор не знает где его семья. И не узнает этого никогда. Он беззвучно плачет, вспоминая своих родных и в его детских глазах загораются нехорошие огоньки при упоминании о советской власти. Он всю жизнь будет помнить, что такое эта власть.

За полтора года пребывания большевиков в Латвии, бесследно исчезло огромное число латвийских граждан. Сколько именно точно неизвестно. Но по первым подсчетам эта цыфра достигала 150.000. Для маленькой Латвии это страшная цыфра.

За это же время большевики умудрились восстановить против себя все слои населения Латвии. Когда они входили в Ригу, жители московского форштадта, рабочего предместья Риги, устроили им овацию. Когда они уходили из Риги в них стреляли из окон. В них стреляли из окон и в московском форштадте.

Рига останется для меня памятной надолго. Не только потому, что в этом городе я впервые познакомился с большевизмом образца 1941 года, но и потому, что именно, здесь начало рости во мне то чувство неистребимой ненависти и отвращения к большевикам, этим носителям мрака, лжи и насилия, которое, надеюсь, не оставит меня никогда.

Путь Рига - Ревель еду в товарном вагоне. Печка есть, дров нет. Сижу на соломе и в приоткрытую дверь смотрю на густые ряды заснеженных елей проползающих мимо.

Группа эстонцев, едущих со мной, подкрепляется все время водкой. Разогретые ею, они много говорят и жестикулируют. Больше, чем полагается северному народу. В разговоре поминутно слышатся два слова: — «курат» и «вене,,. Уже в Ревеле узнаю, что «курат» это значит черт, а «вене« русский, и догадываюсь что всю дорогу они говорили о пребывании в Эстонии большевиков.

И латыши, и эстонцы не склонны делать разницы между советской властью и русским народом. Для них все русское сопровождается отныне этим самым «курат». Когда то слово «русский« открывало все двери в Прибалтике. Большевики, за полтора года своего пребывания здесь, прочно закрыли все эти двери. Бояться и ненавидеть русских научились и латыши, и эстонцы Но любить и уважать разучились надолго. Может быть — навсегда.

О Ревеле можно полностью повторить все сказанное о Риге. И здесь трудно встретить семью, которая не оплакивала бы кого нибудь из близких. 60.000 эстонцев было арестовано и увезено большевиками неизвестно за что и неизвестно куда. И в Ревеле уходящих большевиков обстреливали из окон. А в лесах партизанские отряды эстонских добровольцев вступали в настоящие бои с отступавшими частями красной армии.

Сам город мало пострадал. Лишь несколько сгоревших фабрик и обуглившиеся стены ревельского вокзала, напоминают приезжему, что здесь пронесся шквал военной бури.

В Ревеле мороз. Утром смотрю на градусник — 28 градусов. В ту же минуту замечаю, что это не Цельсий, а старый добрый Реомюр. От этого сознания делается еще холоднее. После первой же прогулки по городу мне становится ясным, что мы, по крайней мере люди моего поколения, жившие в Европе, совершенно забыли, что такое русская зима. Просто забыли.

Ревельские друзья долго смеются, узнав, что я в полуботинках и в кожаном пальто без подкладки приехал сюда в декабре и собираюсь ехать дальше на восток. А посмеявшись принимаются за дело. Купить в магазине ничего нельзя, но по случаю — можно. Приходится сделать остановку и заново, по зимнему, экипироваться.

Спасибо, милым ревельцам. Через несколько дней я уже одет и обут для русской зимы. И сегодня могу продолжать мой путь. Путь «туда».

Судьба Латвии и Эстонии не может оставить безучастным того, кто в эти дни имел возможность побывать здесь. Два трудолюбивых крестьянских народа, населяющие эти страны, доказали за двадцать лет самостоятельного существования свою политическую и экономическую зрелость. И, тем не менее, за последние два года они два раза теряли свою свободу.

Позорный балаган, разыгранный большевиками в Прибалтике и закончившийся порабощением этих двух народов, восстановил их поголовно против советской власти. Немцев здесь встретили, действительно, как освободителей. Германии очень легко было завоевать доверие и поддержку балтийских народов, являвшихся, как никак, тылом всего северного фронта. Для этого надо было сделать так немного. А именно: — не посягать на то, что втечение веков стало самым заветным для этих народов. На их свободу.

Совершенно естественно, что немцы, во время тяжелой войны на востоке, не могли позволить себе роскоши восстанавливать у себя в тылу независимые государства. Никто этого от них не требовал. Но можно было дать гарантии, что это будет сделано после войны. Надо было открыть свои карты. Надо было объяснить народам, оказавшихся на пути между Германией и ее врагом на востоке, чего Германия от этих народов хочет и что она им за это обещает.

Ничего этого немцами сделано на было. Вместо декларации правительства о народах Прибалтики, появился недвусмысленный «имперский комиссариат Остланд». Вместо площадей Сталина появились площади Адольфа Гитлера. И десятки проворных немецких рук, которым можно было бы найти лучшее применение, начали лихорадочно срывать старые уличные таблички и спешно, как будто от этого зависел исход всей восточной кампании, заменять их надписями на немецком языке. А латышские и эстонские патриоты, лишь сменив «черный ворон» НКВД, на столь же вместительный автомобиль Гестапо, с прежним рвением увозились из дому в те же самые здания, где еще недавно развевался красный флаг

смененный черным, с двумя стилизованными «С».

Что же удивительного в том, что латыши и эстонцы, радостно встретившие немцев в начале войны, уже очень скоро возненавидели их также, как и уступивших им место большевиков.

Трагична судьба этих народов, зажатых историей между немецким молотом и русской наковальней. И, независимо от того, молот ли расшибет наковальню или сам разлетится в куски от удара по ней, в судьбе этих народов ничего не изменится.

Судьба эта изменится лишь в том случае, если и немецкий молот и русская наковальня будут сделаны из другого металла. Металла не обязательно благородного, но которому будут свойственны благородные свойства уважать чужую свободу. Особенно свободу малых и слабых народов.

И надо надеяться, что наступит день, когда это будет именно так.

Снег и мороз, Мороз и снег. Мой товарный вагон отмеряет последние километры эстонской территории. Печка погасла. Дров нет. Сырая солома не горит, а дымит. Смотрю с благодарностью на ревельские валенки, в которые по колени ушли мои ноги и плотнее натягиваю на уши меховую финскую шапку.

Скоро уже Печоры, а там и граница. И нервное ожидание, измерявшееся раньше днями, сегодня исчисляется уже часами. А скоро счет перейдет на минуты. Уже где то совсем близко, может быть в двадцати - тридцати километрах лежит русская земля. Близкая и далекая, родная и чужая.

Сейчас одиннадцать часов вечера. Сегодня 31 декабря. Я надеялся Новый Год встретить уже в Пскове. Вижу, что это не удастся.

— Новый Год встретите уже на русской земле, — утешает меня попутчик, ревельский инженер, — отсюда до границы рукой подать.

Инженер вылезает в Ново-Изборске. Это еще эстонская территория. Помогаю моему попутчику спуститься вниз с высоты товарного вагона. Темнота поглощает его. Но через минуту снова слышу его голос:

— а, вот тут поблизости в Старо-Изборске похоронен Трувор. Отметьте это.....

И инженер исчезает.

Какой Трувор?.... Откуда это?..... Ах, да — Рюрик, Синеус и Трувор... «Земля наша велика и обильна, но.....» Когда это было? Тысячу лет назад? Полторы тысячи? Как быстро летит время..... Далеко ли мы сдвинулись с тех пор?......

Поезд ползет все медленнее и медленнее. Знаю, что тут где то он перешел русскую границу. Тут где то и я перешагнул заветную черту.

Опять остановка. Смотрю на часы — без десяти минут двенадцать. Еще десять минут и наступит Новый Год. Что он принесет с собой?

Выхожу из вагона. Поезд стоит в открытом поле. Ясная и морозная ночь. Куда ни глянь — снег. Снег блестит от лунного света и упруго скрипит под ногами.

Поезд уже переехал границу и стоит на территории Советского Союза. Я стою на русской земле. Отсюда до Пскова километров десять.

Сколько раз пришлось встречать Новый Год на чужбине? Двадцать? Двадцать один?.... И каждый раз в 12 часов ночи, когда было чем чокнуться, мы чокались и желали друг другу следующий Новый Год встретить на родине. И сколько раз это пожелание оказалось не сбывшимся.....

Не помню, кто мне это пожелал в последний раз, но его пожелание исполнилось. Этот Новый Год я встречаю на родине. Без музыки, без веселья, без бокала. Может быть этот Новый Год, именно так и надо встречать?

Делаю несколько шагов по твердому снегу и полной грудью вдыхаю свежий морозный воздух. Смотрю на часы — 12 часов. С Новым Годом моя необъятная родина! С Новым Годом, друзья мои!

Вместо бравурного новогоднего марша, где то вдали тягуче завыла собака.

Описывая полукруг по темному небу, огромный полукруг над всей бесконечной страной, медленно падает звезда. Она оставляет за собой быстро исче-

зающую светлую дугу. Я не успеваю загадать желания. Глядя вслед исчезающей звезде я успеваю только подумать о ней.

Какая она?....

Не пятиконечная - ли?....

V

НА РОДИНЕ. ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА. ПРОГУЛКА ПО ПСКОВУ

За двадцать четыре года советской власти в старом Пскове не было вбито ни одного гвоздя. Все это время, этот , когда то благоустроеннный, город жил на проценты с веками накопленного капитала. Жил, постепенно дряхлея, линяя и расползаясь по швам.

Но может быть за это время, наряду со старым, вырос новый Псков? Ничего подобного. За двадцать четыре года советской власти в Пскове было выстроено десятка два новых зданий, из которых четыре носят какое то нелепое и удушающее название — «жилмассивы». Два десятка новых зданий за двадцать четыре года социалистической стройки это не так много. А если принять во внимание, что за это же время тысячи псковских домов приведены в такое состояние, что приходится удивляться, как в них могли жить люди, то это просто - ничто.

Новым псковским зданиям в среднем от пяти до десяти лет и они являются полноценным свидетельством самого низкопробного уровня социалистической стройки. Ибо, эти новые дома уже имеют такой вид, за который хозяина такого дома в Европе, давно бы посадили в тюрьму.

Об этом я мог судить уже в первое утро, проснувшись в «доме специалистов» в Пскове.

Можно ли по поводу этого первого пробуждения на родине после двадцатилетнего отсутствия, отделать

ся только этой сухой, протокольной строчкой? Конечно, — нет. В это утро, в это первое утро на родине, открыв глаза и сообразив, где ты находишься, тебя вдруг охватывает, какое то томительное чувство, какое то чувство одновременно и расслабляющее и придающее новые силы, чувство которое я думаю, трудно передать в точности на бедном языке, известном культурному человечеству.

Когда нибудь, наверно, на моем месте окажется какой нибудь настоящий писатель из заграницы. Свое первое утро на родине он сумеет описать так как надо. Он, быть может, найдет подходящие слова, нужные краски, тени и полутени. А нам, журналистам, читатель не прощает лирических отступлений. Он требует полной, ясной и четкой информации. Его мало интересует, что журналист думал и чувствовал. Он хочет знать, что журналист слышал и видел. Нам только изредка, контрабандой, удается бросить, там сям, два три мазка и напомнить таким образом, что мы тоже, люди, а не фотографические аппараты. И отдав этим скромную дань своему внутреннему миру, снова переходить к описанию мира внешнего.

Так сделаю и я.

Но если кто нибудь спросил бы меня, на что похоже чувство, испытанное мною в первое утро на родине, то я сравнил бы его с тем состоянием, которое когда то давно испытывал, приехав домой после годичного пребывания в кадетском корпусе: — смесь радостного подъема и заметного отчуждения от привычного домашнего быта.

Я приехал в Псков в час ночи. У меня был адрес одного сотрудника «Псковского вестника», которого я раньше просил позаботиться о комнате для меня. Однако, адрес был только служебный. Таким образом, первую ночь на родной земле можно было бы неуютно просидеть на вокзале. По счастью со мной от Печор ехал один молодой псковичь, совершивший предпраздничный рейс на эстонскую территорию, где

несмотря на полуторагодичное хозяйничанье большевиков, все же легче было достать необходимые рождественские атрибуты. По дороге мы разговорились и подружились. От него я узнал, что Рождество в Пскове празднуют по старому стилю. Значит, я поспел во время.

Мой спутник, видя мое безвыходное положение, сразу же предложил свое гостеприимство.

— Квартира у нас, правда, уплотненная, есть беженцы из Ленинграда, но ничего, в моей комнате можно устроиться вдвоем.

С удовольствием принимаю его предложение. По улицам Пскова покрытым глубоким снегом и освещенным луной, пробираемся к нему. Хотя идем мы все время по тротуару, нога все же, время от времени, проваливается в какие то волчьи ямы.

— Это пустяки, — смеется мой спутник, — сейчас по снегу еще хорошо, а вот весной и осенью похуже, прямо можно сказать плаваем......

По дороге узнаю историю дома, в котором он живет. Это, так называемый «дом специалистов». Его построили года четыре назад и жили в нем представители партийной интеллигенции. Теперь ввиду того, что обитатели этого дома сбежали, квартиры в нем уступлены тем псковичам, чьи жилища пострадали от пожаров.

Несмотря на то, что в Пскове было три кирпичных завода, для постройки «дома специалистов» понадобимось разобрать Благовещенский собор и из его кирпичей строить этот дом. Почему он получил такое название — неизвестно. Не то в нем должны были жить специалисты, не то строили его специалисты. Однако, если верно последнее, то уже сразу, войдя в дом, в голову невольно приходит мысль — какие же специалисты его строили? Ветеринары - ударники или агрономы - мичуринцы. Во всяком случае не хочется верить, что тут приложили свою руку архитекторы и инженеры - строители.

Темный тунельный вход, тонкие стены, трясущиеся при проезде грузовой машины, шатающиеся перила лестницы, прогнившие полы и подоконники. Вся

электрическая проводка идет поверх стен. И не один провод, а шесть и семь рядом, так что эти места на стенах напоминают гриф семиструнной гитары. Провода идут по одной стене и в углах комнат переходят на другую. Натянуть их было лень и в этих местах они свешиваются на подобие серпентина. Деревянный пол выкрашен коричневой краской, а радиаторы парового отопления — зеленой. Конечно, сначала красился пол, а потом радиаторы и поэтому все полы забрызганы неотмывающейся зеленой краской. Надо ли говорить, что все трубы, как отопления, так и водопроводные тоже идут поверх стен. Они не везде пригнаны как следует и поэтому в протекающих местах самими жильцами, обтянуты клеенкой или просто тряпкой. От сырости обои во многих местах отклеились и, чувствуя свою ненужность, сами сворачиваются в трубку. На обоях, тут и там видны небрежные мазки — следы раздавленных клопов. Это работа не моего гостеприимного хозяина. Новые обитатели вселились сюда уже зимой. Клопов размазывала по стене энергичная рука прежнего жильца. Кто он был? Председатель культурно - просветительного сектора псковского горкома или руководитель псковского отдела «всесоюзной недели чистоты?»

Мне не пришлось долго предаваться этим размышлениям. Мой спутник уже успел побывать в других комнатах и ,повидимому, оповестил своих сожителей о том, какого необычного гостя он привел с собой. Квартиру охватило заметное волнение. Несмотря на поздний час, послышались разговоры, хлопанье дверей и вскоре в нашей комнате начали появляться наспех одетые обитатели уплотненной квартиры.

Первым вошел интеллигентного вида седой старик, в серой тужурке, с лицом изрезанным крупными морщинами.

— Журналист? Эмигрант? Из заграницы? — скороговоркой произносит он. — Здравствуйте, дорогой, ну дайте хоть посмотреть на вас какой вы......

Он долго трясет мою руку и впрямь подводит ближе к свету и долго рассматривает меня.

— Ах, как хорошо вы сделали, что приехали! Подумайте какая встреча! Сколько лет прошло... А мы помнили о вас всех..... Думали.... Так это первый город наш, который вы посетили? Ну, что ж, ужаснетесь наверно, голубчик, ужаснетесь..... Да.... не то теперь, совсем не то, опустились мы, я это знаю, другие помоложе и не сознают этого.... Вот вы увидите наш город, посмотрите на нас и уедете, наверно, чтоб больше никогда сюда не возвращаться.... Да, да дошли можно сказать до точки.....

И старик развел руками, как бы извиняясь за то, что и он сам и миллионы ему подобных граждан социалистического отечества, действительно, дошли до точки....

В комнату быстро входит пожилая дама, с седеющими волосами, с моложавым лицом, в пенснэ без оправы, кутаясь в большой шерстяной платок. Знакомый и почти забытый образ русской интеллигентной работницы. Я помню таких дам. Они были докторшами, библиотекаршами, ассистентками в университетах.

Она крепко пожимает мою руку.

— Прошлую ночь не спала, два раза ездила к больному (да, она докторша), ну, думаю сегодня высплюсь, а тут вы приехали. Ну, разве могла бы я заснуть не посмотрев на вас?.... Как только услышали, что тут живой белогвардеец, — смеется она, — так мы с Лелей скорее одеваться.....

Леля, дочь докторши — студентка второго курса. Она входит и вносит на подносе чай для всех присутствующих.

— А вы совсем не страшный, — вдруг неожиданно говорит Леля.

— А почему я должен быть страшным,...

— Да я когда то видела какую то картинку или плакат, — улыбается Леля, — так там был изображен белобандит с большими усами и с ножом в зубах. Я так вас и представляла, — уже смеется она.

— Бедная Леля. так вы не заснете сегодня всю ночь от страха, зная, что я тут?

— Не беспокойтесь, засну и еще как....

— Так, что я не такой страшный?....

— Да, уж, наши, пожалуй, пострашнее будут, — смеется Леля и опять уходит по хозяйству. Она приносит черный хлеб, холодное мясо, студень.

— Нет, нет, — никаких угощений, — протестую я, — у меня в чемодане есть все, что надо, а у вас я знаю, как трудно.

— Нет, пожалуйста без протестов, — возражают мои хозяева, — трудно, трудно, а как то ловчим. Слава Богу, рядышком Эстония, там наши еще не успели завести рай, так что кое что достаем оттуда...

Мы пьем чай и разговариваем до четырех часов ночи. Мне не удается задать ни одного интересующего меня вопроса. Мне самому приходится отвечать на град самых различных вопросов. Это ничего. Я проведу здесь все Рождество и успею узнать все меня интересующее.

Засыпаю в пятом часу. Засыпаю под методический, давно забытый и сегодня кажущийся уютным, скрежет скребущейся мыши.

Утром хочется поскорее выйти в город. И вот, как только окончательно рассвело, я с моим вчерашним спутником выходим на улицу. Мой проводник — коренной пскович. Ему двадцать два года. Он служит в городском управлении. Во время войны он был в Пскове и может в точности передать всю безрадостную картину последних дней советской власти в этом городе, перед занятием его немцами.

Первое, что меня поражает на улице это то, казалось бы, нормальное состояние, что кругом меня все говорят по.... русски. В начале к этому трудно привыкнуть. Это кажется необычным. И в то же время это лучше, чем что либо другое, заставляет почувствовать тебя, что ты дома. На улице много людей и все они говорят по русски. Действительно странно......

У дверей нашего дома стоят два бородача с огромными деревянными лопатами. Это дворники. Они, вслух, с явным неудовольствием, читают наклеенное на стене дома распоряжение городского головы о том, что тротуары должны очищаться от снега.

— И зачем его чистить, так его растак, ежели он снова навалит, — мрачно комментируют они прочитанное.

По улице бегут на коньках несколько ребят.

— Ванька, Ванька подбери соплю, а то споткнешься, — кричит чей то звонкий голос.

Нас обгоняют две молодых бабы. Они над чем то хохочут.

— Вот тут то я и поняла, где ворона зарыта, — говорит одна из них.

— Да не ворона, а собака, — поправляет другая.

— А я говорю ворона, значит ворона.... Да не в том дело. А он, значит, опосля говорит.....

О чем он опосля говорил, мы так и не узнали. На углу стоит, какая то толстая баба и кричит через улицу маленькой девченке:

— Ты пади, пади сюда, я вот тут для тваих письмяцо принясла......

Девченка решительно врезается в гору снега между мостовой и тротуаром.

Псков от военных действий совсем не пострадал. Да их тут и не было. Уже в начале июля через город в полном беспорядке отступали отдельные группы красноармейцев. Они не нанесли городу вреда. А между тем лучшие улицы города: Сергиевская, Некрасовская, Архангельская представляют собой груду развалин. Ряды выгоревших и завалившихся домов стоят немыми свидетелями бессмысленного вандализма бежавших партийцев.

За несколько дней до падения Пскова, местные комсомольцы руководимые ответственными партийцами, приступили к организованному сжиганию города. Разграбленные ими предварительно винные лавки несколько нарушили эту организованность Нарушил ее и отпор, встреченный со стороны псковичей. Отпор, правда, пассивный — псковичи сами старались скорее потушить подоженные дома. Препятствовать поджогу они не могли. Только в одном месте, в центре города, псковичи пытались дать отпор пьяным босякам псковского комсомола.

— Жуткая это была картина, — рассказывает мой

спутник. — Вот на этом углу остановился грузовик с комсомольцами. Они вылезли из машины и стали кричать, чтобы все выходили из домов. А потом, не дождавшись когда все выйдут, начали поливать керосином лестницы и поджигать. Тогда из собравшейся толпы, вдруг выступил один старик и как закричит: — «Ах, вы сталинское отребье, не вы город строили, мы его столетиями устраивали, а вы.....» Он не договорил. Несколько выстрелов и старик упал. Вместе с ним ранили еще нескольких и пошли поджигать дальше.

Мы идем мимо целых кварталов сгоревших домов. Впрочем, выгорело только несколько улиц. Весь остальной город цел. Но, что это за дома!... Состарившиеся, облезлые, полуразваливающиеся. Штукатурка всюду пообваливалась, все краски стерлись и выцвели, ступеньки сточились. В темных, грязных подъездах разбегаются кошки.

С грустным чувством продолжаю мою первую прогулку по Пскову. Мой спутник не замечает, что его родной город фактичекси разваливался у него на глазах. Он вырос в этой обстановке.

Мне приходят в голову слова вычитанные из одной псковской летописи: — «о Пскове граде от летописания не обретается воспомянуто от кого создан бысть и которыми людьми.....»

Но будущий летописец непременно воспомянет, от кого и которыми людьми город Псков был приведен в это жуткое, в это безнадежное состояние.

«Социалистический город Псков все больше меняет свой облик и за годы сталинских пятилеток стал совершенно неузнаваем....»

Так начинает свою статью в «Псковском сборнике» за 1937 год некий товарищ Пурышев. Этот прохвост, вероятно, и сам не сознавал насколько его слова близки к истине. Действительно, Псков за это время сильно изменил свой облик и стал просто неузнаваем.

— Не город, а турецкое кладбище, — говорит мой проводник, уже не молодой пскович, а тот старик,

который так приветливо встретил меня ночью. Мы гуляем с ним по этому «турецкому кладбищу». Становится совершенно ясным, что картина обнищания и запустения, встреченная мною в Пскове будет характерной и для других русских городов. Поэтому на описании этого города я и задерживаюсь, быть может, дольше чем следует.

Несмотря на социалистическую стройку, одарившую город двумя десятками домов и «жилмассивов», лучшим зданием в городе осталось здание Псковского кадетского корпуса, построенное сто лет тому назад.

Мы проходим мимо него. Желто-белая краска, в которую были окрашены почти все кадетские корпуса императорской России, местами облезла и полиняла. Конечно, стены этого здания за последнюю четверть века ни разу не были покрашены. Над главным входом надстроена нелепая башня. Сделана она из нескладно сбитых и даже не покрашенных досок. В нее вделаны часы, вынутые из одной из разобранных церквей. Часы эти никогда не действовали. Под вышкой все еще красуется большая, старательно выведенная черной краской надпись:

ДОМ СОВЕТОВ

Странно, что сталинские пятилетки столь много, по словам товарища Пурышева, давшие Пскову, не могли подарить ему здания, которое было бы достойно стать «домом советов». Пришлось, таким образом, обратиться к старику кадетскому корпусу.....

Перед главным входом — два пустых постамента. Еще недавно на них стояли два истукана: — Ленин и Киров. Им должны были поклоняться псковичи и в октябрьские дни, проходящие мимо процессии, опускали перед ними знамена. Когда большевики бежали из города и присутствие этих двух истуканов перестало быть необходимым, какие то бородачи в посконных рубахах, латанных портках и лаптях, весело и шумно накинули на головы истуканов арканы и с гиком потянули их книзу. Вероятно, также выг-

лядела картина и тысячу лет назад, когда такие же бородачи, в таких же рубахах, портках и лаптях, таким же арканом сбрасывали на землю изображения Перуна или бога Сварога.

Только тогда истуканы были добротные. Они были высечены из камня или из твердого дерева. Современные истуканы оказались также продуктом социалистического производства. Гипс и солома. Гипс разлетелся на куски тут же на земле и перед озадаченной толпой, смотревшей все еще недоверчиво на действия решительных бородачей, оказалось несколько пучков соломы. Дворник соседнего дома, стоявший тут с метлой, долго заметал это в угол двора, хмуро приговаривая:

— Я-ж всегда говорил- что все это обман и пустобряхня......

Напротив здания кадетского корпуса, на каком то доме, через всю стену намалевана надпись. Она гласит:

Трудовая копейка рубль бережет
Храните ваши деньги в сберкассе.
За них отвечает государство.

Проходя мимо этой надписи, псковичи ругаются громко и разборчиво. Вероятно, многие из них последовали этому мудрому совету. Надо ли говорить, что ни один из них не получил назад, ни трудовой копейки, ни того рубля, который эта копейка бережет. В первый же день войны все государственные сберкассы перестали выплачивать взносы своим вкладчикам. Социалистическое государство не сдержало и этого обещания.

Исторические постройки Пскова не пострадали от военных потрясений. Цел Троицкий собор в псковском Кремле. Нетронутой стоит знаменитая Довмонтова башня. Заходим в известные каждому псковскому мальчишке Поганкины палаты. Это дом с монументальными, почти в сажень толщиной, стенами. В

последнее время в них помещался музей. Над входом прибита памятная доска:

> Р.С.Ф.С.Р.
> Псковский Государственный Музей.
> «Поганкины Палаты»
> сооружены в 1668-1671 г.г. крупнейшим псковским купцом С. И. Поганкиным.
> Поганкин разбогател путем хищений на псковском монетном дворе, управляющим которого он являлся и от барышей по торговле пенькой, льном, кожами и салом

Мне жаль купца Поганкина. Может быть покойник и был на руку нечист. Мы этого не знаем. Но для Пскова, в свое время, он сделал очень много. Благодаря его предприимчивости и размаху, торговля в Пскове расцвела в небывалых размерах. Поганкин торговал с Польшей, с Пруссией, со Скандинавией и даже с Англией. Тысячи людей кормились около Поганкина. И, наконец, если что нибудь в Пскове имеет право называться «жилмассивом», то это Поганкины Палаты, построенные почти триста лет назад и сохранившиеся лучше, нежели пресловутые советские «жилмассивы», к которым мы направились непосредственно из музея.

Когда я услышал впервые внушительный советский термин - «жилмассив», я разумеется не рисовал в своем воображении ньюйоркский небоскреб, но представлял себе целый блок современных светлых зданий, таких обычных для среднего и даже маленького европейского городка, — зданий в которых сотни рабочих семей имеют небольшие, но удобные квартиры.

Каково же было мое удивление, когда «жилмассивом горсовета», оказались два дрянных дома в три этажа, которые к тому же выглядят так, как будто их строили одновременно с псковским Кремлем. О них можно дословно повторить все сказанное выше о «доме специалистов». Убожество, безвкусица, об-

ветшалость и полное отсутствие основных требований гигиены. Ванные комнаты есть, но ванн в них не было. Но, что бы не пропадало несколько метров драгоценной «жилплощади», в ванных комнатах, либо живут, либо стоят какие то бочки с кислой капустой и огурцами. И опять, — прогнившие полы, истлевшие подоконники, крутые лестницы со сломанными перилами и стены в пятнах от сырости, покрытые сетью водопроводных труб и электрических проводов.

Так выглядят новые советские постройки, да еще с такими пышными названиями, как «дом специалистов» и «жилмассив горсовета«. Почему они имеют такой вид? Не хватает опытных инженеров? Мастеров? Каменьщиков? Отчасти и это. Но главная причина лежит в другом.

По свидетельству самих советских строителей, эта причина заключается в том, что в основу советского строительства положено не добросовестное желание построить прочный, удобный, красивый и долговечный дом, а нездоровое начало «социалистического соревнования», главной задачей которого является условие, чтобы дом был выстроен как можно скорее и чтобы он как можно дешевле обошелся государству. Успешное выполнение этого условия приносило строителю заманчивый титул «героя социалистического труда» и орден, а гражданам социалистического государства — непригодную для жилья и вредную для здоровья клеть, разбитую на сотни отвратительных крысиных нор.

Однако, если так выглядят новые советские постройки, то что же можно сказать обо всем остальном городе? Только то, что было сказано о нем в начале этой главы: — в остальном Пскове за последние двадцать четыре года не было вбито ни одного гвоздя. Благоустроенные дома, построенные когда то, во времена царя Гороха, многие из них с претензией на стиль и изящество, предоставленные самим себе и неумолимому зубу времени, стоят сейчас вдоль псковских улиц, посеревшие, тусклые, готовые вот-вот расползтись по швам. Сбитые в длинные ряды, эти нищие дома напоминают своих прежних хозяев, сто-

явших в очередях в 17-ом году, людей у которых сохранились еще намеки на лучшие дни, то потрепанная визитка, то засаленный котелок на голове, но людей уже конченных, надтреснутых, безнадежно нищих, стоящих одной ногой в могиле. Дома эти пережили своих хозяев, но с каждым годом догоняют их по дороге к небытию. Скоро они начнут попросту обваливаться на головы своих несчастных обитателей. А сейчас гуляя по улицам Пскова никак нельзя отделаться от впечатления, что гуляешь по городу, который на днях ретивые археологи откопали от наслоений лавы и пепла и разрешили желающим поглазеть на любопытные развалины.

В чем дело? Почему псковские дома, видавшие лучшие дни, дошли до такого убогого состояния? Кто виноват в этом?

Уже из первых разговоров с управдомами и квартирантами, выясняется главный виновник этого запустения. А именно: — коммунальная система в городском хозяйстве. Это она превратила город постепенно в нечто среднее между развалинами Помпей и самым обыкновенным свинушником.

— Денег на ремонт не дают, — жалуется один управдом, — а то, что давали шло на починку водопровода. Двадцать лет его починяли и так и не починили.....

— А какое мне дело до дома, — откровенно признается другой, — сегодня я управляю домом, а завтра — нет. Чего ж я стараться буду? Для кого? .....

— Да, что ж можно было сделать? — объясняет третий, — уж больно много народу жило в доме. Подумать только, — до революции в нашем доме жило шесть семей, а при советской власти - семнадцать! По три семьи в квартире! Уследи тут.....

Каждый из них прав по своему. В домах, до которых управдомам не было никакого дела, жили люди, набитые как сельди в бочку. Жили с единственной надеждой поскорее выбраться из этих ненавистных переуплотненных общежитий. Само собой резумеется, что им тоже не было никакого дела до этих квартир.

Живя в таких условиях, человеку уже не хочется каждый день бриться, нет желания переменить воротничек, нет возможности выгладить брюки. Может быть поэтому и вид у псковской толпы, какой то несвежий, не городской.

По улицам ходит много людей. Но эта уличная толпа совсем не похожа на те уличные толпы, которые мы привыкли видеть в дореволюционной России и заграницей. Здесь нельзя встретить человека в европейском пальто или шубе хорошего покроя, в красивой шляпе, в модных перчатках, свеже выбритого, бодро и уверенно шагающего куда то. По улицам Пскова бродит серая сермяжная Русь, какая то неуверенная, пришибленная и апатичная. Это не результат войны, которой здесь и не было. Война только перекатилась через Псков. Но она перекатилась и через сотни европейских городов. И это не помешало уличной толпе этих городов, сохранить свой довоенный добротно-элегантный вид. Псковская толпа, разумеется, тоже сохранила свой довоенный вид. И этот вид носит на себе следы четвертьвековой нищеты, четвертьвекового каторжного режима.

Уже сейчас, по прошествии нескольких месяцев, после ликвидации советской власти, в городе чувствуется некоторое оживление. Все хотят наладить какую то новую жизнь и, притом, жизнь совсем непохожую на то жалкое прозябание, на которое они были осуждены до сих пор. Насколько это удастся — покажет будущее. Но уже сейчас можно сказать по какому пути легче всего может пойти экономическое оздоровление. Это путь —частной инициативы. Народ зажатый в удушающие тиски коммунистического хозяйства, стосковался по деятельности, в которой движущим началом были бы не «калькуляции из центра», а собственные размах и сметка.

На рынке большое оживление. Завернутые в огромные платки, стоят у лотков бабы, переругиваясь с соседками и покупателями. Толстая торговка, с таким красным носом, какой можно увидеть только в цирке, недовольно кричит удаляющемуся покупателю:

— Дорого ему! Ишь какую маску при красных наж-

рал! Небось даром все получал! В распределительной! Теперь, конешно, ему дорого.....

Соседка интересуется: — какой это, с бородкой, што ли?

— Нет, пустобородай....., — отвечает красноносая торговка.

На многих углах сохранились надписи: - «переход», «берегись трамвая». Занесенная снегом, стоит зеленая будка, с надписью «буфет». А под этой надписью, другая — «прохладительные напитки». От нее мурашки бегают по телу. Сегодня в Пскове —41 градус мороза. Правда - по Цельсию. Деревья стоят неподвижные, как бы застекляневшие. Лошадиные морды со снежными усами и бородами, выглядят странно и знакомо.

Все таки приятно, несказанно тяжело и несказанно приятно, пройтись по улице первого русского города. Город и уличную толпу я уже знаю. Но ведь в Пскове есть и интеллигенция. Какие то последние могикане еще живут здесь. Мой спутник разрешает и этот вопрос.

— Знаете, — говорит он мне, — я уже видел кое-кого из знакомых, все они жаждут познакомиться с вами. Вечером пойдем в гости к одним из них.

Я с удовольствием принимаю его предложение.

VI

МЫ И ОНИ. ПСКОВИЧИ О СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ. ПОСЛЕДНИЕ МОГИКАНЕ.

Эти строки я пишу с удовлетворением. Когда я их пишу, передо мною встают знакомые образы: бывший офицер императорской армии, весь день уверенно поворачивающий руль таксомотора на шумных парижских улицах, а вечером спешащий на доклад о положении в СССР; бывший педагог, спускающийся днем в глубокую бельгийскую шахту, а вечером преподающий бесплатно русским детям очередной урок отечественной истории; русская девушка, родившаяся где то в Казабланке и мечтающая о далекой суровой стране, которую она называет своей родиной. И еще и еще....

Бесконечная вереница образов, казавшихся мне такими обыденными и повседневными и которые только теперь встают передо мной во всей своей драматической сущности. Только сейчас, ибо я только теперь смотрю на них не вблизи, а издали. Из той дали, к которой столько лет были обращены их взоры. И смотрю я на них уже не так своими глазами, как глазами здешних людей, среди которых проходят теперь мои дни.

Среди зарубежных русских часто бывали разговоры о том, как нас «там» примут, если мы сможем когда нибудь возвратиться домой. Знают ли нас на родине, помнят ли нас и что о нас думают? Почему то среди

многих было распространено убеждение (быть может специально сфабрикованное), что к нам там относятся недоброжелательно, считают нас за каких то ловчил, сбежавших подальше от греха, что нас не поймут и встретят недоверчиво. Быть может, те, к счастью, ред кие, глухие выстрелы, которые иногда завершали нищенскую жизнь в каком нибудь отельном номере на берегу Сены или Дуная, были до некоторой степени, последствием этого совершенно неверного и неизвестно на чем основанного заключения.

Я уже две недели живу в Пскове. У меня уже здесь много друзей и домов, в которых я частый и желанный гость. Я уже хорошо знаком с остатками здешней интеллигенции, с этими подлинными последними могиканами.

Я сам не знал, как произойдет эта встреча. Уже в первую ночь, попав в первую псковскую семью, я увидел как просто и сердечно эта встреча выглядит. Но я никогда не предполагал, что мое появление в каждом псковском доме, будет вызывать неизменно огромный интерес и трогательное волнение.

Те простые и для нас совершенно нормальные вещи, как например, то что мы, живя больше двадцати лет заграницей, не разучились говорить по русски, многих прямо поражало. Когда же я говорил, что я двенадцати лет уехал из России, двадцать один год прожил заграницей, учился на чужом языке, то не было конца их удивлению, что я так хорошо говорю по русски.

— Да вы лучше нас говорите по русски, — сказал как то мне один собеседник, — мы тут за это время разных неподобных словечек нахватались, а ведь вы говорите на чистейшем русском языке.

На это я отвечал, что наши дети, родившиеся уже заграницей, говорят по русски нисколько не хуже меня. Тут собеседники непонимающе разводили руками. А когда я рассказывал им, как мы сохраняли русские школы, как создавались вечерние курсы по изучению родины, куда приходили люди уставшие от физической работы, когда рассказывал о победах русского искусства в Европе, Америке, Австралии, об успехах

русских ученых, о тяжелых условиях жизни, в которой для многих единственным просветом была надежда на возвращение домой, то глаза моих собеседников зажигались огоньком удивления, радости и восхищения.

Что знали они о нас?

Молодежь — ничего. Или почти ничего. Шурочка — студентка ленинградского университета, на мой вопрос, что она знает о нас, ответила: — я слышала, что когда то какие то богачи сбежали заграницу......

Я долго рассказывал Шурочке про этих «богачей». Теперь она знает о них значительно больше.

Одна молодая дама со смехом призналась мне, что когда ей сказали, что будет гость из русской зарубежной газеты, то она представила себе, какого то хромающего и кашляющего старичка с толстовской бородой и долго не хотела верить, что этот гость — я. Это характерно. Советская пропаганда, время от времени, уделяла внимание эмигрантам. Но она, как взяла один штамп образца 20-года, изображавшего русского эмигранта в виде старичка - генерала, торгующего газетами на улице, так и не съезжала с него все эти годы.Советская пропаганда совсем забыла о том, что там, далеко за рубежом родной земли выросли новые поколения русской молодежи, с наличием которых большевикам, так или иначе, придется когда нибудь посчитаться, а что не дававшие покоя московским каррикатуристам несчастные русские старики, давно уже нашли свое упокоение под сенью лип, каштанов и кипарисов, безвестных, разбросанных по белу свету кладбищ.

Люди старшего поколения знают о нас больше, но это представление было тоже весьма туманным. Они знают, что двадцать с лишним лет назад, больше миллиона русских людей покинуло родину. Знают имена некоторых писателей, артистов и генералов. И это все. Остальное надо рассказывать подробно, начиная с того момента, когда пароходы, увозившие нас заграницу, отчалили от русского берега. Рассказ часто перебивается вопросами: — жив ли такой то?, а не встречали такого то? И самый частый вопрос: неужели вы на са-

мом деле мечтали о возвращении на родину?

— Ну, конечно, — неизменно отвечаю я.

— Странно, — говорит один, — а мы все мечтали, да и сейчас еще мечтаем выбраться заграницу.

— Что ж тут странного, — говорит другой, — вполне понятно и то, и другое. Ведь вы, живя на чужбине, с каждым годом все более остро любили свою родину, а мы, живя здесь, с каждым годом ее все больше ненавидели.

Это замечание характерно. Для эмигрантов родина и советская власть были двумя разными понятиями. Родину — любили, а советскую власть — ненавидели. В эмиграции никогда не соединяли эти два понятия вместе. Для людей же живших здесь оба эти понятия, были самой жизнью неразрывно связаны в одно целое.

Но какой же должна была быть эта жизнь, сколько ужасов, выхолаживающих человеческую душу, надо было пережить для того, чтобы у чистокровного русского человека, у коренного псковича могло слететь с уст, это жуткое, по своей трагической сущности, замечание.

Об этой жизни, страшной жизни подсоветского человека, я уже имею довольно отчетливое представление по рассказам десятков знакомых псковичей. Однако, я не буду сейчас подводить под этим итоги. Позже, посетив и другие русские города, я быть может сумею это сделать с большим правом.

Ненависть к советской власти и ужас от одной только мысли, что им еще когда нибудь придется быть советскими гражданами, — вот главные темы разговоров псковичей.

И это мне пришлось слышать не только от интеллигентов. В Пскове работает уже несколько заводов и больших мастерских. Сами рабочие собирали и монтировали, испорченные большевиками станки. Я побывал на всех этих предприятиях и разговаривал с рабочими.

— Мы уже определились, — говорят они подняв голову от станка, — первое время ребята все стращали, — не работайте, мол, вернутся большевики худо

будет.... Месяца три не работали, все боялись.... А теперь и те, что стращали давно принялись за дело. Не вернутся сюда красные.....

— Ну, а если вернутся, — спрашиваю я.

— Тогда уходить надо. Беспременно уходить. Больше не хотим под ними быть......

«Уходить», «не хотим под ними быть«, — вот те слова, которые приходится слышать от каждого псковича, к какой бы профессии он не принадлежал. Будущее покажет, что это не было пустыми фразами. Псковичи сдержат свое слово. И, когда три года спустя, красные войдут снова в Псков, то это будет единственный город на всей занятой территории, где не окажется ни одного жителя. В этом сознается даже московское радио.

— Почему вы ненавидите советскую власть?

— Как почему? Отца моего сослали, все отобрали, я был лишенцем.....

— А почему ее ненавидите?

— Потому что меня раскулачили, в ссылке был три года, всех прав лишили......

— А за что вы не любите большевиков?

— А как же их любить.... Брата моего расстреляли, дом забрали....

Вот такие ответы приходится слышать почти от каждого советского человека. Когда разговариваешь с советскими людьми, поражает одно обстоятельство. Все они искренне ненавидят советскую власть, но эта ненависть почти всегда вытекает из каких то личных обид, причиненных им большевиками, а не из сознания того, что представляет собой эта власть в целом и какое страшное духовное и физическое опустошение она оставляет после себя.

А это последнее, становится вполне очевидным лишь тому, кто сам лично побывал здесь и воочию убедился в том, что все писания даже эмигрантских газет, были не злостной пропагандой, а бледным отражением страшной действительности.

«У меня отобрали все», «нашу семью раскулачили«, — «отца моего сослали», да это все тяжело, это все раны, — советская власть за эти годы умудрилась

нанести рану почти каждому отдельному человеку многомилионного народа, но это еще не главное. Главное — весь народ, все государство. А это сознают лишь немногие. Тем приятнее разыскать таких людей и часами говорить с ними на одни и те же грустные темы. Кто эти люди? Это те последние русские интеллигенты, те последние могикане, когда то могущественного класса, ныне, почти незаметными островками, разбросанные, там и тут, среди огромного океана серой человеческой массы.

— Сколько интеллигентных семей в Пскове — спрашиваю я.

— Пятьдесят — шестьдесят, не больше, — отвечают мне.

— А до начала войны сколько было?

— Семей полтораста......

Сто пятьдесят интеллигентных семой — на семьдесят тысяч жителей.... Это немного. Это до жути мало.

Спрашиваю, куда же делись остальные сто семейств. Их вывезли. Перед уходом большевиков из города, грузовики объезжали дома и специальные чины НКВД заботились о том, чтобы ни один интеллигентный человек не остался в городе. Устраивались настоящие облавы и засады. Те, кто остался, сами своевременно позаботились об этом, сбежав в леса и вернувшись домой уже после ухода большевиков.

НКВД не спроста охотилось за интеллигентами, пытаясь их всех до однго вывезти из оставляемых городов. Большевики ясно отдавали себе отчет в том, что без наличия интеллигенции трудно будет наладить новую жизнь в занимаемых германскими войсками областях.

И, действительно, массовый увоз русской интеллигенции, болезненно отразился на организации новой жизни. Немцы, не пустив на занятые территории эмиг рантов, эти заграничные резервы русской интеллигенции, в этом случае, с трогательным единодушием сыграли в руку большевикам.

Я познакомился почти со всеми «последними могиканами». Кто они? Два врача, пять - шесть педаго-

гов, бухгалтеры, просто служащие разных учреждений и несколько ленинградских профессоров, эвакуированных немцами из Гатчины и Царского Села.

Моим новым друзьям я уже рассказал все, что их интересовало. Теперь их очередь поделиться со мной своими мыслями. Какие вопросы я чаще всего здесь задавал? Конечно, те которые в эти дни были на устах каждого из нас. Их три. Первый — почему при существующей ненависти к режиму никогда на было серьезной попытки свергнуть его? Второй — чем объяснить то обстоятельство, что, несмотря на ненависть к большевикам продолжается сопротивление красной армии? И, наконец, третий — что нужно сделать, для того, чтобы обеспечить возможность скорейшей победы над большевизмом?

— Вы говорите свергнуть режим, — отвечает мне один из собеседников, известный ленинградский профессор, и безнадежно качает головой. — Свергнуть режим было невозможно. Мы бы сами его никогда не свергнули. Вы понимаете — никогда!

— Почему?....

— А вот почему. Я один не в состоянии это сделать. Для этого нужно было сговориться большому количеству людей. А как это можно было сделать, когда я не мог поделиться своими мыслями ни с кем. Вы понимаете весь ужас этих слов — «ни с кем». Ни с сослуживцами, ни с соседями, ни с друзьями, а часто и ни с ближайшими родственниками. Каждый мог быть шпионом. Платным, бесплатным, профессионалом, любителем, из за корысти, из за страха, это не важно, но главное — шпионом, сексотом. Вы не забудьте, что самая страшная вина советской власти заключается не в том, что она физически истребила лучшую часть нации, а в том, что она систематически разрушает душу народа. Детей ведь специально воспитывают в школах доносчиками и предателями. Сколько было случаев, когда дети предавали своих родителей Памятник в Москве пионеру Павлику Морозову, который донес на своих родителей партийному начальству и отправил их на тот свет, это самый страшный памятник в истории человечества. Я бы не снимал

этого памятника и после падения советской власти, а повесил бы на нем памятную доску с надписью: — «русский народ, ты сверг ту власть, которая ставила памятники детям, предавшим своих матерей и отцов». И одной этой надписи было бы достаточно для того, чтобы оправдать перед историей новую русскую революцию, каких бы жертв она не стоила.

— Нам приходилось чуждаться людей. Постепенно терять своих знакомых. Никого не принимать, никуда не ходить, жить совершенно обособленными, подозрительными, всегда на чеку, взвешивать каждое слово, обдумывать ответ на каждый вопрос и время от времени узнавать, что забрали такого то, увезли такую то и ждать, что ни сегодня - завтра заберут и тебя. ....

— На наших глазах таяли ряды русской интеллигенции. Ведь вы знаете, что на нее особенно ополчилась советская власть. Нас уничтожали обдуманно, планомерно, беспощадно. День за днем, год за годом, проходило незаметно время. Так же постепенно и как будто незаметно проходил процесс истребления русской интеллигенции и, вот, только теперь, оглянувшись назад и посмотрев вокруг себя, видишь страшную пустоту, оставшуюся на месте, когда то огромного и передового класса, не раз изумлявшего мир своими неограниченными духовными возможностями..

— Как хорошо, что хотя бы небольшой части, тоесть вам эмигрантам, удалось в свое время уехать заграницу. Мы видим в этом просто перст Божий. Мы не сомневаемся, как это ни звучит парадоксально, что русская культура сохранилась заграницей лучше, чем здесь. Вы понимаете, речь идет не о библиотеках и музеях, не о материальной стороне, а о духовной. Ведь что такое наша культура? Что это - каменные здания музеев и книгохранилищ или тот культ личности, свободы, правды и красоты, которому столь безкорыстно служил великий орден русской интеллигенции? Культ благодаря которому и наполнились наши музеи и книгохранилища величайшими реликвиями нашего духа. А вот этому культу, как и самим носителям его, нет места в советском царстве угнетения

личности, попрания свободы, безправия и лжи. Если вы его сохранили заграницей, то несите сюда, как гриб для брожения. Он найдет здесь благодарную почву. Но много еще пройдет времени, пока наша страна обретет снова ту интеллигенцию, которую она заслуживает.....

— Ну, а так называемая советская интеллигенция? Что она собою представляет?

— Советская интеллигенция?.... Ее - нет. Больше того, — ее не может быть. Слова «советская» и «интеллигенция» также несовместимы, как несовместимо, скажем, «белое» и «черное«. Как не может быть белого черного, так не может быть и советской интеллигенции. Ее не может быть потому, что у нас уничтожены, как тот культ, которому служит всякая интеллигенция, начиная со времен древней Эллады, так и тот дух, который отличает ее от остальных классов общества. А то, что большевики называют советской интеллигенцией, так это просто механики, инженеры, техники, врачи, которые копаются в моторах или человеческих внутренностях, копаются сообразно своим способностям, одни хуже, другие лучше. Вот и все. Это узкие специалисты нужные советскому государству, так же как они нужны и Германии, и Америке, и Центральному Конго. Но от узкого специалиста и до интеллигента в том значении слова, в каком его понимали у нас на родине втечение ста лет, так же далеко, как далеко от свободы какой добивалась наша интеллигенция для своего народа, до той, какую ему принесли с собой большевики.....

—Вот отсюда вытекает и второй ответ на тот же ваш вопрос. Истребление русской интеллигенции исключало возможность новой революции, еще в большей мере, чем исключала ее система доносов и шпионажа. С гибелью интеллигенции исчез тот класс, который делает революцию. Вы думаете ее делает толпа, выходящая на улицу? Нет, она делает только черную работу, а для того чтобы заставить толпу выйти на улицу, нужна другая работа, более сложная. Вот ее то у нас некому делать. А без этого могут быть только бунты. Они и бывали в Кронштадте, и на Дону, и на

Кубани, и на Кавказе. Это не значит, что не было попыток к широко задуманному перевороту. Они были. Последняя из них это, так называемый, заговор Тухачевского. Он кончился так же, как и все предыдущие. Провокаторы, предатели, доносы и новые миллионы жертв выкашиваемых косой, простите за выражение, советского правосудия. Ведь расплачивались своей жизнью не только участники заговора, но и их родные, соседи, знакомые, знакомые соседей, соседи знакомых и так далее. Об апокалипсическом ужасе годов «ежовщины» будут написаны книги. И если мир не разучился содрогаться, то он содрогнется, когда прочтет первую из них.....

Грустно, очень грустно бывает во время этих бесед. Так и сейчас. Когда разговариваешь о жутких результатах двадцатилетней работы большевиков, то не верится, что прошло так мало времени и что за такой короткий срок можно было так обезглавить огромную страну. Но когда гуляешь по квартире, трогаешь вещи, то кажется, что и двадцати лет не прошло. А так, как будто, с твоего отъезда миновало года два, а то и один.

На рояле лежат ноты. Беру их. «Почему я тебя так безумно люблю....» На нотах портрет Вари Паниной. На обороте — Сабинин — «Солдаты, солдаты по улице идут....» Издательство — Юлий Генрих Циммерман, Санкт - Петербург. Маленький мальчик расставляет оловянных солдатиков. У них отломаны руки, а то и головы, но на них формы старых русских полков. Таких точно солдатиков расставлял и я в девятнадцатом году. На столе потрепанная книжка. Перелистываю ее. Лидия Чарская — «Княжна Джаваха».

— Эта книга была у нас запрещена, — объясняют мне. — Повидимому, она очень опасная для советского режима, — смеется хозяин. Мы сейчас с чердака вместе с елочными игрушками принесли.

Дети с радостными восклицаниями вытаскивают из ящика игрушки. Завтра сочельник. Вносят елку и дети начинают ее украшать. Это первая рождественская елка в их жизни. Меня зовут к столу. А на столе все то, что бывало у нас на столах в годы гражданской

войны. Перловый суп, пирог с морковкой, плотный корж на соде, «торт» из пшена. И разговоры те же.

— Чем богаты, тем и рады. Простите, чай будем пить без сахара. Проклятые большевики весь город ограбили. Лишь бы не вернулись никогда.

И вдруг теряешь всякое представление о времени. Что это? 1941 год или 1919? Сколько же прошло времени — четверть века или полгода? Кто я — приехавший из заграницы журналист с поседевшими висками или кадет третьего класса? Может побежать и мне на чердак и притащить, запрятанные там вместе с елочными игрушками и «Княжной Джавахой«, фуражку и погоны , надеть то и другое, выбежать на улицу и встретить там своих старших товарищей в корниловской или дроздовской форме?....

Но в ту же минуту вспоминаю все виденное и слышанное здесь за последние дни.

Нет, прошло не четверть века. Прошло — сто лет....

За столом мой собеседник отвечает мне и на второй вопрос.

— Вы спрашиваете почему продолжается сопротивление? На это я вам скажу, что я не вижу настоящего сопротивления. Ведь если бы оно, действительно, имело место, то разве могли бы немцы за такой короткий срок взять в плен около пяти миллионов человек и продвинуться в глубь России на пятьсот километров? Я думаю, что вопрос идет о частичном сопротивлении. Кто же сопротивляется? Делают это разные группы населения и по совершенно разным мотивам. Во - первых сопротивляется коммунистическая партия. Почему она это делает объяснять не надо, но она делает все возможное для того, чтобы затянуть борьбу. Она организовывает отпор, руководит, подстрекает, но кровь партийцев льется очень скупо. Кто же проливает кровь? Наиболее отчаянно дерется та прослойка между народом и партией, тот целый класс дикарей, которые благодаря пролетарскому происхождению, беспринципности и собачьей преданности советской власти, всплыли при ней наверх и вместе с ней пойдут ко дну. Эти люди не имеют ничего общего ни с рабочими, ни с крестьянами,

они и тех и других одинаково спокойно ставили к стенке. Их не мало и эти люди прекрасно знают, что гибель советской власти будет и их гибелью и этим своим сопротивлением они попросту цепляются за жизнь. Это уже две группы. И, наконец, третья группа, самая многочисленная это, главным образом, молодежь, которая сопротивляется не из каких то материальных рассчетов, а упрямо верит в то- что она защищает свою родину от иноземного нашествия. С этой последней группой, конечно, надо считаться больше, нежели с первыми двумя....

— То - есть....

— То - есть, повторяет мой собеседник и делает небольшую паузу. — Вот тут уже заключается и мой ответ на ваш третий вопрос. Вы спрашивали, что по нашему мнению, мнению здешних людей, надо сделать для скорейшего падения большевизма. Так вот я и скажу: — надо как можно скорее обезоружить эту последнюю группу. А для этого им надо показать, что они защищают не родину, а советскую власть. Как только им это станет ясно, поверьте они в тот же день перестанут проливать свою кровь. А это произойдет тогда, когда той родине, которую возглавляет сейчас коммунистическая партия, будет противопоставлена другая наша родина, которая встала против большевистской диктатуры. Если завтра в Киеве или Смоленске поднимется трехцветное знамя и национальное российское правительство призовет народ к борьбе против большевиков, то война окончится через несколько месяцев. К новому российскому правительству, к нашему национальному флагу, со всех сторон потянутся миллионы людей, как к маяку осветившему ночную мглу сомнений и колебаний. А если этого не будет, если и дальше с одной стороны будет находиться иноземное нашествие, а с другой, пусть проклятое, пусть ненавидимое большинством, но все же «свое» правительство, защищающее родину от этого нашествия, то сопротивление будет все время увеличиваться и все сомневающиеся и колеблющиеся окажутся в результате на стороне большевиков.

—Откровенно говоря, мы тут, еще в первые дни вой-

ны думали, что у вас там все налажено, все договорено с немцами, ждали вас каждый день, ждали каких то сдвигов, манифестов, русских добровольческих отрядов, съездов, а вот уже прошло полгода и ничего. А между тем порыв не терпит перерыва. Порыв был и у нас, встречавших немцев с цветами, я сам на старости лет бросал цветы немецким танкистам. Порыв был и у тех миллионов бойцов, которые добровольно сдались в плен немцам. Кстати, неужели в Берлине не поняли, что причиной их пленения были совсем не те окружения, в которые они попали, а наоборот, - все эти окружения были следствием того, что они не хотели драться? Так это о порыве... А вот теперь уже длится долгий перерыв. Большевики его сумеют использовать. Вы заметили, между прочим, что все успехи большевиков, приведшие их к власти и удержавшие их там, покоились всегда не на каких то их исключительных талантах, а непременно на вопиющих ошибках их врагов. Неужели же в Берлине ничего не видят и не понимают? Ведь, если немцы всегда были скверными дипломатами, то ведь солдаты то они хорошие. Как же они не понимают, что танком Россию не победишь? Ведь еще в прошлуе войну Людендорф понял это и прислал к нам в запломбированном вагоне Ленина и компанию. Но, если тогда немцы поняли это только в конце войны, то теперь это должно было быть ясно в самом ее начале. Тем более, что теперь не надо запломбированного вагона и обстановка у нас для подобных экспериментов даже более благоприятная чем была в 17-ом году.

Я подтверждаю профессору, что в Берлине ничего не видят и ничего не понимают и рассказываю об оставшихся без ответа проэктах, планах и предостережениях, переданных русскими эмигрантами в германские правительственные учреждения.

Мой собеседник улыбается и говорит: — я тоже в первые дни прихода немцев, составил на немецком языке обстоятельный доклад по русскому вопросу и передал одному «зондерфюреру», с просьбой переслать его в Берлин. Он благодарил меня и обещал немедленно это сделать. Потом, встречаясь со мной, не-

изменно любезно раскланивался. А как то примерно через месяц после нашей встречи он прислал мне даже табаку. Каково же было мое удивление, когда я обнаружил, что табак этот был завернут в одну из страниц моего фундаментального доклада.....

Расходимся поздно. Я долго не могу заснуть в эту ночь. Слова ленинградского профессора не выходят у меня из головы, хотя ничего нового он мне не сказал. Но, именно то обстоятельство, что все сказанное им до малейших подробностей совпало с тем, что думали мы, находясь на другом полюсе войны, доказывает какое единодушие можно было вызвать в громадном большинстве нашего народа, если сейчас, немедленно, бросить на русскую почву долгожданное семя борьбы национальных сил нашей страны против коммунистической диктатуры. Но, кто его бросит?

Вспоминаю Берлин, ту удивительную самоуверенность и сознание своей непогрешимости, которые царствуют в официальных учреждениях германской столицы, вспоминаю мятущихся по этим учреждениям моих соотечественников, пытающихся пробить эту ледяную кору близорукости и политического невежества и засыпая, не могу не подумать о том, что именно заворачивают в Берлине в ту бумагу, на которой написаны все доклады по русскому вопросу, каждая страница которых, в конце концов, могла бы и для самой Германии оказаться гораздо ценнее и полезнее, чем все семьсот страниц гитлеровской книги «Моя борьба».

VII

СВЯТКИ НА РОДИНЕ. ТРОИЦКИЙ СОБОР. ВОСКРЕСШИЙ СОЧЕЛЬНИК.

До революции древний город Псков был одним из наиболее чтимых центров православия на Руси. Еще двадцать лет назад в Пскове было сорок четыре церкви. Каждая из этих церквей представляла собой громадную историческую ценность и массивные почерневшие стены, многих из них, могли поведать о молившихся под их сводами людях, чьи имена занимают целые страницы в учебниках русской истории.

Постепенно, одна за другой, одним росчерком пера какого нибудь председателя обкома или горкома, никогда не заглянувшего в учебник истории, закрывались, а потом и сносились церкви, в которых Иоанн Грозный замаливал свои грехи, а Петр Великий молил о даровании победы.

К 1939 году в Пскове была открыта только одна кладбищенская церковь. Но и она, повидимому, причиняла кому то много беспокойства, так как в 1939г. закрыли и ее. В этом же году знаменитый псковский Троицкий собор был превращен в антирелигиозный музей.

Этот кафедральный собор, находящийся в древнейшем псковском Кремле и возвышающийся над всем городом, имеет за собой долгую и блестящую историю. На этом месте, когда то, по желанию тайной христианки киевской княгини Ольги, рожденной

псковитянки, была построена маленькая деревянная церковь. При Иоанне Грозном эта церковь была перестроена в небольшой каменный Троицкий собор. В окончательном своем виде этот собор был отстроен уже при Петре Великом и первое богослужение было совершено в нем в 1699 году. А затем, в продолжении почти двух с половиной веков, через собор проходили тысячи, сотни тысяч и миллионы верующих.

Товарищу Губельману - Ярославскому, председателю, основанного большевиками союза безбожников, показалось все это совершенно лишним. Ему было в высшей степени наплевать и на княгиню Ольгу, и на Иоанна Грозного, и на Петра Великого, и на русскую историю вообще. Он распорядился устроить в Троицком соборе антирелигиозный музей. И музей этот был устроен. Посреди исполинского храма с площадью в 900 кв. метров, с тридцатидвухметровой высоты раскачивался маятник Фуко. По стенам висели скучные и лживые графиконы. Там и сям, торчали безвкусно сделанные чучела священнослужителей. Впрочем, как рассказывают псковичи, и посетителей было мало. Лишь группы туристов и учащейся молодежи, предводительствуемые специальными руководителями, больше по обязанности, чем из любопытства, посещали этот унылый музей.

Когда большевики бежали из Пскова, Троицкий собор был открыт для верующих и сами псковичи вычистили его и приспособили для богослужений. Если бы сегодня, в первый православный сочельник празднуемый после многих лет, товарищ Губельман заглянул в Троицкий собор, то он был бы несказанно удивлен. Ибо, в этот день посетителей здесь было несравненно больше, чем за все двухлетнее существование его почтенного музея. В этот день собор не мог вместить всех молящихся и часть пришедших должна была остаться на площади на тридцатиградусном морозе. Союз безбожников работал плохо. Сейчас его руководителям следовало бы, по традиции установившейся в советском государстве, самим явиться к прокурору республики и, ударяя себя кулаком в грудь,

слезливо признать себя саботажниками, вредителями и диверсантами.

В этом году Псков празднует свое первое Рождество. Празднует его по старому стилю и, таким образом, сочельник приходится на 6-ое января. Однако, церковные торжества начались уже 1-го января, когда в город привезли одну из старейших православных святынь чудотворную икону Тихвинской Божией Матери. По преданию эта икона была написана Евангелистом Лукой и появилась в России в княжение Димитрия Донского. В торжественном перенесении иконы, несмотря на жестокий мороз, приняло участие больше десяти тысяч псковичей.

В сочельник, с самого утра в городе чувствуется оживление. На улицах встречаются поминутно люди, несущие елки. Ими же оживленно торгуют на базаре.

— Ты, что ж это на наше Рождество такие худые елки принес? — возмущается одна покупательница. — Небось на немецкое получше то заготовил, чтобы больше получить?....

— Бери, бери, тетка, что дают, скоро и таких не будет. Вишь только три и осталось, — неуважительно отзывается торговец.

Через рынок пробиваемся к собору. Позади и впереди нас длинной вереницей идут люди. Проходим под старинными, неимоверной толщины, сводчатыми воротами Кремля. Когда то в эти ворота, опираясь на клюку, входил согнувшийся, хмурый и беспокойный Иоанн Грозный. Затем, столетием позже, через эти же ворота, широкими энергичными шагами проходил Петр Великий. Их ноги ступали по этим же безформенным каменным плитам, которые виднеются из под очищенного снега. А еще двумя столетиями позже, в эти холодные, безразличные ко всему, ворота входили малограмотные товарищи из горкомов и райкомов, ведя за собой русских детей для того, чтобы показать им, что сделала советская власть с Троицким собором, с этим замечательнейшим осколком тысячелетней отечественной истории. Псковичи спокойно проходят под этими воротами. Они к ним привыкли. Это

часть их быта. Меня же, проходящего под ними впервые, они давят своим вековым прошлым.

Собор уже полон молящихся. Люди протискиваются вперед, чтобы занять лучшее место, поставить свечку, приложиться к иконе. Собор открыт только месяца четыре, но около меня две старушки уже спорят из за места.

— Я на этом месте с сентября месяца стою, — говорит одна.

— С сентября месяца! — шепотом возражает другая, — а я тут, матушка, еще в девятьсот десятом годе стояла....

На них шикают и старушки успокаиваются.

Я никогда не забуду этой всенощной. Тесно прижавшись друг к другу стоят молящиеся. Некоторые всю службу стоят на коленях. В храме жарко от тысячи свечей, горящих перед иконами. Из задних рядов, каждую минуту постукивают вас по плечу свечкой с просьбой передать дальше. Многие иконы украшены прекрасно вышитыми полотенцами и замечательно сделанными искусственными цветами. И то, и другое приносят и сейчас, какие то латаные и перелатаные крестьянки и любовно вешают их на икону. Это их дар храму. Дар в те дни, когда кусок бумаги, не говоря уже о полотне, представляет собой редкость и драгоценность. Большой любительский хор поет необыкновенно просто и поэтому необыкновенно тепло. Без той профессиональной вылощенности, свойственной русским заграничным хорам, которая повидимому обуславливается необходимостью петь по совместительству и в церковном хоре, и в оперном, а иногда и в хоре балалаечников. Мне начинает казаться, что я такого хора никогда не слыхал. А может так действует окружающая обстановка.

Я внимательно разглядываю лица молящихся. Зачем они пришли сюда? Из любопытства? Или может они решили, что раз храм открыт, то теперь надо обязательно посещать его? Серьезные, глубокие взоры их, с верой и сознанием значительности здесь совершаемого, устремлены в одну точку. Руки то и дело поднимаются для широкого и медленного крест-

ного знамения. Эти люди пришли сюда молиться. Молиться так, как молились почти две тысячи лет тому назад в бесчисленных катакомбах Римской Империи.

Я вспоминаю сейчас рассказ, слышанный вчера от переводчика, приехавшего из под Ленинграда. На станции Сиверской каждый день совершаются богослужения. Происходят они в подвале сгоревшего дома, перед одной иконой и все богослужение совершает какая то старая монахиня, полуслепыми глазами читающая Евангелие. И люди там стоят часами.

Еще раз оглядываю молящихся. Почти все — старики и старухи. Редко попадается лицо человека среднего возраста. И ни одного молодого, хотя на улицах и базарах немало и таких. Это пришла старая Русь помолиться Тому, Кто не раз являлся для нее последним и испытанным прибежищем. Русская же молодежь, повидимому, значительно отошла от религии. Впрочем только ли русская? В Европе я тоже редко видел молодое лицо среди тех, кто переступает пороги храмов.

Перед концом службы все подходят к чудотворной иконе Тихвинской Божьей Матери. Подхожу и я. Не надо быть очень религиозным человеком для того, чтобы почувствовать, какую то необъяснимую силу, которой эта икона обладает. Быть может эта сила (подходя с рационалистической точки зрения) покоится в молениях миллионов людей, на протяжении веков, впитываемых этой иконой и теперь излучаемых ею? Быть может, она обрела недоступные нашему пониманию свойства какого то духовного магнита, притягивающего к себе внутреннее естество приближающегоеся к ней человека? А сознание того, что к ней прикладывался когда то Дмитрий Донской, давит своей исторической тяжестью так же, как час тому назад, давили древние кремлевские ворота.

Выходим из храма. Перед входом стоят нищие. Они выглядят так же, как выглядели тысячу лет тому назад. И повторяют скороговоркой те же длинные замысловатые просьбы о подаянии, чей текст теряется тоже где то во тьме веков. Запомнить этот текст невозможно, записать — неловко. Пробираемся через

их ряды и идем на елку к моим псковским друзьям.

Когда я ехал в Псков, я подготовил себя к тому, что мне придется увидеть самые неприглядные картины ужасов войны. Людей, падающих на улице от истощения, детей брошенных на произвол судьбы, трупы павших лошадей со вздутыми животами. Я не подготовил себя только к одному. А именно: — к тому, что почти в каждом псковском доме, посещенном мною на Рождество, я услыщу неумолчное завывание грамофона и увижу танцующие пары.

Это, разумеется, не значит, что псковичи легко переносили первую военную зиму. Жестокие это были дни Но жизнь берет свое и псковичи всячески приспособляются. Одним это удается лучше, другим хуже. И вот, в результате, — украшенная елка, стол уставленный разнообразными, случайно и не случайно, добытыми закусками, а грамофон (по здешнему — патефон) наигрывает «модное заграничное» танго «О донна Клара», которое в Европе танцевали лет пятнадцать тому назад.

Молодежь танцует, флиртует и устраивает игры. Фанты попрежнему одна из излюбленнейших игр. Молодежь самая разнообразная. Тут и учащиеся псковской десятилетки, и ленинградские студентки, и приехавшие с эстонской территории русские, и молодой немецкий солдат — «наш немец», тут в каждом доме есть «свой немец», который пойдет потом провожать затанцевавшуюся молодежь, во избежание неприятностей с ночными патрулями.

Эти танцы меня даже несколько коробят. Ведь все-таки и сегодня вот в эту самую минуту, где то льется кровь, падают раненые, навеки закрывают глаза убитые. Я смотрю на раскрасневшиеся лица танцующих и думаю, что это? — Реакция молодости на скуку и нервность военных дней или одно из преломлений в юных сердцах уроков диалектического материализма?....

За столом сидит старшее поколение. Сидят люди, знавшие друг друга десятки лет, но уже давно не собиравшиеся в сочельник у елки и не беседовавшие откровенно на все темы.

— Для нас это подлинно «рождество», — говорит один из них, — мы как будто сегодня родились.

— Верите ли нам, — говорит другой, — мы все тут старые знакомые, а ведь вот только сейчас узнаем, кто и что думал за эти последние годы, чем жил и как относился к тем или иным событиям, уже давно канувшим в вечность. Мы жили в одном городе, часто в одном доме, а вот теперь встречаемся и разговариваем так, как будто не виделись много и много лет.

И действительно, слушая их разговоры, никак нельзя предположить, что эти люди встречались почти ежедневно втечение последних лет. Они производят впечатление школьных друзей, не видавшихся со дня окончания школы и теперь собравшихся по случаю двадцатипятилетнего юбилея своего выпуска из нее.

Спрашиваю удавалось ли все эти годы праздновать Рождество?

— Официально нет, — отвечают мне. — В последние годы у нас была заведена, так называемая новогодняя елка для детей. Ну, у кого были дети, те могли на Новый Год устроить елку и кто посмелей, оставлял ее контрабандой до Рождественских праздников. Но, уж, тут никто не приглашался, а так сказать в узком семейном кругу.

— Вот эти игрушки, — говорит мне хозяин дома, показывая на украшенную елку, — я купил еще тогда, когда вы были в России. А с тех пор они были запрятаны на чердаке и, таким образом, как и вы находились в своего рода эмиграции.

Я с сочувствием смотрю на эту милую елочную бутафорию. И хотя чувствую некоторую шероховатость в сравнении себя с елочными игрушками, тем не менее, не могу не согласиться с хозяином, что есть какая то общность в их судьбе и моей. И они, и я, двадцать лет находились где то не на своем месте, где то вне своей настоящей жизни и вот только теперь мы вместе ожили и пусть временно, но находимся там, где нам место.

Грусть в моем взгляде, обращенном к зажженной елке, очевидно, подмечает одна из ленинградских

студенток. Она садится за рояль,тихо ударяет по клавишам и,плутовски посмотрев на меня, напевает, по привезенным кем-то из Риги нотам, слова знакомой эмигрантской песенки:

«...Я вернусь, я вернусь в край родимый,
где березы льют слезы весной;
Я вернусь, я вернусь, как любимый,
чтоб уже не расстаться с тобой....»

На елке, шипя, догорали свечи. Первые свечи, воскресшего русского сочельника.

VIII

ДЕРЕВНЯ. В ГОСТЯХ У МЕЛЬНИКА. ОБРАТНЫЙ ПУТЬ.

Для первых месяцев войны массовым явлением было то, что все население областей, прилегающих к фронту, сдвинулось со своих мест. Линия фронта быстро передвигалась вперед, захватывая все большие пространства и, сообразно с этим, все больше увеличивалось число людей, бросивших свои насиженные места и двинувшихся в неизвестную даль.

По шоссе, по проселкам и просто по полям и лесам, брели сотни тысяч людей с жалким скарбом в руках и совсем без вещей. Брели в самых разнообразных направлениях, часто без определенной конечной цели и когда их спрашивали — куда идут, они обычно пожимали плечами и говорили: — да сами не знаем куда.....

К зиме все это постепенно утряслось и люди снова, более или менее, прочно осели на местах, одни на старых, другие — на новых.

Для последних десяти предвоенных лет характерным было то, что крестьянское население уходило в город. Колхозы, совхозы, рабский труд не дающий ничего взамен, постоянные «раскулачивания» и выколачивания последней картошки, сделали благословенный труд на земле безрадостным и попросту невыгодным. Это привело к тому, что крестьяне бросали родные места и переселялись в города, тщетно

ища там большего заработка и лучшей жизни.

В годы войны происходило обратное явление. Жители городов уходили в деревни. В первую голову возвращались те, кто еще недавно променял деревню на город и у кого связи с деревней еще прочны и свежи. За ними шли те горожане, которые имели какие то корни в деревнях, родственников, свойственников, друзей.

Это массовое возвращение в деревню объяснялось в первую очередь слухом о том, что «немцы будут делить землю». Слухом подтвержденным устно и печатно и самими немецкими властями. Крестьяне, бежавшие от опостылевших колхозов, радостно возвращались домой, в надежде стать хозяевами на собственной земле. Труд на земле, при условии частной собственности, снова начал казаться выгодным и привлекательным. Эти недавние городские жители возвращались в деревню навсегда. Коренные горожане, уходившие в деревню, уходили туда временно, чтобы пересидеть тяжелое время продовольственного кризиса. Ибо, несмотря на жесточайшую эксплоатацию крестьян со стороны советской власти, в деревне все же легче с продуктами. На все «организованные походы на деревню», крестьяне отвечали неорганизованным пассивным сопротивлением. Они научились так прятать «излишки», что их не могли розыскать, даже всевидящие очи ревизионных комиссий и сельских активистов. Эта наука в дни войны очень пригодилась крестьянам. Благодаря ей они смогли не только сами дотянуть до нового урожая, но и основательно подкармливать бежавших к ним городских родичей.

Крестьянство — единственный класс в России, который большевикам так и не удалось сломать. Хотя ломали они его долго, упорно и беспощадно. Больше того, вся эта ломка только еще более укрепила в крестьянах тягу к собственной земле и к частному хозяйству. Эта тяга, в последнее время, настолько обострилась, что в первые годы войны нередко превалировала над всеми остальными чувствами.

Русского крестьянина никак нельзя обвинить в не-

достатке патриотизма. Именно здесь, в деревне, патриотизм всегда рос и ростет в своем естественном и природном виде. Спокойный, прочный, здоровый и простой. Без тех ярких и уродливых цветов самолюбования, позы и истерики, привитых ему в городских оранжереях человеческих чувств, культивирующих также и патриотизм и порой бойко торгующих им. И, тем не менее, русский крестьянин согласен был принять землю и из немецких рук. Это для меня стало ясным из многочисленных разговоров с сельскими старостами и крестьянами, приезжавшими в псковское городское управление.

Каков же должен был быть ужас пережитого, какова же должна быть тоска по своему клочку земли, для того чтобы русский крестьянин , с надеждой и благодарностью ждал, чтобы ему его же собственную землю дали бы — иностранцы! «Свои» веками обещали, клялись, лебезили и — надували. Может быть даст чужой? И русский крестьянин доверчиво потянулся к чужому.

Никого немцы не могли заполучить в свои руки, так просто и так дешево, как русское крестьянство. К тому же — класс самый многочисленный и самый нужный. Если остатки русской интеллигенции и по ту, и по эту сторону рубежа, ставили условием для своего сотрудничества образование российской национальной государственности, условие, правда, не только принципиального характера, но и как единственный реальный шанс на успех борьбы, если рабочие недоворчиво присматривались к немцам и к тому, что несут они, то крестьянин этот вечный пасынок русской истории, безоговорочно восприял приход немцев, поставив себе относительно будущего простую, не раз слышанную мною формулу: — «сперва надо большаков прогнать и землю по справедливости разделить, а опосля разберемся....»

Немного хотел получить от немцев русский крестьянин. Он хотел получить на гривенник — добра, понимания и честности. И за это вернул бы, как это свойственно лишь простому человеку земли, рублем — труда, доверия и благодарности. Но надуть чужой

не смел. Ибо, за то, что не прощается и своим, с чужака взыщется вдвойне. Будущее покажет, что немцы не только не дали этого гривенника, но попытались отнять и тот медный грош, который еще был зажат в руке обобранного советского колхозника. Другими словами — русского крестьянина надули и немцы.

Две вещи можно предсказать безошибочно в будущем. Первое это то, что большевикам никогда не удастся перевести русское крестьянство в марксистскую веру. И второе — что русское крестьянство безусловно переживет коммунистическую партию. А значит, рано или поздно, наступит тот день, когда крестьянству придется, наконец, сыграть ту роль в истории нашей страны, которую этот самый многочисленный и самый здоровый класс, давно заслужил своей тысячелетней трудовой жизнью.

С большим любопытством, интересом и даже волнением отправился я впервые в одну из псковских деревень.

В псковском городском управлении имеется один легковой автомобиль. Надо, конечно, иметь достаточно фантазии, чтобы этот ящик на колесах назвать автомобилем. Но сколько же надо было иметь умения, находчивости и терпения для того, чтобы из остатков допотопного «Форда» и десятка разнообразных автомобильных частей, соорудить это движущееся приспособление. Всеми этими качествами обладал шофер городского управления, снарядивший этот автомобиль, прозванный псковичами — «трясучка».

На этой «трясучке», на третий день Рождества, мы выехали из Пскова и по заснеженному ухабистому пути, то подскакивая вверх, то проваливаясь в бездну, направились в гости к вчерашним советским колхозникам.

У «трясучки» остов «Форда«, крыша из сосновых досок, колеса от какой то другой машины, а дверцы открываются только с одной стороны. С другой они наглухо забиты. Я прошу шофера, в случае, если мы упадем, падать так, чтобы открывающаяся дверца оказалась наверху. В противном случае, нам бы приш

лось пролежать в этой неоткрывающейся коробке, на каком нибудь глухом проселке, день, а то и два, в снегу, на 40-градусном морозе. Шофер обещает, вообще, ни разу не упасть и, как выяснилось вечером, сдерживает свое обещание.

Машина, накреняясь на бок, сворачивает с шоссе и еще больше подпрыгивая, пробивается сквозь снег по проселочной дороге. Вскоре показываются вдали ушедшие в снег, накренившиеся на бок, похожие на большие грибы, первые деревенские избы. «Трясучка», врезавшись в большую гору снега, останавливается у мельницы. Из ближайшей избы выскакивают два мальчишки, лет по пятнадцати, в «буденновках». Этот головной убор, можно часто встретить в городах и деревнях, — красноармейцы меняли эти шапки на хлеб и на картошку. Мальчишки с любопытством смотрят на нас, начинают расспрашивать кто мы такие, откуда приехали и в результате принимают нас, кажется, за каких то «ответственных работников» псковского городского управления.

Выходит мельник и приглашает нас в избу. Он усаживает нас в парадном углу, шепотом отдает распоряжения домочадцам, а сам, хитро улыбаясь, сообщает нам, что не ждал гостей и потому должен «малость отлучиться». Бабы тоже исчезают и затем появляются с какими то свертками, вытащенными повидимому из тайников, гремят сковородой и начинают что то жарить.

Изба маленькая, с низким потолком, русской печкой и лежанкой. Внутри чисто. Я потом побываю во многих избах и, как правило, внутри они будут всегда лучше выглядеть , чем снаружи. Снаружи вид у деревень очень жалкий. Покосившиеся избы, с изъянами на стенах и крышах, разобранные заборы, повалившиеся плетни.

— Материалу не было для ремонта, — объясняют обычно крестьяне.

Но внутри всегда видна чья то заботливая рука, старающаяся придать жилищу опрятный вид, хотя с каждым годом это становилось все труднее и труднее.

Домашний инвентарь изнашивался, а нового не бы-

ло. До революции, за продукты, отвозимые в город крестьянин мог получить от города все необходимое для дома. В годы революции и гражданской войны деревенский инвентарь еще более пополнился вещами, частично награбленными в помещичьих усадьбах, а, главным образом, принесенными горожанами в обмен на продукты. За годы советской власти все это износилось и исчезло из быта. А новое в городе получить было очень трудно. Городские магазины не могли обслужить и самих горожан. Город сам стал бедняком. Деревня превратилась просто в нищенку.

Пока мельник бегает по каким то делам, связанным с приездом гостей, завязывается разговор с его домочадцами.

Если мне в городе порой казалось, что совсем не прошло стольких лет со дня моего отъезда из России, то тут, в первом разговоре с деревенскими людьми, начинает казаться, что с тех пор прошли не годы, а месяцы. Бабы и парни, участвующие в разговоре, вообще не произносят слова: «советская власть», «большевики« или «немцы». Они просто говорят: — «вот, когда, значит, красные начали отходить, мы и подались в лесок, а как пришли белые мы скорее из лесу и по домам....»

Новая война для них явилась ничем иным, как продолжением бывшей давно — да уж так ли давно борьбы белых с красными. Многие эту борьбу помнят, другие слышали о ней от старших. Годы, казавшиеся нам такими длинными, здесь в толще народного быта, прошли как несколько месяцев. Белые и красные. Коротко и ясно.

Однако, если это было так для домочадцев мельника, то для меня это было и не коротко и не ясно. И я не сразу смог отдать себе отчет в том, каким образом русский крестьянин войну с внешним врагом воспринял как продолжение войны гражданской. Тут несомненно сыграли свою роль, как разговоры о новом переделе земли, характерные для эпохи гражданской войны, так и то обстоятельство, что немцы, с особым жесточением, в первую очередь вылавливали политических комиссаров и партийный актив, что также

напоминало времена борьбы белых с красными. Но сыграло тут роль и другое. А именно: — смертельная ненависть крестьянства к антинародной власти, сделала уже то- что крестьянин в каждом враге большевистского режима, даже враге внешнем, видит своего естественного союзника.

Поэтому и отношение их к этой новой борьбе «белых и красных», повернулось, по сравнению с годами гражданской войны, на сто восемьдесят градусов. Ибо, если тогда красные «давали землю», а белые её «отбирали«, то теперь, наоборот, — красные землю давно отобрали, а «белые» обещают ее дать. Поэтому неудивительно, что мои собеседники, поодиночке и хором ругают большевиков в выражениях еще более энергичных, чем городские жители.

Дверь со скрипом открывается и в парах морозного воздуха появляется мельник с белой от инея бородой. У него подмышкой сверток. Он разворачивает его и победоносно ставит на стол две бутылки самогона разных цветов. В одной — темножелтый, в другой зловеще - синеватый, денатуратовый. Его жена приносит соленые огурцы, кислую капусту, ржаной хлеб и сковороду жареного сала.

Пробуем отказаться от угощения, но ничего не выходит.

— Пей, добрый гражданин, — ласково щурясь говорит мне мельник и наливает эту жидкость странного и устрашающего цвета.

Чокаемся и пьем. Затем долго крутим из махорки цыгарки и мельник не спеша повествует о своем житье - бытье при советской власти. История мельника, — это история всей крестьянской России.

До революции мельник не был ни кулаком, ни даже крепким середняком. Его маленькое хозяйство находилось где то на грани между середняцким и бедняцким. Мельник с энтузиазмом встретил 17-ый год. Землю соседа помещика поделили тогда «миром и по правде», как говорит мельник. Кое - что досталось и ему. Хозяйство его немного округлилось и это еще более укрепило его на стороне революции. Во время похода Юденича на Петроград, мельник даже парти-

занил в пользу большевиков. Годы военного коммунизма тяжело отозвались на городе, — деревня их перенесла легче. А в годы НЭП'а мельник поставил свое хозяйство совсем прочно на ноги. На паях с приятелем он даже построил мельницу. Как будто все шло хорошо. А потом... Потом пришел ужас коллективизации. Приехали из города какие то люди с решениями и постановлениями и отобрали у мельника и мельницу, и кусочек бывшей помещичьей земли, и даже ту землю, которую он имел до революции. Мельница отошла к совхозу, а земля мельника стала колхозной.

— Стал я, значит, колхозником, — комментирует мельник. — Ишь слово то какое выдумали. Это по ихнему зовется «колхозник», а по нашему выходит просто — батрак. Ну, что ж батрачил я раньше, до лениных и сталиных, а только тогда я знал зачем батрачу. До революций этих, я со своей земли, во как, сыт был, а что набатрачу, так то идет сверху. Для хозяйства чего прикупишь, альбо для семьи. А тут я стал батраком, а для чего и сам не пойму. Ну, поверишь, добрый гражданин, семь лет прямо в аккурат работал, только чтобы, значит, ноги не протянуть от голода. А сверху — ничего! Ни копейки! Веришь ли семь лет избы не починял, ложки к хозяйству не прикупил, платка бабе не подарил. На кого, спрашиваю, батрачу? Зачем батрачу? Изба разваливается, ходить не в чем, посуды нет, сапог нет, на черный день рубля бумажного нет. Зачем я работаю? Зачем такая жизнь?.....

Домочадцы мельника образовали круг около него и внимательно слушают. Пришел и кое кто из соседей. Время от времени они подтверждают отдельные места мельникова повествования.

— Точно.... Точно.... — обычно говорят они.

Несколько лет «маялся» мельник в колхозе, обрабатывая бывшую собственную землю. Обрабатывая для того, чтобы плоды своих трудов отдавать советской власти, не получая от нее ничего взамен. Ибо, выработанные им «трудодни», как раз и были тем «аккуратом», которого лишь хватало на то, чтобы

«не протянуть ноги от голода». Промаявшись несколько лет в колхозе, мельник всякими правдами и неправдами, перешел в совхоз. И тут снова попал в батраки и притом опять таки на свою же собственную мельницу. Опять батрачество, опять трудодни и опять этот самый «аккурат». Мельник увидел, что выхода из этого заколдованного круга нет. Или, вернее, единственный выход из этой беспросветной кабалы — это падение советской власти. И мельник ждал, ждет и будет ждать этого момента до тех пор, покуда будут носить его ноги, вот в этих самых худых валенках, которые он, время от времени, поглаживает сухой и жилистой рукой.

Мельник жалуется, что большевики «на прощание« еще и пожгли много колхозного добра. И комментируя это, высказывает меткую мысль, судя по которой он хорошо усвоил все приемы советской власти.

— Ты что думаешь. — сказал по этому поводу мельник, — красные для того палили, чтобы немцам не досталось? Хе - хе..:. Совсем не для того! Они хорошо знали, что немцы голодными не останутся. Нет, добрый гражданин, они палили для того, чтобы нас оставить голодными и чтобы мы, значит, пожалели как, мол хорошо нам жилось под красными и как плохо теперь.....

Мельник долго, красочно и главное умно рассказывает о многом им пережитом и передуманном. Если мысли мельника облечь в книжную форму, то, по его словам, сущность трагедии русского крестьянина под советской властью заключается не в том, что у него отняли землю, скот и орудия производства, а в том, что со всем этим у него отняли смысл его земного существования.

Раньше у каждого крестьянина, у каждого трудящегося на земле, была цель, дававшая смысл его жизни и труду. Этой целью было приобретение собственного участка земли. А перед достигшим этой цели, открывался целый ряд побочных целей, которых хватало на века и десятки поколений, Покупкой, либо удачной женитьбой детей, закруглить свой участок, срубить новую избу, завести пчельник, добыть племен-

ную корову, лошадь, свинью, птицу, купить лесок, построить мельницу и сотни других крестьянских забот, которые заполняли трудовую жизнь целых поколений и, постепенно осуществляясь, вели к определенному и ощутимому прогрессу. Крестьянин любил свое хозяйство, берег его и легче ему умиралось, если он знал, что передает его детям в увеличенном или улучшенном виде.

Ничего этого не осталось после коллективизации. Российское крестьянство сделалось, по существу, снова крепостными рабами. Крепостными рабами не поме щиков, а государства. Но когда существовало помещичье крепостное право, то вся мыслящая Россия восставала против этого. Кто же в условиях большевистского режима, мог сказать хоть одно слово против государственного крепостного права?

До октябрьской революции русский крестьянин имел прожиточный минимум, имел землю и имел возможность стать зажиточным хозяином. Советская власть отняла у крестьянина землю, отняла возможность стать зажиточным хозяином и оставила ему лишь прожиточный минимум. Таким образом, советская власть ничего не дала крестьянину, а лишь отняла у него. Но крестьянину, для того, чтобы заполнить свою жизнь, одного прожиточного минимума — мало. Ибо, при всей его примитивности, нельзя заставить его видеть смысл своего земного существования только в том, чтобы ежедневно набивать свой желудок.

Вот простое, незатейливое и, в своей простоте, истинно драматическое повествование мельника, переданное сухим книжным языком. Может ли язык этот хоть отдаленно передать ту трагедию человека земли, которая скрывается за бесхитростным рассказом мельника?.....

— Веришь - ли, добрый гражданин, — говорит мельник, — сорок лет как утром проснусь, так первым делом на небо смотрю — какая, мол, погода будет, — не идет ли засуха, альбо лишний дождь не напортил бы полю или, там, мороз чтобы не во время не ударил. А после этой чертовой коллективизации, так и на небо перестал по утрам смотреть. Какое мне дело, что там

на дворе делается? Да пусть хоть все кобыле под хвост идет!.....

Спрашиваю мельника, что ж, по его мнению, надо было бы сделать, чтобы крестьянство было довольно.

— В первую очередь, — отвечает мельник, — землю поделить. Земля — хозяина любит. Не может она без него. Пропадает земля без хозяина. И мы пропадаем без нее. Какая власть даст крестьянину землю, за ту он и будет крепко стоять....

— Ну, а какая же власть должна быть? — спрашиваю у него.

— Да, уж какая, — после маленькой паузы говорит мельник, — одно слово, справедливая должна быть власть, вот что.... Трудно без справедливой власти...

Мне очень понравилось это несложное и краткое определение мельника о сущности той власти, которую ждет российское крестьянство. Насколько это определение полней и понятней, чем все политические программы, написанные на нашей родине за последние сто лет....

— Ну, а при царе как было, хуже или лучше?

При упоминании о царе, вся изба наполняется шумом, движением, охами и ахами.

— Уж и не говори про те времена то, — вздыхает мельник. — Ох и жили мы тогда, дай Боже еще когда нибудь так пожить.....

— Пуд крупчатки — рупь двадцать стоил, — со стоном вырвалось у мельничихи.

— Пара сапог — десять рублев, — шумно выдыхнул кто - то.

— Платок шерстяной — полтора рубля.....

Несколько минут прошло в перечислении всех благ жизни сказочного царского времени.

Вряд ли, мельник и его домочадцы могли бы признать царский режим за ту «справедливую власть», о которой они мечтают. Но то обстоятельство, что они царское время вспоминают как какой то замечательный сон, еще более оттеняет тот ужас, который принесла с собой советская власть.

Судя по единодушию, вызванному в избе словом «царь», я ни минуты не сомневаюсь в том, что вся

крестьянская Русь с радостью бы приняла нового царя. Но с непременным условием, чтобы пуд крупчатки стоил — рупь двадцать, пара сапог десять рублей, а шерстяной платок — полтора. Такому царю было бы обеспечено долгое и славное царствование. Если же новый царь не в состоянии произвести эти сказочные перемены на рынке, то сторонникам монархии лучше отложить мысль о восстановлении престола, дабы не скомпрометировать на долгое время монархическую идею на Руси.

Уже завечерело. Надо уезжать. Я смотрю на мельника и невольно задумываюсь. Его род испокон веков живет здесь под Псковом. Если бы в свое время существовали родовые книги для записей крестьян, то несомненно род мельника был бы записан, в какую нибудь «бархатную» или еще какую то особую книгу. И все это время, предки мельника, кровь от крови, плоть от плоти, этой суровой северной земли, работая на ней с утра до ночи, никогда не были настоящими хозяевами ее. Деда мельника пороли и продавали друг другу соседи помещики. Отец мельника, по словам последнего, работал на какого то веселого барина, который всю жизнь болтался заграницей и, наверно, где нибудь в Монте - Карло, держал «ответственный банк» в баккара на трудовые рубли мельникова рода. А сам мельник, выбившийся, наконец, в хозяева и с такой надеждой встретивший 17-й год попал в результате в кабалу еще похуже и беспощаднее отцовской и дедовской. Если бы мельник сейчас бросался на всех встречных с ножом в руке или с топором, я бы не удивился. Но этого нет. Мельник спокойно сидит на табурете, ласково щурится и наливает самогон:

— Пей, добрый гражданин, дай Бог, чтобы и нам всем скоро полегчало. Намаялись мы сил нету....

В последний раз чокаюсь с мельником и думаю о том, что может быть именно это долготерпение, эта безграничная физическая и духовная выдержка русского крестьянина и является тем единственным залогом, благодаря которому и он, а с ним вместе, и вся наша страна дождутся еще и лучшей судьбы и

той «справедливой власти», по которой так давно тоскует весь многомиллионный крестьянский люд.

Уже совсем темно, когда мы уходим от мельника. Мальчишки в буденновках помогают налить воду в бак. Трясучка, подскакивая на ухабах и мигая единственной фарой по проселку, направляется в сторону Пскова. И пока видны по сторонам убогие силуэты покосившихся избенок, я думаю о последних словах мельника и мне хочется верить, что скоро ему должно «полегчать». Он заслужил это. Как заслужили и все мельники, плотники, кузнецы и просто крестьяне и крестьянки, всех этих ушедших в землю деревенек, давно забытых добрым Богом, но никогда не забываемых злыми людьми.

В последних числах января та же трясучка доставила меня на вокзал и втечение долгого обратного пути в Берлин, я мысленно перебирал каждый день моего месячного пребывания на родине.

Я побывал только в одном русском городе и в одной русской деревне. Как будто я видел очень мало, а между тем я узнал очень много. Ибо, вряд ли этот город и эта деревня отличаются чем либо от сотен других русских городов и деревень. И, значит, виденное здесь в одинаковой степени приложимо и ко всей еще неизвестной мне советской стороне.

А в этом городе и в этой деревне я видел — остатки русской интеллигенции, всей душой ненавидящих советскую власть и с радостью дождавшихся ухода большевиков. Я видел — русских крестьян, ни на одну минуту не примирившихся с советским ярмом и, как величайший праздник, встретивших его падение. Я видел — русских рабочих, без особого сожаления расставшихся с «властью рабочих и крестьян» и не только не противившихся наступившим переменам, но всеми силами старающихся помочь наступлению какой то новой жизни.

Все это, взятое вместе, говорило о том, что русский народ и советская власть, за эти двадцать три года не только не срослись в одно целое, но являются понятиями совершенно различными. И теперь, под удара-

ми внешнего столкновения, эти два понятия стали легко отделяться одно от другого, как два разнородных элемента, искусственно соединенных вместе.

Ускорить процесс распада этих элементов, замедлить ход его или, наконец, способствовать их более прочному воссоединению, зависело исключительно от немцев, контролировавших политическую и экономическую жизнь на очищенной от большевиков территории.

В эту поездку на родину, в эту первую мою вылазку за бывший советский рубеж я видел, конечно, и немцев. Правда, из их поведения в Пскове, в первые месяцы войны, трудно было вынести какое либо конкретное заключение. Население радостно встретило их, но они пока еще ничем себя не проявили. Это понятно. В Пскове в это время находились лишь германские воинские части и главной их заботой было снабжение фронта, а не разрешение политических и экономических задач в тылу.

Однако, со дня на день, сюда ожидался приезд, так называемого, гражданского управления, составленного из чиновников «Восточного министерства». Работу этих людей, облеченных в ярко коричневую партийную форму, я видел уже в Риге и Ревеле. Это, именно, они начали там свою деятельность по организации «новой жизни» с выколачивания всего национального латышского и эстонского, с насаждения всего немецкого, вплоть до названий улиц и вывесок на магазинах и с заполнения городских тюрем латышскими и эстонскими националистами, то-есть своими естетвенными союзникамк в борьбе против большевизма.

Приходилось успокаивать себя мыслью, что если таким способом разрешалась проблема Прибалтики, то для разрешения русского вопроса должны существовать какие то другие мерки, ничего общего с этими не имеющие. Ибо, какому же здравомыслящему человеку могла придти хоть на минуту в голову мысль, что для разрешения проблемы маленького клочка земли вдоль Балтийского моря и проблемы

огромной страны, занимающей одну шестую часть суши будут применены одни и те же методы.

Если бы Германия пошла по пути привлечения на свою сторону русского народа и вовлечения его в борьбу против коммунизма, то более чем вероятно, что война на востоке была бы закончена уже в 1942 году или переросла бы во внутрироссийскую гражданскую войну.

Избрание же пути восстановления русского народа против себя и возвращение его под знамена советской власти, означало для Германии затяжную войну, которая, при наличии противника на западе, рано или поздно должна была привести к катастрофе.

Таким образом, для того чтобы разумной политикой ускорить отпад русского народа от советской власти, т.е. сделать дело полезное для Германии, с ее стороны требовалось приложения значительно меньших усилий и принесения значительно меньших жертв.

Для того же, чтобы безумной политикой восстановить русский народ против себя и воссоединить его с советской властью, то есть сделать дело вредное для Германии, с ее стороны потребовалось приложить неизмеримо больше усилий и принести неизмеримо большее количество жертв.

Кто же мог подумать, что Германия, вопреки логике и здравому смыслу, изберет именно этот, второй путь?

Однако, уже в первые месяцы, после моего возвращения в Берлин, стало ясно, что это было именно так

IX

«КРЕСТОВЫЙ ПОХОД ЗА САЛОМ». СТАВКА НА НЕУДА́ЧИ. ХАРЬКОВСКАЯ БИТВА.

Зима 1941-42 гг. медленно подходила к концу. Судя по заявлениям метеорологов и по поведению ртути в градусниках это была небывалая по своему холоду зима. Для тех же кто втечение этой зимы побывал в районах восточнее Вислы не нужны были, ни метеорологические сводки, ни градусники. Они на себе испытали страшное действие этих, в самом деле, невиданных холодов. Леденящие кровь морозы в сорок два и даже в сорок четыре градуса по Цельсию, сопровождали меня во время моей поездки в Псков и на обратном пути в Германию. Но одновременно меня сопровождали и бесчисленные жертвы этих холодов.

На станциях и полустанках и на всех пересечениях путей на восток, к поездам брели вереницы германских солдат, несших на своих плечах товарищей, с безформенными, обмотанными тряпками, руками и ногами. У одних были обмотаны обе руки, у других обе ноги. У некоторых, и то, и другое вместе.

По неофициальным немецким данным, просочившимся сверху и циркулировавшим среди берлинцев, число германских солдат пострадавших от морозов до степени инвалидности и выбывших, таким образом, из строя, определялось в триста тысяч человек.

Официальные советские источники (московское радио), говоря о действии морозов на германскую армию, называли цифру пострадавших, вдвое превы шавшую эту. Истина станет известной, разумеется, лишь по окончании войны и, как полагается всем истинам, будет, вероятно, находиться где то по середине.

Однако, и потеря трехсот тысяч солдат первого призыва, что составляет примерно численность двух армий, в ходе «пространственной» войны на востоке (где дорог каждый взвод, не говоря уже об армиях), представляла собой первую неудачу крупного масштаба, последствия которой несомненно сказались впоследствии. Ибо, эти триста тысяч замороженных солдат могли быть тем резервом, которого так не будет хватать германскому командованию, год спустя, в решительные дни сталинградского побоища.

Тихо проползшие вести о морозной трагедии разыгравшейся на востоке, произвели удручающее впечатление на жителей германской столицы и многих из них, вероятно, впервые заставили задуматься не только о всей серьезности начатой там борьбы, но и о той известной доли диллетантизма, который («о Готт, о Готт») вдруг проявился в неподдающейся критике работе военно - государственной машины Третьего Райха.

Уход генерал - фельдмаршала фон Браухича с поста верховного главнокомандующего и прочие перемены на военной верхушке (имевшие, несомненно, иные и более глубокие причины), средний берлинец отнес за счет трехсот тысяч замороженных солдат. От этого размеры зимней трагедии в его воображении приняли еще более значительные формы. С тем большим воодушевлением понесли берлинцы на сборные пункты меха, пуловеры и прочие теплые вещи для нужд армии, оказавшейся неподготовленной для зимней кампании. То обстоятельство, что эти вещи прибыли по назначению уже тогда, когда первые лучи весеннего солнца стали отогревать топкие русские дороги, не смутило ни жертвователей, ни тех кому они были предназначены. В то время уже и одни, и

другие отдавали себе довольно ясный отчет в том, что эта зима не будет последней военной зимой на востоке.

Впрочем, тяжелое впечатление от этой зимней неудачи, для среднего берлинца не было, ни глубоким, ни продолжительным. И когда, вместо фон Браухича, верховным главнокомандующим стал сам Адольф Гитлер (в непогрешимости которого средний берлинец еще не сомневался) и когда был исполнен гражданский долг по снабжению фронта теплыми вещами, успокоившиеся жители германской столицы вернук своим повседневным занятиям, не сомневаясь в том, что теперь все пойдет как следует.

И, вряд ли, кто либо из них отдавал себе отчет в том, что как раз самим Гитлером и его ближайшим окружением, к тому времени уже были созданы все предпосылки для такой катастрофы, перед которой покажутся пустяком не только эта зимняя неудача, но и все неудачи на протяжении всей германской истории.

Зато для русских антибольшевиков, собравшихся в большом количестве в Берлине и все еще находившихся вдали от того дела, ради которого они здесь собрались, эти предпосылки для будущей катастрофы, стали не только очевидны, но и начали принимать вполне реальные формы.

К весне 1942 года уже стало ясно, что ни о какой идеологической войне на востоке не может быть и речи и, что все заявления об этом в первые месяцы войны, были умышленной ложью, пущенной в оборот исключительно в пропагандных целях. К этому времени уже не было никаких сомнений в том, что на востоке идет война не по ликвидации советской, власти, а война завоевательного характера, война за превращение России в немецкую колонию и за порабощение населяющей ее «низшей расы» «высшей« германской расой.

Сведения об этих химерических планах поступали не только по тайным руслам идущим из государственных верхов, но и находили свое подтверждение и в официальных заявлениях руководящих лиц Тре-

тьего Райха. Кроме того, (и это важнее всего) все эти сведения подтверждались и самой жизнью.

Тайные русла, (имеющиеся во всех государствах и при всех режимах), принесли сведения о том, что в национал - социалистическом партийном штабе имеется подробно разработанный план завоевания европейской части России и превращении ее в немецкую колонию. Согласно этому плану, военная машина Германии должна уничтожить живую силу врага, а остатки ее оттеснить за Урал. Что будет происходить за Уралом, авторов плана уже мало интересовало, но до уральского хребта вся русская территория должна была находиться под непосредственным политическим и экономическим контролем Германии. Для этой цели и было основано Министерство занятых восточных областей, чиновники которого двигались вслед за германской армией, устанавливая новые порядки в завоеванных областях. При этих новых порядках коренному населению отводилась в будущем роль, главным образом, чернорабочей силы и образовательный ценз его должен был ограничиваться только начальной школой. Кроме того, этот план предусматривал и «искусственное сокращение» населения Европейской России. О способах этого сокращения, впрочем, источники информации, шедшей по тайным руслам, подробно не высказывались.

Вот к чему сводилась, сказанная в нескольких словах, сущность плана завоевания России, который к весне 1942 года, строго говоря, перестал уже быть тайной. Разумеется план этот был весьма подробен и разработан в таких деталях, которые не могли стать сразу же известны. Нет сомнения в том, что после окончания войны, когда раскроются многие архивы и многие уста, все эти подробности станут известны широкой общественности. Но, точно так же нет никакого сомнения в том- что никакие архивы и ничьи уста никогда не смогут объяснить недоумевающим современникам того, каким образом в головы взрослых людей, получивших как никак среднее образование, мог придти этот абсурдный план, находившийся, от начала до конца, где то на грани между без-

просветным невежеством и явным безумием. Ведь достаточно было знать четыре основных правила арифметики, для того чтобы признать этот план никуда негодным. А, между тем, некоторые из авторов этого плана были, несомненно, знакомы с высшей математикой.

Этот план казался настолько нелепым, настолько диким и неправдоподобным, что когда первые слухи о нем поползли откуда то сверху и стали растворяться среди русских кругов Берлина, то в первое время никто не хотел верить в серьезность этих слухов. Мозг нормального мыслящего человека отказывался усвоить чудовищную нелепицу заключавшуюся в этих слухах.

Однако, почти одновременно с негласными источниками, достоверность этих сведений начала подтверждаться и официальными лицами Третьего Райха. Разумеется никто из них в своих публичных выступлениях не высказался до конца о сокровенных целях войны на востоке, но сквозь неубедительные завывания немецкой пропаганды об «идеологической борьбе с большевизмом» и о «крестовом походе«, стали звучать уверенные нотки об истинном смысле этого грандиозного столкновения. Так, например, к этому времени Альфредом Розенбергом уже была произнесена речь (могущая быть образцом человеческой глупости и политического легкомыслия), в которой он дословно сказал, что «Германия не может допустить того, чтобы у нее под боком неорганизованно плодился и размножался народ, стоящий на низшей степени развития и вечно угрожающий поглотить высшую германскую расу.....» А д-р Геббельс к тому времени уже опубликовал свою передовицу в газете «Дас Райх», посвященную целям войны на востоке, в которой он подробно объяснил своим читателям, что война «на тучных нивах востока, ведется германским народом за тот, хорошо накрытый стол, который после окончания войны будет в каждой немецкой семье....»

Таким образом, «идеологическая борьба с советской властью», ведомая, якобы, Германией, очень

быстро выродилась в самый прозаический «дранг нах остен», начатый ради того, чтобы после (разумеется победного) окончания его, кажный немец мог бы сесть у «хорошо , накрытого стола» и, наконец, как следует — нажраться. А пресловутый «крестовый поход против большевизма», вызвавший столь естественный подъем в душе каждого антибольшевика, превратился в ничто иное, как в какой то своеобразный «крестовый поход за салом».

Если после всего этого, у кого либо из наиболее оптимистически настроенных врагов большевизма и оставались еще какие либо сомнения, то они были быстро рассеяны самой жизнью. Ибо, если можно было критически относиться к слухам негласно проникавшим в общественность, если можно было запутаться в разноголосом хоре немецкой пропаганды, то правительственные мероприятия в оккупированных русских областях не оставляли места для сомнений или иллюзий.

Образование Министерства занятых восточных областей исключило самый главный козырь в борьбе с большевизмом, дававший наиболее верный шанс для ее успеха, а именно: создание российской национальной государственности. Другими словами, советской власти вместо национального российского правительства, которому, судя по выявившимся настроениям красной армии и гражданского населения оккупированных областей, была с первых же шагов обеспечена огромная популярность и повсеместная поддержка, противопоставлялось Министерство занятых восточных областей с Альфредом Розенбергом во главе.

Не нужно было быть пророком для того, чтобы предсказать, что несмотря на всю ненависть к советской власти, русский народ со столь развитым в нем национальным чувством, в выборе между советской властью и Розенбергом (и не имея третьего выхода), в конце концов, остановится на советской власти, ибо какая бы то ни была «своя власть», будет всегда ему больше импонировать, чем чужеземное иго. И только благодаря, действительно, неисчерпаемой ненависти

к сталинской диктатуре, этот выбор не был сделан уже весной 1942 года. Еще целый год русский народ, попавший между большевистским молотом и немецкой наковальней, метался из стороны в сторону и, проклиная советскую власть, шел к немцам для того, чтобы, прокляв их, обратиться снова к советской власти. Или, наконец, сжав зубы и кулаки ждал и надеялся, что быть может явится еще какой то выход, который спасет его и от советской власти и от розенберговского восточного министерства. А об ускорении этого выбора и об исключении всякого иного выхода, заботились сами чиновники этого памятного министерства.

Сведения, поступавшие в это время с территорий оккупированных германской армией, говорили о том, что немецкое гражданское управление к этим огромным областям применяет те же самые методы, которые были ими применены к балтийским странам. Те же «площади Адольфа Гитлера», те же переименования улиц на немецкий лад, переименование даже целых городов (Псков за это время стал Плескау), те же закрытия учебных заведений, те же пощечины национальному самолюбию и человеческому достоинству и, наконец, что самое непонятное и нелепое, — та же беспощадная борьба со всеми национальными группировками русских, украинцев и белоруссов, то есть опять таки, со своими естественными союзниками в борьбе против большевизма.

Впрочем, последнее обстоятельство в это время уже перестало быть непонятным. Из кругов того же восточного министерства неофициально, но и не двусмысленно было заявлено, что деятельность всяких национальных групп на оккупированной территории запрещается, ибо создание национальной России, Украины или Белоруссии не входит в планы Германии и такие группы считаются столь же опасными, как и подпольные большевистские организации. В свете этой формулировки стало понятным и то обстоятельство, почему перед русскими эмигрантами, двери в Россию оказались закрытыми. Впрочем, и из этого тоже больше не делалось тайны. В том же восточном

министерстве, русская эмиграция была охарактеризована, как «бацилла национального брожения» и вполне естественно, что эта бацилла была гораздо безопаснее в Берлине или Париже, нежели в Смоленске или Киеве.

Таким образом, первый год войны на востоке можно охарактеризовать следующим образом: русский народ, в лице миллионов красноармейцев, добровольно сдавшихся в плен, и в лице десятков миллионов советских граждан, встретивших немцев, как освободителей, протянули Германии руку для честного сотрудничества в борьбе с большевизмом. Однако, Германия не только отказалась пожать протянутую ей руку, но со всего размаха ударила по ней.

Когда я думаю об этой протянутой руке, я не могу не вспомнить о трагикомическом рассказе одного моего приятеля, московского литератора. Он, как и тысячи других московских интеллигентов, был мобилизован в, так называемое московское ополчение и брошен на фронт в районе Брянска. Как и миллионы его соотечественников, он видел в то время в немцах друзей и освободителей. Поэтому он не сделал ни одного выстрела, а, бросив винтовку, пошел питаясь кореньями через леса на запад, для того, чтобы первому же встреченному немцу протянуть руку и сказать, что он не враг ему, а друг и союзник. После недели скитаний, где то на опушке леса, он, наконец, увидел первого немца. Он подошел к нему и, чувствуя всю торжественность этого момента, протянул ему руку для того символического пожатия, которое по его мнению должно было ознаменовать не только его встречу с этим немцем, но и встречу русского народа с народом немецким. И, действительно, эта встреча не обошлась без символики. Немец равнодушно посмотрел на протянутую к нему руку и.... снял с нее часы.

Пораженный московский литератор не знал еще тогда, что особенность его встречи с немцем на опушке брянского леса, будет символической для всего первого периода войны.

В первый год войны, Германия могла опереться на

самые различные слои русского населения. Однако, она не только не отказалась от этой возможности, но с редкой последовательностью начала из сегодняшних друзей создавать завтрашних врагов. На что же думали опереться немцы на необъятных просторах востока? Повидимому только на свои танки. Но ведь эта опора никак не может быть признана достаточно надежной. Ибо, танки обладают одной неприятной особенностью. Они движутся с одинаковой быстротой, как вперед, так и назад.

Правда, на исходе первого года войны на востоке, они двигались еще вперед.

И, как раз, в первую годовщину начала этой войны, немецкие танки двинулись в обход наступавшей группы армий маршала Тимошенко и завязалась, так называемая, харьковская битва.

Параллельно с переменами на политическом горизонте, менялись и настроения русских антибольшевистских кругов в Берлине.

Совершенно естественно, что если русские антибольшевики изъявили свое горячее желание принять участие в «крестовом походе против большевизма», то участие в борьбе за превращение Европейской России в немецкую колонию или, как это стало неофициально называться, — в «крестовом походе за салом», ни в какой степени их не устраивало.

Поэтому первая реакция русских антибольшевистских кругов на создавшуюся политическую обстановку, была та, что вместо разочарования по поводу отказа немцев воспользоваться их услугами в борьбе на востоке, они испытали удовлетворение и некоторое чувство благодарности судьбе за то, что им не пришлось принять участие в деле, в котором им не хотелось бы быть замешанным.

Однако, русские антибольшевики не склонны были от одной крайности переходить к другой. И я думаю, что не ошибусь если скажу, что никому из них не пришла бы в голову мысль (буде к тому явилась возможность) принять в этой борьбе участие на сто-

роне советского правительства. Ибо, каждому из них было вполне ясно, что и при создавшемся положении он, защищая Россию, одновременно защищает и советскую власть. Поэтому вполне естественно, что русские антибольшевики обратили свои мысли и надежды к тому единственно возможному выходу, который подсказывала сама жизнь.

Этот третий выход сводился к следующему: — каждому здравомыслящему человеку было совершен но ясно, что план завоевания России является абсурдным и невыполнимым и, что так или иначе, это скоро станет ясным и самим немцам. А тогда государственным людям Германии придется, естественно, пересмотреть свою политику на востоке и искать новых путей в разрешении русской проблемы. Путь же этот был и остается один — в союзе с национальными силами России продолжать борьбу против советской власти.

Когда же можно было ожидать этого перелома в настроениях германских верхов? Очевидно, после первых серьезных неудач на фронте.

Таким образом, вывод напрашивался сам собой. Надо крепить свои ряды и терпеливо ждать этих неудач. А тогда, если будет еще не поздно, в новых условиях принять участие в том деле, которому многие русские антибольшевики посвятили свою жизнь.

Этот третий выход и надежды связанные с ним не являлись плодом фантазии желающих успокоить себя врагов большевизма. Для утверждения их в этой позиции имелись конкретные данные.

Те же тайные русла, которые принесли первые сведения о немецких планах на востоке, параллельно принесли и обнадеживающие вести. Эти вести говорили о том, что в высших партийно - военных сферах существуют серьезные разногласия по поводу политики, проводимой в оккупированных русских областях И, что, якобы, в то время, как партийные круги твердо стоят на первоначальном плане безкомпромиссной завоевательной войны, некоторые военные круги составляюжие оппозицию, предусматривают в этой борьбе сговор с русским народом и совместную борьбу про-

тив советской власти. Согласно этой же информации, оппозиционные военные круги полагают, что наиболее удобным моментом для нажима в смысле перемены политики по русскому вопросу, явится то время, когда на восточном фронте обрисуются первые серьезные неудачи военного характера.

Таким образом, создавшаяся обстановка диктовала русским антибольшевикам новую и, казалось бы, парадоксальную ставку. Ставку — на немецкие неудачи.

Будущее покажет, что ставка эта была по существу верной. Только ставившие на нее не могли, разумеется, предвидеть того масштаба неудач, которые понадобились государственным людям Германии для того, чтобы осознать происходящее и попытаться переменить свою политику в русском вопросе .И когда, спустя два с половиной года, советские полчища стояли уже на территории Восточной Пруссии и Силезии, тогда приступлено было и к созданию российского национального правительства и к формированию российской национальной армии. Однако, в то время уже поздно было думать не только об успешной наступательной войне, но и оборона самой Германии, являлась делом совершенно безнадежным.

Весной 1942 года все это, разумеется, было еще неизвестно и казалось, что достаточно одной серьезной неудачи для того, чтобы в русском вопросе восторжествовала умеренная военная партия.

И поэтому, как это не звучит парадоксально, когда в июне 1942 года, первые залпы оповестили мир о начале грандиозной харьковской битвы, то вероятно, одинаково искренне желали победы маршалу Тимошенко, как советские сановники в Москве, так и русские антибольшевики в Берлине.

Харьковская битва (которую в свое время подробно разберут военные историки) началась, как известно, наступлением армий маршала Тимошенко и после первоначальных успехов этого наступления, закончилась полным разгромом советских армий, попавших в безвыходный мешок, приготовленный германским командованием. Исход этой битвы, несомненно, одинаково

обуславливался, как военным мастерством германского командующего этим участком фронта генерал - фельдмаршала фон Бока, так и полной военной несостоятельностью бездарного партийного выдвиженца маршала Тимошенко.

Однако, я не уверен, что будущие военные историки учтут в полной мере еще один фактор, который для исхода этой битвы имел, пожалуй, решающее значение. Этим фактором было то обстоятельство, что бойцы армии Тимошенко не знали еще, ни о берлинских планах войны, ни о Министерстве занятых восточных областей, ни о Альфреде Розенберге. Бойцы армий Тимошенко, как и их товарищи первых месяцев войны, не видели в этой войне борьбу против их родины и народа, а принимали ее как борьбу против советской власти, которую они защищать не хотели. Другими словами, у них еще не было стимула для борьбы и это обстоятельство повлияло на исход сражения, значительно больше, чем искусство фон Бока и бесталанность маршала Тимошенко.

Этот стимул появится несколько позже. Он появится тогда, когда через непрочную линию тысячеверстного фронта, вести о том, что творится в занятых немцами областях докатятся до глубокого советского тыла и сплотят ряды новых советских армий для будущих битв с гитлеровским нашествием.

Это обстоятельство, разумеется, не было учтено государственными людьми Германии и харьковская победа была всецело отнесена за счет могущества «непобедимого германского оружия». И, непосредственно, после харьковской битвы, под гром литавров и звуки победных фанфар, германские армии двинулись дальше на восток. К новым победам, — как думали руководители Третьего Райха. К своей гибели, — как подсказывала железная логика событий.

Если бы война эта носила политический характер, то, несомненно, после харьковской победы, немцы попытались бы взять Москву и содействуя образованию там нового правительства, сыграли бы на той внутренней смуте, которая явилась бы следствием этого. Для этой операции, летом 1942 года, германское командо-

вание располагало еще достаточными материальными возможностями, а русский народ еще не потерял окончательно веры в «освободительную миссию» Германии.

Однако, столкновение на востоке продолжало для немцев носить исключительно военный характер. Поэтому, после харьковского сражения, германские армии были брошены не на Москву, а в фантастическую и сомнительную операцию — разрыва европейской России на две части.

В конце лета 1942 года, когда германские армии быстро продвигались на Кубань, Дон и Северный Кавказ, редакция «Нового Слова», после долгих хлопот, снова получила разрешение на отправку одного сотрудника в очищенные от большевиков районы. И я во второй раз, в качестве корреспондента, выехал на родину.

X

СНОВА НА РОДИНЕ. КИЕВ — ГЛАВНЫЙ ВОКЗАЛ. «БЫВШИЙ ГОРОД.»

Поезд мягко подпрыгивая на рессорах и стуча колесами на стыках, с редкими остановками на больших станциях, снова уносит меня на восток. Он давно уже оторвался от военной сутолоки берлинского вокзала оставил позади себя, разрушенную, обглоданную войной и оккупацией Варшаву и только что, после короткой остановки, тронулся с маленького, но оживленного бердичевского вокзала.

За Бердичевым, освещенным ярким, совсем еще летним солнцем, проносятся гигантские ковры убранных полей, со светло - желтыми полосами сжатой пшеницы и зелеными дорожками огородов. На паре белых волов едет в поле старик с седыми отвисшими усами. Характерные для Украины отвисшие усы еще можно встретить здесь, но других непременных, в былое время, для этих краев атрибутов, вроде синих шаровар, широкого яркого пояса и черной смушковой шапки, уже нет. Городские брюки, прорванная рубаха и мятый картуз над серым, видавшим много горя лицом.

Убраные поля, кукуруза, подсолнухи.... В Берлине, в конце Курфюрстендамма, растет несколько подсолнухов. Почему они там растут — неизвестно. И, вряд ли, волнуют они сердце проходящего мимо соотечественника. Но когда поезд проносится сейчас мимо маленьких, забытых станций и полустанков, где через

забор свешиваются тяжелые головы подсолнухов, а маленькая босоногая девочка долго машет грязной рученкой вслед уходящему поезду, то сердце как то щемяще сжимается. Оттого ли, что эту картину так долго не видел? Или оттого, что увидел ее вновь?....

Между Бердичевым и Фастовым не только мирные черноземные пейзажи. Тут и там валяются разбитые танки и автомашины. Совсем близко от железнодорожной станции, вдруг, несколько сгоревших вагонов. Почти через каждый десяток километров — сваленные в кучу крестообразно сбетонированные рельсы. Это противотанковые заграждения, повидимому, не оправдавшие возложенной на них задачи. Порой поезд проходит мимо целого кладбища танков и бронированных машин. А потом опять поля, огороды, подсолнухи...

Недалеко от Фастова лежит вдребезги разбитый советский танк - гигант. Около него пасется корова. В этом есть какая то символика. Быстро пронесшийся призрак смерти и вечная, неугасающая жизнь.

А мимо никому ненужного танка и такой нужной коровы идут люди. В них заключена иная символика. Эти люди — босые.

От Ковеля до Киева я видел из окна вагона сотни людей. И почти все они были босые. Где же их обувь? На это лучший ответ дает беспомощно лежащий, уродливый стальной колосс. Большевики сняли с людей обувь и дали им этот танк. И даже не дали им его. Этот танк должен служить не этим людям, а коммунистической партии. Этим танком большевики хотят завоевать мир не для этих босых людей, а для себя.

Однако, мир не завоевывается танками. Первыми это поймут национал - социалисты. Надо надеяться, что после них придет черед и за большевиками. Две тысячи лет тому назад, мир был завоеван Словом. Равного тому Слова ждет и теперь утомленное человечество....

Острые переживания, связанные с приездом на родину после двадцатилетнего отсутствия, значительно сглаживаются, когда приезжаешь во второй раз. Но за-

то все это вдвойне компенсируется тем неподдающимся описанию чувством, которое испытываешь, когда подъезжаешь не просто к абстрактным родным пределам, а к городу в котором прошло твое детство, который любишь и помнишь так, как будто был в нем совсем недавно.

И поэтому, когда поезд постепенно замедляя скорость, простучал колесами мимо последних полустанков и в глазах промелькнули знакомые и такие родные названия: Боярки, Жуляны, Пост - Волынский, то уже не хватало места в окне вагона и секунды казались часами. Перегнувшись совсем наружу, пристально всматриваешься вперед и, вдруг, сразу из за какого то поворота за Постом - Волынским, совсем близко, вот - вот рукой достанешь, в солнце и зелени появляются знакомые очертания красавца Киева. На минуту закрываешь глаза и, вдруг, кажется, что все это чепуха, что не было ни Бердичева, ни Фастова, ни танка, ни коровы. Не верится в реальность переживаемых мгновений. Не верится, что вот сейчас откроешь глаза и увидишь перед собой самый дорогой, самый родной и самый красивый город, так часто снившийся за эти годы и, снова попасть в который, уже была потеряна надежда навсегда. Но открываешь глаза и перед тобой на самом деле красавец Киев. Зычный голос кондуктора окончательно рассеивает все сомнения. Он громко возвещает:

— Киев!.... Главный вокзал!....

Еще о читателях и журналистах....

Читатели - непонятные люди. Когда журналист (именно журналист, ибо писателю все разрешается) позволяет себе хоть на минуту остановиться на каком то личном переживании, то читатель, обычно, с негодованием заявляет: — «ну, вот, он опять о себе пишет. Кому интересно, что он там переживал и думал. Нас интересует общая информация. Общая....»

Однако, когда журналист вернется из интересной поездки (а это я знаю по личному опыту), то самые частые вопросы, которые слышишь следующие: — «ну, а

что вы почувствовали в этот момент? А что вы испытывали в это время? Ну, а что вы тогда подумали?...

Вот и разберись в читательской психологии. А, впрочем, и разбираться — некогда.

Поезд подошел к вокзалу, с которого двадцать три года тому назад отошел эшелон киевского кадетского корпуса и увез нас, маленьких кадет (большие были на фронте) надолго, потом стало казаться навсегда, из родного города, а позже и с родной земли. Я помню толпу родных и близких, со слезами провожавших нас, узелки и пакетики, передаваемые в окна своими и совсем чужими людьми.

И, несмотря, на прощания и слезы, никто не верил в то, что разлука будет долговременной. Это была уже третья эвакуация втечение последнего года. И каждый раз мы очень скоро возвращались назад. Поэтому, когда поезд тронулся и в воздухе замелькали традиционные беленькие платочки провожающих, то никто из них, вероятно, не подумал, что поезд уходит надолго, очень надолго, для многих — навсегда.

В толпе провожающих я долго вижу мою тетю, в ко сынке сестры милосердия, машущую платком вслед уходящему поезду. Как и все другие, она думала, что поезд придет назад через две - три недели.

Поезд пришел через двадцать три года.

И вот опять перон киевского вокзала. Но остался ли кто нибудь из толпы провожавших нас в ноябре девятнадцатого года? Да, конечно, остался. По перону, мимо останавливающегося поезда, быстро идет та же самая, предупрежденная мною о приезде, моя тетя, не переменившая за эти годы професси, если не в той же самой, то в такой же самой косынке и пытается среди выскакивающих из поезда людей, узнать маленького кадетика, махавшего ей из окна фуражкой двадцать три года назад. И к моему величайшему удивлению — узнает.....

Ести первая категория читателей, не любящих лирических отступлений, спросит меня почему я это сделал то я скажу, что сделал его ради тех, которые эти отступления любят. Но, если эти последние спросят ме-

ня, что я в эти минуты думал, то я должен буду ответить, что в это время я не думал ничего.

Незадолго перед отъездом я встретил в Берлине одного радио-техника, приехавшего на работу в Германию из Киева. Это был молодой человек лет двадцати пяти. Мы с ним провели как то целый вечер. В нем не было никакого энтузиазма по отношению к советской власти, но в нем была все же свойственная некоторым советским гражданам, родившимся на грани октябрьской революции, уверенность в том, что большевики, при всех отрицательных сторонах их режима, — «всетаки много сделали в смысле стройки». Причем эта пресловутая «стройка» на подобие трехрядной гармоники, растягивается в их воображении, в зависимости от их умственного развития, от скромных басовых нот до переходящего в фальш дискантного визга.

Говоря об этом я, разумеется, не имею в виду тех троглодитов, которые твердо уверены в том, что Ленинград выстроен уже при большевиках в честь Ленина, а Сталинград — в честь Сталина (приходилось встречать и таких), но например, одна совсем не глупая студентка, из того же Ленинграда, с пренебрежением говорила мне о том, что до революции на Невском проспекте была «какая то деревянная мостовая», а при большевиках ее покрыли асфальтом. И мне большого труда стоило объяснить ей, что «какая то деревянная мостовая», была торцовой мостовой, которая была не только самой дорогой и лучшей из всех мостовых мира, но в те времена, времена конской тяги и наиболее удобной и безопасной для лошадей.

Киевский радио - техник не пытался меня убедить в том, что его родной город выстроен в годы сталинских пятилеток, но узнав, что я еду туда, вытащил десяток фотографий и с понятной гордостью за свой город сказал: — о, Киева вы теперь не узнаете! Там выстроено много нового....

На вынутых им фотографиях были засняты какие то большие здания и умело разбросанными светотенями, действительно, создавали впечатление чего то величественного.

— Много там таких зданий, — спросил я.
— Да, порядочно, — неопределенно ответил он.
— А как выглядит теперь Крещатик? — полюбопытствовал я.
— Ну, что Крещатик.... У нас есть теперь улица получше Крещатика!.... и с этими словами он показал мне новый снимок. Огромная, широкая улица уходила в бесконечную даль перспективы и производила, и в самом деле, большое впечатление.
— Что это за улица? — спросил я.
— Бульвар Шевченко, — торжественно ответил он. — Слышали вы о ней?....
— Нет не слышал, - голосом побежденного сказал я.
— Ну, вот, поедете и погуляете там, — закончил он.
Я поехал и погулял.
Милый, простодушный радио-техник. Его сознательная жизнь началась лет десять тому назад. Значит он помнит Киев, примерно, с 1932 года. Этим и объясняется его, ни на чем не основанная гордость за свой несчастный город. Я не могу сердиться на него и не хочу над ним смеяться. Но, если когда нибудь я встречу его еще раз, то покажу ему не десяток эффектно заснятых консервных коробок, выстроенных при большевиках и иллюстрирующих стройку Киева, а сотню сделанных мною снимков, свидетельствующих о медленном, но верном разрушении Киева и постепенном исчезновении его ,как города. А также должен буду довести до его сведения, что «новая улица получше Крещатика», называющаяся бульвар Шевченко, есть ничто иное, как старый Бибиковский бульвар, получивший новое название, но на котором за эти годы не появилось ни одного нового дома и ни одного камня на мостовой.

В одном все же был прав радио - техник. А именно: Киева, действительно, узнать нельзя.

Со щемящей душу тоской, брожу я по любимому городу вдоль и поперек, от Лукьяновки до Печерска и от Шулявки до Подола. Тяжелое впечатление производит не взорванный большевиками Крещатик. Взрывы остаютая взрывами и таких развалин я видел в эту войну уже достаточное количество. Жуткая, безыс-

ходная тоска охватывает вас при виде остального города, не пострадавшего от войны, но разваливающегося от последствий коммунальной системы в городском хозяйстве.

Знакомые улицы, когда то нарядные и оживленные, ныне, сгорбленными от искривившейся мостовой провинциальными шляхами, расходятся по всему городу. Спотыкаясь о сточеные булыжники, то вдавленные в землю, то торчащие вверх, проваливаясь в ямы на тротуарах, вы идете мимо серых, унылых, облупившихся домов, четверть века не видавших ремонта и разваливающихся на ваших глазах. Там и тут — попокосившиеся, поломанные деревянные заборы, обросшие бурьяном земляные тротуары и вдоль них, нередко, деревянные дома на каменном фундаменте, накренившиеся на бок и неизвестно по каким законам физики еще не свалившиеся на улицу. И это не окраина города. Это не Демиевка и не Соломинка. Так выглядит угол, где пересекаются центральные улицы: Фундуклеевская, Гоголевская и Столыпинская. Так выглядит много углов. Так выглядит почти весь Киев.

Когда я зимой побывал в Пскове, я описал его в очень похожих выражениях. С грустью покидая Псков, я думал все же, что этот северный город уже давно был каким то второстепенным и заброшенным и еще в дореволюционное время не отличался особым блеском. Я не мог по Пскову составить общего впечатления о других городах и подъезжая к купающемуся в солнце и зелени Киеву, мне казалось, что описывая Псков я пожалуй был голословен, обвиняя в его запустении советскую власть. Но, когда я увидел и не только увидел, а внимательно изучил весь Киев, который я знал когда то улыбающимся красавцем, а теперь застал умирающим стариком, мне стало ясно, что все сказанное о Пскове было на своем месте и, что годы советской власти, с непостижимой быстротой и однообразием, сумели превратить, повидимому, все города в живые кладбища.

Теперь Киев красив только издали. Только глядя на него из окна поезда или с высоты Липок, вы можете вспомнить о том, чем был когда то этот город. А гуляя

по нем вы не можете отделаться от ощущения, что ходите вы не по городу, а по запущенному кладбищу, по которому, там и тут, разбросаны памятники с дорогими вам, знакомыми именами и, подчас, со смотрящими на вас с этих памятников, выцветшими миниатюрами с когда то близкими и милыми чертами.

Что же случилось с Киевом за эти годы? Почему он стал похож на какое то большое местечко? Почему румяный красавец Киев превратился в пергаментного старца, будто, доживающего свои последние, безрадостные дни?

А случилось, как и в Пскове, очень простое.

Раньше был некто Иванов. Он имел собственный дом. Он хорошо знал, что если этот дом он не будет содержать в образцовом порядке, то никто не снимет у него квартиры. И некто Иванов содержал свой дом в порядке. Затем появился управдом Иванов. Ему было в высшей степени наплевать в каком состоянии будет находиться вверенный ему дом. Доходы получал не он, а социалистическое государство. А социалистическому государству, как это не звучит странно, было повидимому, в высшей степени наплевать в каких условиях живут его граждане. Кроме того, управдом Иванов знал, что на жалкие крысиные норы, на которые был разбит управляемый им дом, найдутся сотни желающих, для которых эта нора являлась пределом земных мечтаний. И поэтому на все вопли жильцов о ремонте, починке и гигиене, управдом отвечал просто и односложно: — «не нравится — выселяйтесь». А выселиться было некуда. Ибо, квартиры в Советском Союзе снимались не по вольному найму, а давались по ордеру жилищного отдела. А ордеров этих не было. Ибо, не было квартир.

Таким образом, в медленном разрушении домов, а за ними и городов, прежде всего виновата таже абсурдная и преступная коммунальная система. Из жизни каждого дома и каждого города, был вынут стержень всякого благоустроенного хозяйства. Был вынут — собственник. А вместе с ним исчез и двигатель всякого прогресса. Исчезла — конкуренция. Благодаря отсутствию конкуренции в промышленности, советский

гражданин должен был довольствоваться одними и теми же, везде одинаковыми и везде одинаково скверными предметами первой необходимости. Ввиду отсутствия конкуренции в жилищном вопросе, советский гражданин должен был довольствоваться крысиными норами вместо благоустроенной квартиры.

Вторым бичем домов, а за ними и городов, была перешедшая все пределы — перенаселенность квартир. Перенаселенные кварталы есть в каждом большом городе мира. Это, так называемые, кварталы бедняков. В марксистском государстве квартал бедняков занимает всю площадь страны. В жилищном отношении Советский Союз, это лондонский Уайт - Чепль или негритянский квартал Нью - Иорка, разросшийся до размеров одной шестой части суши.

Но ведь этот вопрос можно было разрешить просто и сравнительно быстро. Построить в городах — тысячу, две, три тысячи новых домов. Ведь, скажем, в столице Югославии, Белграде, где прошли мои эмигрантские годы, построили же с 1920 по 1940 год больше трех тысяч новых домов. Почему же нельзя было этого сделать в Киеве?

Да, очень просто почему: в Белграде, как и во всем мире, дома эти строили собственники, а руководила ими конкуренция. В Киеве же эти дома должно было строить социалистческое государство. А что должно было им руководить? Забота о гражданах? Но в том то и дело, что в социалистическом государстве действительной заботы о гражданах не существует. Государство такого рода заботится прежде всего о себе. Оно не могло вложить в жилищное дело миллиардные суммы, которые нужны ему для своих целей. Эти миллиарды пожирались революциями в Китае, Испании, Мексике, подрывной работой в Азии, Европе, Америке и на всем земном шаре. Они шли на оплату чудовищного по своим размерам аппарата принуждения, существующего в собственной стране. Они поглощались убыточными опытами новых систем в промышленности и сельском хозяйтве. Они исчезали в стройке новых фабрик и заводов, вырабатывающих огонь и железо, которые должны в свое время стать аппаратом

принуждения для всего остального человечества.

Оставались жалкие крохи и для постройки домов. Но дома эти не предназначались для простых смертных Советского Союза. На эти крохи строились дома нужные не советским гражданам, а советскому правительству. Несколько десятков таких домов, построено за двадцать три года и в миллионном Киеве. Как правило, это либо правительственные здания, либо общежития для членов тех организаций, на которые опирается советская власть.

Именно, поэтому единственный город в СССР, который заметно отстраивался была Москва. В столице была особенная потребность в зданиях такого рода. Кроме того, Москва была городом показательным. Там чаще всего бывали иностранцы. Так делается в магазинах: старательно убранная, залитая электричеством, витрина, а в подвалах и на чердаках беспорядочно нагроможденные ящики, покрытые пылью плесенью и паутиной. Москва — это витрина Советского Союза. Остальная страна — подвал и чердак.

Однако, новые киевские дома нисколько не украшают внешний вид города. Большинство из них, не только безобразны по своей архитектурной форме, но даже не оштукатурены снаружи. Их фасады — это кирпичные стены. Но это не веселящие глаз стены из красного кирпича с аккуратной белой прослойкой, какие бывают у английских коттеджей и у лютеранских церквей. Это, попросту, унылое нагромождение из серых кирпичей, с безформенной застывшей между ними серой же цементной лавой. Трудно сказать, чем руководствовались в данном случае строители этих домов: отсутствием кредитов или «буржуазных предрассудков?» А может быть, отсутствием штукатурных одежд на кирпичном рубище их творений они хотели соблюсти и своеобразный нищенский стиль общий для всего города? Так в старинных готических городках Западной Европы, ревниво оберегающих свой стиль, новые здания, предназначенные для самых архисовременных целей, строятся в строгом и мрачноватом стиле старинной готики.

Надо ли говорить, что киевские дома выглядят

убого не только снаружи. За их потрескавшимися, обшарпанными стенами, прячется пещерный быт, страшный не только своей неприкрытой, однообразной бедностью, но и двадцатитрехлетним отсутствием перспектив на лучшее будущее.

При посещении киевских квартир я, разумеется, не выбирал худших из них. Я вообще их не выбирал. Адреса, проставленные на конвертах, десятков писем, привезенных мною киевлянам от их заграничных родственников, выхватывали для меня из гущи киевских домов, десятки же квартир в самых различных частях города и с самым различным квартиронаселением.

Впрочем, первая квартира, которую я посетил в Киеве, не имела никакого отношения к привезенной мною корреспонденции. Для этой квартиры я не привез письма. Но я привез с собой тысячу осколков воспоминаний детства, бережно сохраненных для этого дня моей памятью. Другими словами, первая квартира посещенная мною в Киеве была та, с которой двадцать три года тому назад, наскоро собрав несложный багаж, я отправился на вокзал, а оттуда в неизвестность.

Я избавлю читателя от лирического отступления, которое само собой, напрашивается в этом месте. Возвращение в «отчий дом», после столь продолжительного отсутствия, многократно и добросовестно описано романистами. Я не хочу ничего добавлять к их волнующим страницам, действующим на читателя прямо пропорционально литературному дару автора и его человеческой чуткости. Да, к тому же, я возвратился не в отчий дом, а просто на квартиру, которую случайно втечение ряда лет снимала наша семья в Киеве. Быть может поэтому, подъезжая к заветному дому, я не испытывал ничего кроме вполне законного любопытства. А может извозчик, жаловавшийся всю дорогу на нехватку овса и дороговизну, нарушал напряженность редкой минуты.

Новые обитатели, когда то нашей квартиры, узнав о цели моего посещения, сочувствнно отнеслись ко мне и стали охотно водить меня по комнатам. А ка-

кая то старушка, сначала долго не понимавшая в чем дело, наконец, поняв даже прослезилась и все время ходила за мной, с особой нежностью глядя на меня подслеповатыми глазами.

Я хорошо помню эту квартиру, состоящую из четырех комнат, ванной, кухни и маленькой комнаты для прислуги. В этой квартире были когда то, какие то пестрые ковры, отоманки, туи в кадках, был мягкий свет от настольной лампы, были какие то пейзажи и натюр - морты на стенах. Был здесь, какой то человеческий уют и какая то радость бытия.

Ничего этого я тут не застал. Строго говоря, то что я застал здесь давно уже потеряло право называться квартирой. Все смежные двери в комнатах были либо замурованы, либо забиты дикговыми перегородками. Ванная комната была превращена в жилое помещение и там обитала упомянутая мною старушка. Таким образом, квартира оказалась разбитой на шесть клеток. В четырех из них жило четыре семьи, от двух до четырех членов каждая. В пятой клетке — старушка. В шестой (комнате для прислуги) —какой то студент.

В общей кухне, обитатели этого жилья, никак не могли контролировать расходования дров, а потому плита уже годами не топилась. На ней стояли шесть, видавших виды, примусов, на которых готовились обеды и ужины. Один угол в кухне — завешен одеялом. Сюда жильцы приходили переодеваться, когда у них бывали гости. В кухне же умывались, прямо из крана над раковиной. Так как кухня не топилась, то зимой на полу образовывался настоящий каток. Тогда готовить обед приходили в валенках.

Неудивительно, что такое жилье и перестало называться квартирой. Уютное слово «квартира» в Советском Союзе давно уже вытеснено холодным и безличным словом — «жилплощадь».

Как рачительный директор Зоопарка точно устанавливает требуемую величину клетки для разных пород животных, так и марксистское государство точно определяет нужную жилплощадь для своих граждан. Размеры этой жилплощади колеблются в зави-

симости от перенаселенности городов. В Москве, в одном из самых перенаселенных городов Советского Союза, эти размеры доходили до четырех квадратных метров на душу. В Зоопарке для шимпанзе или гориллы полагается значительно больше.

Дирекция, администрация и сторожа Зоопарка, как известно, в клетках не живут. В Советском Союзе страшное понятие жилплощади тоже распространяется не на всех. Дирекция Советского Союза живет во дворцах, администрация — в благоприобретенных особнячках, сторожа — в достаточно просторных квартирах.

Но советские граждане, миллионы, десятки миллионов советских граждан живут, вот именно, в таких зоопарковских клетках, на которые оказалась разбита и наша бывшая квартира и тысячи других киевских квартир.

И эта квартира не сделалась такой уже во время войны. Из разговоров с жильцами выяснилось, что война не принесла в эти стены никаких перемен. Люди, живущие здесь сейчас, жили здесь, и в сороковом году и в тридцать пятом.

За свое двухмесячное пребывание в Киеве я побываю потом в десятках других домов и везде, с небольшими вариациями, найду ту же картину. Снова замурованные двери, диктовые перегородки, еще старушки, живущие в ванных комнатах, еще примусы, гудящие на кухне, снова углы завешенные одеялом, еще и еще зоопарковские клетки, с мужчинами, женщинами, детьми, с оборванными обоями, с темными лестницами, с вечно испорченными уборными, с ссорами и дрязгами, с атмосферой пропитанной сознанием искалеченной жизни и с проклятиями и еще, и тысячу раз еще, с проклятиями по адресу тех, кто четверть века калечил жизнь человека, жизнь семьи, жизнь целого народа.

Все дома Киева стали похожи один на другой. Все квартиры похожи одна на другую. Увиденное в одном доме, непременно увидишь во втором, в десятом, сотом, пятисотом. Бывают, правда, и новые впечатления. В том доме, где когда то жил я, лифта не бы-

ло. А вот в доме одних моих новых знакомых есть лифт. Вернее, он когда то был. Его кабина беспомощно покоится в подвальном этаже. Жильцы точно не помнят с какого года она нашла там упокоение. Одни говорят — с двадцать седьмого, другие — с двадцать пятого. Сначала делали попытки его починить. Потом кто то украл стальные троссы. Тогда махнули рукой. А дом — большой, семь этажей. Старики и старухи, калеки и беременные женщины поднимаются пешком на пятый, шестой, седьмой этаж. А кабинка лифта лежит в подвале. Лежит там, не то пятнадцать, не то семнадцать лет.

Этот лифт не является уникумом в Киеве. Таких лифтов там много. Одни лежат в подвалах, другие висят застрявши между этажами. Висят десять, пятнадцать, двадцать лет. В мирное время, в столице Украины, миллионном Киеве, действующий лифт был достопримечательностью.

Но, если нельзя было починить застрявший между этажами лифт, то кому же была охота покрасить фасад дома, починить крышу, подправить потрескавшуюся штукатурку? Быть может самим жильцам? Но для этого не было ни времени, ни средств, ни материала. Да и с какой стати, кто нибудь станет починять дом, который не принадлежит ему и из которого его могут ежечасно выселить? И город нищал, дряхлел и постепенно разрушался.

Если я сказал о старом Пскове, что там за время советской власти не был вбит ни один гвоздь, то тоже самое можно повторить и о Киеве.

Впрочем, иногда здесь и в старые дома вбивались гвозди. Вот, например, дом на Рейтерской 31, где я остановился. Входите в подъезд. Все стены, когда то выкрашенные масляной краской, облупились как замысловато выкрашенное пасхальное яйцо. На стенах вдоль лестницы — прекрасные лепные украшения. Какие то маркизы и пастушки со свирелью. На первой же площадке, огромными ржавыми гвоздями, прямо в глаз маркизе и в свирель пастушка, вколочена доска с почтовыми ящиками. Кто был этот орангутанг в человеческом образе, вколотивший гвозди в

скульптуру, когда рядом было гладкое место — неизвестно, но это единственные гвозди, которые были вбиты в этом доме с 1917 года.

— Что страшно, — спрашивает меня старый киевский инженер, сопровождавший меня в одной из первых прогулок по городу.

— Страшно, — отвечаю я.

— Я не могу испытать того чувства, которое испытываете вы, — добавляет он, — город разрушался постепенно на моих глазах и разница как то стиралась, но я догадываюсь о ней.

Мы садимся на скамеечке в Купеческом саду.

Оставленный мною, когда то молодым, цветущим красавцем, Киев кажется мне сейчас безнадежно больным, разбитым параличем стариком, тяжко вздыхающим в глубину наступающей ночи. Подгоняемые осенним ветром волны посеревшего Днепра, никогда не бывшего голубым, но во сто крат прекраснее «голубого» Дуная, выбрасывают на берег брызги, которые мне кажутся слезами.

— Того Киева, каким он был, больше нет,— грустно говорит инженер.

— Но он будет, — не совсем уверенно говорю я.

— О, конечно, будет, — с жаром подхватывает инженер, — но он будет лишь тогда, когда советская власть исчезнет навсегда.

И мы направляемся по горбатым, изрытым улицам, мимо потрескавшихся, обваливающихся домов, назад, в большое в неопрятное местечко по ошибке называющееся Киевом, бывшим когда то одним из прекраснейших в мире городов.

XI

НА КИЕВСКИХ УЛИЦАХ. ПЛАНОВОЕ ХОЗЯЙСТВО. ВСЕСОЮЗНЫЙ КОМИССИОННЫЙ МАГАЗИН.

Если от Крещатика подняться вверх по Институтской в Липки, то, примерно, на середине подъема слева, вы увидите красивое старинное здание, окруженное большим садом. До революции здесь был девичий институт. После революции здесь помещалось одно из отделений киевского НКВД. Это не случайность. Все лучшие дома в Липках, этой лучшей части города, заняты, либо под отделения НКВД и подсобные ему организации, либо под квартиры энкаведистов.

Таким образом, Липки, населенные когда то аристократией Империи, перешли по прямому наследству в руки аристократии советской. Старая аристократия жила здесь за счет своей родовитости и тугого кошелька. Новая аристократия — за счет «особых полномочий из центра» и хорошо смазанного нагана.

Поэтому Липки сохранились лучше, чем весь остальной город. Некоторые улицы этой аристократической части города, время от времени, покрывались асфальтом. Сюда, случалось, иногда заезжал кто либо из кремлевских владык. А то и какой нибудь знатный иностранец. Как то, в одном из особняков Липок, веселые ребята из НКВД «накачали» до безчувствия «старичину Эррио«. Старичина Эррио потом вернулся в

Европу и заявил, что он в восторге от Советского Союза. В частности, ему, вероятно, понравился и Киев. Но старичина Эррио не видел, ни Советского Союза, ни Киева.

Если вы приедете в Киев и с вокзала проедете, по обычному для иностранцев маршруту, в отель Континенталь, оттуда в Оперу, а затем в какой нибудь особнячек в Липках, то Киев вам не может не понравиться. Но при одном условии: — вы должны ехать только по одному определеленному маршруту. Несколько улиц, входящих в этот маршрут, старательно поддерживались в чистоте и порядке. Партийные хулиганы и очковтиратели, засевшие в горкоме, пеклись не только об этих улицах. Их также беспокоил и внешний вид домов. Поэтому, по пути обычного следования иностранцев, дома окрашивались только с той стороны, которая была видна из проезжающего автомобиля. Это не анекдот. Это факт, в котором я мог убедиться воочию. Да и рассказывали мне об этом не городские остряки, а маляры собственноручно покрывавшие нужную часть домов жизнерадостной светлой краской. Так веселые ребята из горкомов и горсоветов околпачивали и старичину Эррио и прочих наивных заграничных туристов.

По улицам Киева идут люди. Но это не та киевская толпа, которую я помню. Это вообще не городская толпа. По изрытым тротуарам улиц идут мужчины в поношенных рубашках, подпоясанных шнурками, в перелицованных тужурках, в обтрепанных стандартного типа полосатых брючках, в парусиновых туфлях на босу ногу или в смазных сапогах. На голове у них редко — помятая, видавшая виды шляпа. Чаще — кепка или тюбитейка. Еще чаще — ничего.

Идут женщины в каких то мешкообразных линялых платьях, в латанных салопах, обмотанные деревенскими платками, в черных грубых чулках, а то и совсем без чулок, в сбитых туфлях, а часто и в мужских сапогах. На голове у них редко — пожелтевшая соломенная шляпа. Чаще куцый берет или какой то самодельный колпачек из бумазеи. Еще чаще — обыкновенный белый платочек.

У всех, идущих по улице, людей в руках непременная — «авоська». Это мешок — сетка, с которым в других странах хозяйки ходят на базар. В Советском Союзе с авоськой (авось что нибудь достану) ходят всегда и всюду. Женщины идя в город, мужчины — на службу, дети — в школу. Даже собираясь в гости или в театр (в театральном буфете иногда продавали яблоки), все непременно захватывали с собой авоську. Авоська стала принадлежностью туалета советских граждан. Принадлежностью столь необходимой, что если муж или жена, выйдя на улицу, вдруг вспоминали, что забыли захватить с собой авоську, то бежали назад с такой поспешностью, как будто забыли одеть брюки или юбку.

Авоська — это не порождение военного времени. Это одна из принадлежностей советской эпохи. Когда нибудь этот дырявый мешок — сетка будет выставлен в музее, в качестве одного из экспонатов, иллюстрирующих советскую эпоху, и расскажет красноречивей всяких диаграмм и картограмм о такой же дырявой политической и экономической системе, долгие годы измывающейся над самыми терпеливыми людьми на земном шаре.

На многих углах стоят деревянные, безвкусные, грубо сколоченные киоски, На многих из них сохранилась надпись: — «Союзпечать». В другой стране, в такой будке, уважающая себя торговка, отказалась бы торговать картошкой. В Советском Союзе, такая громадная и богатая организация, как «Союзпечать», возводила этакие избушки на курьих ножках на главных площадях больших городов, придавая им еще более убогий, еще более нищенский вид.

На приступочках домов, не только окраин, но и самого центра, сидят старушки в ватных салопах, а около них босоногие, одетые в тряпье дети. Такие же старушки и такие же дети, продают на углах семячки, папиросы, вареную кукурузу, пирожки и яблоки. Мимо них идет такая же бедная и серая толпа.

До какого обнищания дошли при советской власти, когда то нарядные и элегантные киевляне, говорит

тот факт, что в дни оккупации к хорошо одетому прохожему здесь обращались обычно по ..... немецки. Если два хорошо одетых человека идут по улице и говорят по русски, на них часто оборачиваются с недоумением и любопытством. Много нужно было познать горечи в жизни, для того, чтобы русскому человеку стало казаться странным, что его соотечественник может носить хорошо сшитый костюм.

Нет сомнения в том, что одна из причин такого изменения внешнего вида киевлян, заключается в том перемещении городского населения, которое принесла с собой еще революция. Люди, жившие когда то в центральной части Киева, люди строившие и холившие его, давно не существуют. Они погибли в водовороте революции и гражданской войны, они усеяли своими костями безконечные просторы Сибири и далекого Севера, исчезли в застенках Чека и ГПУ и частично ушли заграницу. На их место, в центральную часть города, хлынули жители окраин: Соломенки, Подола и Шулявки. А эти окраины пополнились пришельцами из деревень. Город сразу переменил свой облик. Центр Киева превратился в Шулявку, а окраины его с ушедшими в землю домишками, с заросшими подсолнухами дворами, с кучами немытых ребятишек, валяющихся на улицах, с тучами мух и пыли, стали похожи на какое то забытое местечко.

Однако, так же нет сомнения в том, что причина эта не главная. Ибо, при нормальных условиях жизни, новые киевляне, разумеется, сумели бы за четверть века, приобрести вид приличиствующий столичному Киеву. Но этого нет. Этого не было в Пскове, этого нет в Киеве, этого не будет и во всех других городах, которые мне придется посетить. Всюду будет одна и таже картина безнадежной человеческой бедности, в которую большевики ввергли в равной степени, как жителей городов, так и жителей деревень.

А главная причина этой нищеты заключается в той преступной нелепице, которая сошла на российские просторы с унылых страниц полного собрания сочинений Карла Маркса и получила название — «Планового социалистического хозяйства».

Когда человек умирает от какой нибудь сложной болезни, то причины его смерти интересуют, главным образом, медиков специалистов. Для прочих же окружающих важен не сложный ход болезни, а тот факт, что человек умирает.

Хозяйственная жизнь Советского Союза начала умирать после окончания НЭП'а (умирать, ибо то, что в этой области происходило после НЭП'а, больше похоже на судороги умирающего, чем на здоровое дыхание живого организма). Экономисты и социологи, вероятно, в свое время подробно разберут причины того сложного болезненного процесса, который привел на смертное ложе хозяйственную жизнь огромной страны. Их должно это интересовать, как специалистов.

Советские обыватели не экономисты и не социологи. Но проходя годами мимо пустующих магазинов, испытывая периодически недостаток продуктов питания и переживая перманентный голод в товарах широкого потребления, они понимали, что хозяйственная жизнь их страны смертельно больна.

Впрочем, болезнь эта не носит столь сложный характер для того, чтобы определение ее отложить до будущего консилиума ученых экономистов. Каждый советский обыватель может рассказать вам много о причинах и ходе этого болезненного процесса. И из суммы их рассказов не трудно вывести необходимые заключения. Эти заключения, с точки зрения ученых экономистов, быть может, будут недостаточно обоснованы теоретически, но зато у них будет несомненное преимущество в том, что родились они из практики и подобраны мною с горячих следов социалистического хозяйственного опыта.

«Плановое социалистическое хозяйство» (как и всякое государственное хозяйство) состоит из трех основных элементов. А именно: добывающей промышленности, промышленности обрабатывающей и распределения обработанных товаров (продуктов) среди населения. В социалистическом государстве, из этих трех элементов, только первый — добывающая промышленность — лежит в основном на плечах граждан. Об остальных двух — промышленности обрабатываю-

щей и распределения обработанного, взяло на себя заботу исключительно государство.

Как же справились со своей задачей обе обязанные стороны — граждане и государство?

Судя по советским официальным данным (газеты, отчеты, радио), граждане социалистического государства свои обязательства перед государством выполняют. И даже не выполняют, а перевыполняют. Ибо, эти отчеты неизменно пестрят сообщениями о том, что такие то и такие то коллективы советских граждан (колхозы, совхозы, рудники, шахты) перевыполнили свою программу на сто, двести, триста процентов!....

Таким образом, советские граждане могут со спокойной совестью сказать: — «ну, вот, мы добыли и даже «передобыли», а теперь, пожалуйста, обрабатывайте и распределяйте....«.

Но, вот, тут то и получается трагическая неувязка. Обрабатывать как будто и есть что, а вот распределять в итоге оказывается нечего. Государственные распределители (магазины, лавки, кооперативы), разбросанные по всей стране, либо вовсе пустовали, либо распределяли среди советских граждан такую дрянь (и за такую цену), какую в буржуазном государстве никто не взял бы и даром. Причем пожаловаться на недостаток промежуточного элемента , т.е. на недостаток средств промышленности обрабатывающей, никак нельзя. Строились новые фабрики и заводы. Расширялись старые. Денег на это тратилось много. А распределять все таки нечего. В чем же дело?

А дело, тут, вот в чем. Во - первых, не все добытое советскими гражданами шло в промышленность обрабатывающую. Значительная часть добытого вывозилась заграницу. Причем, вывозилось это не в порядке здорового международного товарообмена, а в порядке борьбы социалистического государства с миром капиталистическим.

Ежегодно, ежемесячно, ежедневно отплывают из советских портов пароходы, груженные народным добром. Уходит заграницу, зерно, лес, кожи, меха, уголь, хлопок, нефть. Уходит и продается там по ценам во много раз ниже утвержденных международной бир-

жей. Делается это для того, чтобы с одной стороны вызвать нездоровые колебания в экономической жизни капиталистических стран, создавая безработицу и забастовки, а с другой - чтобы быстро и просто добывать иностранную валюту, необходимую для расширения недовольства во всем мире и для кормления сотен нужных заграничных печатных органов и сотен тысяч международных марксистских дармоедов.

Но капиталистический мир велик и богат. И для того, чтобы он дал хоть временную трещину, много надо в эту трещину вогнать народного добра. Много надо вогнать: леса, зерна, мехов, угля, кожи и нефти. Много пота и слез миллионов советских тружеников. И социалистическое государство все это и вгоняет.

Разумеется, какая то часть вывозимого идет и в порядке нормального товарообмена. За иностранные машины надо платить своим сырьем. Это еще больше увеличивало процент экспорта.

Остающееся, добытое советскими гражданами, идет в промышленость обрабатывающую. А обрабатывает она из рук вон плохо. Советская промышленность выпускает на рынок, преимущественно дрянь.

Слова дрянь и дрянной можно, кажется, применить ко всему, что вырабатывается в социалистическом государстве. Это в равной степени относится и к гипсовым изваяниям вождей, и к стандартным костюмчикам, собирающимся в гармошку после первого дождя, и к патефонам, в которых баритон поет тенором, а тенор - сопрано, и к тракторам, к которым нет резервных частей, и к резервным частям, которые не подходят к тракторам, и к пуговицам, в которых забывают проделать отверстие для иглы, и к иглам, в которых не всегда бывает ушко для продевания нитки, и к ниткам, которые рвутся через каждые десять сантиметров, и к домам, и к пудре, и к трамвайным вагонам, и к чулкам.

Почему советская промышленность втечение всех пресловутых пятилеток, так и не научилась работать как следует?

Видимых причин тут две: отсутствие специалистов и партийное кумовство. Старые опытные специалисты

были постепенно уничтожены. Те из них, кто принадлежал к интеллигентным профессиям, — как элемент чуждый. А старые мастера, механики и техники, — как элемент несознательный (ибо большинство из них так и не осознало, что для занятий руководящих мест на заводе нужна не квалификация, а партийный билет). Новые же специалисты создавались не по признакам их способностей и трудолюбия, а по признакам незапятнанного пролетарского происхождения и безоговорочной верности заветам Октября. Все это создало непополнимую брешь в кадрах советской промышленности. Если же, вопреки всему, среди этих кадров попадаются способные и дельные люди, то их работа парализуется тысячами партийных паразитов, попадающих на командные посты в советской промышленности благодаря кумовству.

Ошибается тот, кто думает, что кумовство это болезнь буржуазных государств. Разумеется оно есть и там. Но там оно носит все же какой то семейный характер и процветает обычно в семейных масштабах. Там можно бездарного и ленивого молодого человека, пристроить на малозаметную должность на фабрику двоюродного дядюшки. Можно, наконец, такого молодца протиснуть и на какую нибудь синекуру в государственном аппарате. В архив, что ли или третьим секретарем в третьестепенном консульстве. Но в буржуазном государстве нельзя, ничего не смыслящего в этом деле тупицу, устроить директором фабрики Даже если эта фабрика принадлежит двоюродному дядюшке. Ибо владелец фабрики быстро поймет с кем имеет дело и выгонит в три шеи с этой должности не только своего племянника, но и родного сына.

В социалистическом государстве владельцев фабрик нет. Они все принадлежат государству. А государство принадлежит коммунистической партии. И кумовство процветает тут не в скромных семейных рамках, а в масштабах государственных.

По всей стране, в мягких вагонах первого класса, едут в различных направлениях непроходимые тупицы с партийными билетами, аттестатами верности вождям и солидными связями вокруг Кремля. Они едут

с тем, чтобы, по назначению партии, принять директорскую должность в тресте или фабрике. В Киеве, Казани, Челябинске, Баку. Партийный стаж у них огромный, профессионального — никакого. Несколько месяцев сидит такой партийный племянник в качестве директора треста или фабрики. Сидит и несколько лет. Сидит до тех пор, пока в соответствующем комиссариате не выяснится, что он ровно ни черта не смыслит в порученном ему деле и еще более разваливает и без того шаткое социалистическое хозяйство. А когда заметят, то не гонят в шею (партийный стаж, связи, охранные грамоты вождей), а «перебрасывают на другой сектор работы». Последнее, в переводе на русский язык, означает, что его назначают директором другого треста (фабрики). Причем, ввиду того, что пострадавший комиссариат старается сплавить его другому комиссариату, то смещенная партийная бездарь получает, обычно, новый директорский пост в «секторе», который не имеет ничего общего с его прежней полезной деятельностью.

В Киеве мне приводили десятки примеров такого безшабашного партийного кумовства. Здесь одно время директорствовал некий партийный племянник, который, втечение менее чем двух лет, перебывал последовательно директором: судостроительного завода, кондитерской фабрики, фабрики патефонных пластинок и треста резиновых изделий.

Однако, и нехватка специалистов, и партийное кумовство, это лишь видимые причины. За ними кроется та невидимая, но главная причина, которая превратила русские города в серые кладбища, дома в первобытные пещеры, а советских граждан в толпу нищих, которых уже на первом этапе социалистической эры заставляют носить штаны из бумажной дряни, стоять в очередях за продуктами питания и употреблять незажигающиеся спички. А кто может поручиться, что в конце этой эры им не придется носить на себе звериные шкуры, добывать пропитание охотой, а огонь получать трением двух кусков дерева?

Эта невидимая причина, как и в жилищном вопросе, заключается в том, что в социалистической про-

мышленности отсутствуют основные гаранты продуктивности труда и доброкачественности изделий. А именно: собственник и конкуренция.

Если в буржуазном государстве, какая нибудь фабрика станет изготовлять дрянные предметы, то их не будет брать для продажи ни один магазин, ибо другие фабрики поставят ему лучшие изделия. И эта дрянная фабрика должна будет закрыться. Хозяин ее прогорит и за свою скверную работу будет наказан банкротством. Если он окажется человеком с хорошими нервами, то он еще сможет поступить рабочим к конкуренту и поучиться у него. Если же у него нервы окажутся плохими, то он может пустить себе пулю в лоб.

Директора советских фабрик, выпускающих дрянь, не поступают никуда рабочими и не пускают себе пули в лоб. Они спокойно живут, производят на свет всякую гадость и получают ордена. Они не прогорают и фабрики их не закрываются. Они могут спокойно производить свою дрянь. Магазины не откажутся ее принимать для продажи, ибо они обязаны ее продавать. А кроме того, ведь все равно лучшего получить не откуда.

Отсутствие собственника и конкуренции, сказывающееся таким печальным образом на социалистической промышленности, в равной степени сказывается и на третьей стадии планового хозяйства, — на распределении товаров или, другими словами, на социалистической торговле.

Если в буржуазном государстве, фабрика производящая недоброкачественные товары осуждена на гибель, то на такую же гибель осужден и тот магазин, который решится торговать дрянью. В этом магазине просто перестанут покупать. А будут ходить в соседний, где товары лучше. И хозяин первого магазина расшибется в лепешку, но поставит, в результате, дело как следует.

Советским государственным чиновникам, сидящим в распределителях социалистических товаров, расшибаться в лепешку не надо. Они спокойно торгуют получаемой из трестов дрянью и знают, что поку-

пать у них все равно будут, ибо товар везде одинаковый и везде одинаково дрянной. А если покупать у них не будут, то и горя, собственно говоря, мало. Меньше будет работы. А жалованье свое они все равно получат. И торговля шла.

Однако, перманентная нехватка то одного, то другого товара, заложила в социалистическую торговлю совершенно новые принципы коммерции. Принципы эти настолько оригинальны и поучительны, что мимо них нельзя пройти равнодушно. А заключаются они вот в чем.

Некто Икс заведывает магазином текстиля, а некто Игрек — магазином обуви. На магазинах месяцами висят скучные таблички: — «текстиля нет», «обуви нет«. Привыкшие к этому, советские граждане ходят уныло мимо пустых магазинов. Вдруг прибывают партии, и текстиля и обуви. Терпеливые покупатели выстраиваются в длинные очереди. Выстраиваются еще с вечера и стоят всю ночь. Утром начинается продажа. Цены на товары — утвержденные. Они не дешевы, но завмагу на них не разжиться. Какой же смысл продавать товар по этим ценам? Надо их увеличить.... Но, как это сделать? Очень просто; — завмаг продает только часть полученного товара, а затем вывешивает лаконическую табличку: — «товар распродан». Очередь расходится. Ночью, завмаг в сопровождении домочадцев, вооруженных тачками и тележками, прибывает на место преступления, грузит оставшийся товар и увозит его домой. А утром пускается слушок: — один приятель из Москвы, совсем случайно, привез партию экспортного товара, но, вы понимаете, цены немножко дороже, товар то ведь экспортный.....

Текстиль и обувь, по отрезу и по паре, таскают домочадцы завмага по городу и сбывают по двойной цене среди знакомых, в пивных и просто на базаре. У них охотно покупают. Это получило даже свой термин: — «купить налево».

Поставьте вместо текстиля и обуви: — часы, шляпы, зонтики, чемоданы и вы получите приблизительную картину торговой жизни в социалистиче-

ском государстве. На это можно, разумеется возразить, что это обыкновенное мошенничество и причем тут это самое государство? Да это — мошенничество, но это мошенничество породили те ненормальные условия , которые в экономической жизни страны создало — «плановое социалистическое хозяйство».

Быть может, разница между утвержденной ценой в магазине в день прибытия товара и ценой, которую требуют на другой день домочадцы завмага в пивных и на базаре, как раз, и есть та «прибавочная стоимость», которая не давала спать прародителю социалистического государства товарищу Карлу Марксу?..

Так это или не так, но, во всяком случае, бич черной биржи, опускающийся над буржуазными странами лишь в годы войн и оккупаций, спокойно хлещет граждан социалистического государства и в самые, что ни на есть, мирные годы очередных сталинских пятилеток.

Развал хозяйственной жизни страны, большевистские верхи пытаются объяснить всевозможными способами. Кто только, по их словам, не виноват в этом? Виноваты и вредители, и саботажники, и замаскировавшиеся враги народа, виновата и «болезнь роста», и «происки капиталистов», и «вполне понятные перебои в механизме индустриализации». Не виноваты только марксизм, убивший у двухсот миллионов людей всякий смысл труда и не виноваты меднолобые кремлевские начетчики, фанатически держащиеся за сухие параграфы марксова политико - экономического устава.

Все эти объяснения давно уже потеряли оттенок убедительности. Менее всего кажется убедительной последняя, пущенная сверху и ставшая весьма ходкой версия о том, что забота «партии и правительства» о военной индустрии, необходимой для отражения врага, оттеснила другие отрасли промышленности на второй план. Каждый советский обыватель теперь прекрасно знает, что с военной индустрией дело обстояло не лучше. Советской авиации (очень дорого стоившей советским гражданам) не хватило и на пер-

вый месяц войны, а потребность в английских и американских танках, сказалась уже на исходе первых трех месяцев. Советскую индустрию пришлось уже в дни войны создавать самому русскому народу. И он создал ее ценой неслыханных лишений и нечеловеческого труда.

Десятилетиями советская страна жила отгороженной от остального мира непроницаемой стеной. И когда свежий человек, впервые, попадает сюда, то его прежде всего поражает — нищета. Нищета городов, сел и деревень. Нищета улиц, домов и квартир. Нищета людей, ходящих по улицам и населяющих эти квартиры, дома, деревни и города. Жуткая, ни с чем несравнимая нищета. Это первое впечатление постороннего наблюдателя и первый итог марксистского опыта.

Однако, сторона эта — внешнего порядка. А есть стороны и внутреннего свойства. И они носят характер еще более печальный. Но о них будет речь в следующей главе.

Торговая жизнь в оккупированном Киеве замерла еще больше. Кроме продуктовых лавок, выдающих скудный паек, по всему городу разбросаны комиссионные магазины, эти вечные спутники всех потрясений. Вот один из них. Входите в дверь: — справа висит полное облачение архиерея, слева — кавказская бурка. На стенах картины. Есть тут и Серов, и Клевер, и Поленов. Современный портрет Павла Первого и несколько замечательных старинных миниатюр. Под стеклом прилавка: петровские рубли, севрские тарелочки, табакерки екатерининских времен, часы Павла Буре, медали трехсотлетия дома Романовых.

Еще интереснее книжный отдел. Тут можно найти почти все изданное в России со времен первопечатника Федорова и до наших дней. Есть тут даже рукописные книги начала семнадцатого века и роскошные издания Гослитиздата, никому неведомых казахских поэтов, прославляющих «великого батыря», т.е. Сталина. Поэтов, наверно, бездарных, но с хорошими русскими переводами, сделанными талантливыми рус-

скими людьми, то ли из страха концлагеря, то ли за путевку в Крым.

Киевлян не интересуют, ни рукописные уникумы, ни юмористические былины о «великом батыре». Каждую минуту забегает кто нибудь в магазин и спрашивает — нет ли новой книги из заграницы?! И, если таковая есть, то она выхватывается немедленно и за любую цену. Разницы между автором не делается никакой, главное, чтобы книга была издана заграницей. Неважно, — роман или сборник рассказов. Проза или стихи. Бунин или Иванов, Мережковский или Петров. Хватается судорожно все, но особенно —романы Краснова и мемуарная литература. Сазонов, Коковцев, Деникин, Врангель, — если проникают одним — двумя экземплярами, сразу же исчезают с книжной полки и месяцами переходят из рук в руки. Один мой знакомый киевлянин был записан сто тридцать седьмым по очереди на роман Краснова «От двуглавого орла к красному знамени». Советский обыватель, десятилетиями получавший о прошлом и настоящем одну и ту же высочайше утвержденную лживую жвачку, мучительно хочет узнать правду о пережитом и переживаемом. Это особенно относится к молодому советскому поколению, которое не оставила, присущая русской молодежи, любознательность и искание какой то своей правды.

Товар, выставленный на полках в комиссионных магазинах, говорит еще раз о том, что в советскую эпоху, выделываются только недоброкачественные вещи. Как известно, владельцы комиссионных магазинов всех времен и народов, принимают на продажу лишь вещи имеющие какую либо ценность. В киевских комиссионных магазинах, кроме былин «о великом батыре», (представляющих собой, разумеется, относительную ценность), нет ни одной вещи советского производства. Все выставленное там, от петровских рублей и до часов Павла Буре, относится к эпохе, известной в СССР под названием «эпохи проклятого царизма». Материальными ценностями этой эпохи, уже четверть века торгует советская власть. Эти ценности, захваченные в музеях и частных коллекциях,

отобранные у мертвых и живых советских граждан, годами вывозились заграницу и распродавались на аукционах в Нью Иорке, Лондоне, Берлине, Париже. За эти годы в руки иностранцев перешло такое количество русского золота, серебра, драгоценных камней, фарфора, картин, мебели, ковров и прочего, что казалось, будто, все миллиардное наследие минувшей эпохи, распродано до последней булавки.

Однако, эпоха эта оказалась еще более живучей и богатой, чем это можно было думать. И в годы военной разрухи, в комиссионные магазины на всей оккупированной территории, снова понесли какие то прадедушкины запонки, прабабушкины серьги, миниатюры конца восемнадцатого столетия и доброкачественные часы начала двадцатого века. Понесли жалкие крохи богатейшей эпохи, еще не отобранные у нищих советских обывателей. Эти крохи спасали многих из них в мирное время, ибо их можно было обменивать в «Торгсине» на муку и консервы. Эти же крохи спасают многих от голода и в годы немецкой оккупации.

Впрочем, только ли материальными ценностями, оставшимися от «проклятого царизма», торгует оптом и в розницу советская власть? Иногда кажется, что вся советская страна это какой то огромный всесоюзный комиссионный магазин, в котором торгуют не только материальными ценностями, оставшимися от «проклятого царизма», но добазаривают и духовное наследство минувшей эпохи. Знатных иностранных гостей, тут все еще водят в Художественный театр или на «Ивана Сусанина» в Оперу, в Третьяковскую галлерею или «Эрмитаж», на заграничные съезды ученых посылают одних и тех же, оставшихся в наследство от прошлого, крупных профессоров, а советские библиотекари с удивлением замечают, что зачитанные книги Гоголя, Толстого, Достоевского, или, даже Лескова, Мельникова - Печерского, Данилевского, бывают неизменно разобраны до последнего экземпляра, а свежие томики новейших изданий современных авторов, стоят обычно непочатыми девственными колонками.

Причиной этому то, что в советской стране с духовными ценностями, как и с материальными, дело обстоит весьма неблагополучно. Как материальные ценности, так и духовные, создаются здесь в количестве недостаточном и отличаются крайней недоброкачественностью. Во всяком случае, за четверть века советской эпохи, их создано и меньше и неизмеримо худшего качества, нежели за любые двадцать пять лет со дня рождения Пушкина и до октябрьского переворота. Небывалый расцвет духовной жизни русского народа, характеризовавший собой, последнее столетие эпохи «проклятого царизма», бессильно оборвался на октябре 1917 г. Советская эпоха не дала русской культуре ни Менделеева, ни Толстого, ни Мусоргского, ни Репина, ни Шаляпина.

Поисходит это, вероятно, не потому, что русский народ стал менее талантлив, а потому что, в условиях марксистского государства, каждый талант имеет право развиваться лишь по схемам, выработанным для него в удушливых лабораториях диалектического материализма.

А до сих пор, на нашей планете, еще ни один талант (а особенно русский), не развивался по заранее заготовленным схемам. Тем более, по схемам порядка материалистического.

XII

КИЕВСКАЯ СТАРИНА. СОВЕТСКОЕ НАСЛЕДСТВО. К ФИЗИЧЕСКОМУ И МОРАЛЬНОМУ НУЛЮ.

Недаром народная молва подарила Киеву почетное имя — «матери городов русских». Как, в каждой семье, мать является хранительницей и носительницей семейных преданий и традиций, так и Киев, в большой семье русского народа, был носителем и хранителем его семейной старины. И старина эта, в первую очередь, заключалась в тех безценных памятниках православия и народного зодчества, которые были щедро разбросаны по всему Киеву, этой первой колыбели христианства на Руси.

Много раз, втечение своей многовековой истории, подвергались киевские святыни надругательствам и разрушениям. Многие из них помнили и набеги половцев и всеразрушающий ураган Батыева нашествия. Однако, ни половцы, ни татары Батыя, не нанесли киевской старине того опустошения, которое нанесла ей всесоюзная коммунистическая партия большевиков.

Если посмотреть из окна моей комнаты в сторону Днепра, то вдали виднеются грациозные очертания Андреевского собора, а если перейти на другую сторону квартиры, то совсем близко видны купола Со-

фиевского собора и совсем далеко можно различить темную массу собора Св. Владимира. Эти три храма — это все, что осталось от доброй сотни ценнейших памятников киевской старины и русского православия.

Судя по тому, с каким ожесточением, систематичностью, а главное безцельностью, разрушались большевиками исторические и православные святыни Киева, можно с уверенностью сказать, что уничтожение это вызывалось не насущными потребностями городского строительства, а обдуманным и планомерным «выкорчевыванием» у людей самого страшного для их современных владык — памяти о великом прошлом великого народа.

Говорит это еще и о другом. Это говорит о том ненациональном духе октябрьской революции, которым она отличалась и с которым никогда не примирится ни один национально мыслящий русский человек.

Французская революция не отличалась особой сантиментальностью по отношению к религии. Однако, ни членам Конвента, ни парижским коммунарам, не пришла в голову мысль снести собор Парижской Богоматери или другую ценную историческую церковь, ибо, те и другие были французы. Октябрьскую же революцию, от начала и до наших дней, возглавляют темные проходимцы, которые не имеют никаких жизненных корней в толще русского народа.

Прогулка по тем местам, где когда то, были святыни киевской старины, много тяжелее, нежели прогулка просто по городу.

Кто из киевлян не знал Михайловского монастыря? Если от Софиевской площади идти на Владимирскую горку, то вы пройдете мимо большого разрытого места, с едва видными остатками фундамента. Это все, что осталось ныне от исторического Михайловского монастыря. Это место похоже на воронки от попадания нескольких сверхтяжелых снарядов. Ночью без фонаря здесь пройти нельзя. Вы сломаете ногу или свернете шею. Что это следы войны? Нет, это следы одного из постановлений киевского горсовета.

Михайловский монастырь был снесен большеви-

ками в 1934 году. На его месте, якобы, должно было быть выстроено правительственное здание. Можно, конечно, спорить о том, что важнее — старинный монастырь или правительственное здание. Хотя земля наша настолько велика и обильна, что на ней нашлось бы место и для того, и для другого. Но дело в том, что здания этого так и не построили. Со дня снесения монастыря и до начала войны прошло целых семь лет. И все эти годы на месте снесенного монастыря, находились опасные для жизни прохожих воронки. Вряд ли, найдется такой упрямый человек, который стал бы спорить о том, что важнее: — исторический монастырь или ямы посреди города.

Быть может, с Михайловским монастырем, произошла какая то непонятная неувязка? Быть может это исключительный случай, к которому не стоит придираться? Ничего подобного.... Над Днепром, на красивейшем месте, называемом Перунов горб, стояла историческая Трехсвятительская церковь. Она тоже давно снесена. И на ее месте тоже безобразные ямы и воронки. Тоже неувязка? Случай? Но такова же судьба и стариннейшей Успенской церкви на Подоле — ровесницы «Слова о полку Игореве», такова же судьба Братского монастыря на Подоле, Никольского монастыря, собора Большого Николая на Печерске, знаменитейшей Десятинной церкви, Флоровского монастыря и десятков других православных киевских святынь.

Это уже перестает быть случаем. Это — система.

Грустную картину представляет собой и главная киевская святыня — Киево - Печерская Лавра. Центральное здание ее — Успенский собор — взорван большевиками при отступлении. Остальные корпуса ее сохранились. В них помещался «Музей деятелей науки и искусства». Музей этот оригинален. В первой комнате его, еще были кое какие экспонаты, имеющие отношение к науке и искусству, но уже со второй комнаты начинался безболезненный переход к неизвестным доселе корифеям, как науки, так и искусства. Сначала появлялись портреты Ленина и Сталина, а затем постепенно наростая и заполняя со-

бой все видимое глазу пространство, высились кипы сочинений, картины, литографии, монографии, фотокопии и прочие экспонаты, рисующие зрителям пеструю жизнь и деятельность этих восхитительных жрецов науки и искусства.

Впрочем, эти экспонаты действуют неубедительно. О их жизни и «творчестве», гораздо убедительнее говорят другие экспонаты, которые мне довелось увидеть в Киеве. Это — Андреевский и Софиевский соборы. Первый, за много лет до войны, был просто заколочен. Второй — превращен в антирелигиозный музей. Уже во время войны, оба эти храма, за недостатком мест в тюрьмах, были обращены в тюрьмы для политических. После отступления большевиков из Киева, в обоих храмах были обнаружены горы трупов расстрелянных и замученных людей. В Софиевском соборе, некоторые из них были распяты и при биты гвоздями к стенке. О последнем обстоятельстве даже, как то, не хочется упоминать. Слишком оно напоминает «классические зверства» большевиков, как будто взятые из книг о временах революции. Но я это почерпнул не из книг. Мне это рассказывали киев лянки, которые своими собственными руками снимали со стен тела своих близких. Среди последних было и несколько киевских профессоров. Жаль, что изуродованные тела этих ученых нельзя перенести в «Музей деятелей науки и искусства» в Киево - Печерской Лавре и поместить их там рядом с портретами Ленина и Сталина. Это были бы единственные правдивые и показательные экспонаты этого музея.

С 1934 года в столичном Киеве не было ни одной открытой церкви. Лишь в одной часовенке, на Байковом кладбище, иногда совершались богослужения. За неимением священника, их совершал старенький дьякон. Его несколько раз вызывали в горком и говорили: — «довольно дурака валять». Но дьякон возвращался опять на кладбище и продолжал свое. Потом он исчез. Имя этого дьякона следовало бы со временем отыскать. И, когда пройдут канонические сроки, причислить его к лику святых. Он это, несомненно, заслужил

Спустя четыре года, на нюрнбергском процессе, так называемых, главных преступников войны, представитель советского обвинения товарищ Руденко скажет, что немцы, в оккупированой зоне России, разрушили 1670 православных церквей. Произнеся эти слова товарищ Руденко сделает то, что не смеет делать ни один прокурор мира. Он — солжет. И ложь эта, казалось бы, совсем была не нужна, ибо немцы на оккупированной русской территории совершили достаточно ничем неоправданных преступлений для того, чтобы им приписать еще одно, ими несовершенное.

Нет сомнения в том, что на оккупированной немцами территории, когда то и было 1670 церквей. Вероятно, их было даже больше. Но разрушены они были не немцами, а советской властью. Те же несколько десятков церквей, которые еще уцелели на этой территории, давно перестали быть церквами, а были превращены большевиками в антирелигиозные музеи, комсомольские клубы и избы-читальни. Во время немецкой оккупации все эти церкви были открыты для верующих.

Эту поправку я делаю не из благородного негодования по поводу поклепа возведенного на немцев. Слова недобросовестного советского прокурора, добросовестно перепечатали все газеты мира. И на основании напечатанного в газетах, может возникнуть историческая ошибка полезная советской власти. Мною же руководит искреннее желание, чтобы ошибок такого рода было бы возможно меньше.

В Киеве советская власть жестоко расправилась не только с православными святынями. И, просто, исторические памятники города постигла таже безрадостная судьба. Снесен стариннейший фонтан, носивший имя — «Самсон», срыт, так называемый, «Ирининский памятник«.

Впрочем, это памятники второстепенного значения.

А вот «Аскольдова могила» неотделима от Киева, как и Киев неотделим от нее. Раньше вокруг «Аскольдовой могилы» было красиво разбитое кладбище. Над самой могилой возвышалось белое строение изящ

ной архитектуры. Получасовня, полунадгробный памятник. Сюда часто приходили киевляне, приносили цветы и проводили час — другой в солнечно - зеленой тиши, так хорошо отвечающей этому месту. Большевики «ликвидировали» кладбище. Могилы были разрыты, сравнены с землей и на их месте были сделаны дорожки для гуляющих. Ну, что ж, может это и не так плохо. В конце концов, живым надо отдавать предпочтение перед мертвыми. Но на этом не остановились. Чтобы гуляющие не скучали, тут же была устроена площадка для танцев. По выходным дням — оркестр - джаз. Танцующим же, как известно, приятно иногда освежиться пивом или нарзаном. Для этого нужен кабачек или, по меньшей мере, киоск. Но зачем же его строить, если тут же под боком, стоит никому ненужная утиль - часовенка? И вот в часовенке на Аскольдовой могиле, сохраняя ее прежнюю колонадную архитектуру, пробиваются широкие окна, тащится стойка с насосными приспособлениями и.... пожалуйте, граждане, кому жигулевского, кому нарзана?... Товарищ Яша, где же ваш джаз- А, ну, давайте «У самовара».....

Что это, отсутствие ненужных предрассудков? Отрицание условностей?? Проповедь материализма под звуки джаза? Нет, — в мавзолее Ленина танцевать не разрешается. Нарзан и пиво там тоже не продаются. Джаз не исполняет на бис «У самовара»....

Значит условности все таки имеются? Места, которые надо уважать есть? Разумеется -есть. В Советском Союзе надо уважать все то, что имеет прямое отношение к советской власти. Разъеденный сифилисом труп Ильича, постановления ЦК ВКП(б) и, конечно, — НКВД. А вся тысячелетняя история страны и народа это пустая условность и вредный предрассудок. А, поэтому, граждане, — кому жигулевского, кому нарзана? Семячки сплевывайте здесь, прямо на товарища Аскольда! Товарищ Яша, где же вы? А, ну, давайте жизни.....

На Владимирской горке, попрежнему, стоит памятник Св. Владимиру. Каким чудом он уцелел? Говорят, несколько раз выносилось решение снести и его, но

каждый раз удавалось этот памятник отстоять. В административном аппарате Киева, были все же люди, которые, примирившись со всеми другими разрушениями, имели мужество отстаивать статую покровителя города.

Св. Владимир, стоящий над высоким обрывом у Днепра — не старина. Ему нет и ста лет. На цоколе памятника высечена дата — 1853. Но эта статуя олицетворяет собою Киев. До революции, большой крест, в руке Св. Владимира, был весь в электрических лампочках и, с проходивших ночью днепровских пароходов, пассажиры, за много верст, видели огненный крест в его руке. Этим светящимся крестом он, как бы, ограждал свой город от всех бед и напастей. Существовало поверие, что когда крест этот погаснет, то Киев постигнет несчастье. Поверие это сбылось. В 1917 году, крест в руке Св. Владимира — погас и его город был предан невиданному еще физическому и духовному погрому. Теперь родилось новое поверие,— когда снова зажжется этот крест, тогда и Киев возродится к новой жизни. Суеверные люди терпеливо ждут этого дня. Ждут уже двадцать пять лет.

В первый год войны многие киевляне переменили свои квартиры. На стенах разрушенных домов в центре города находится своеобразный адресный стол. Стены этих домов испещрены надписями, разъясняющими кого и где, из живших тут, следует искать. Такие адресные столы появятся скоро во многих городах Европы.

Однако, уже имея адрес, найти нужного киевлянина не так просто. Номера домов находятся в хаотическом состоянии. А найдя нужный дом, надо еще помучиться, чтобы отыскать нужную квартиру. Иногда бывает так, что на первом этаже находятся квартиры с большими номерами, уменьшающимися по мере того, как вы поднимаетесь по лестнице. Иногда — наоборот. А то бывает и так: 9-я, 11-я и 12-я квартиры находятся на одном этаже, а 10-я на другом.

На дверях квартир имена жильцов. Звонки почти везде не действуют годами. Поэтому надписи: таким

то стучать — три раза, таким то — пять. Когда вы постучите, вам никогда не откроют дверь сразу. Сначала раздастся вопрос: — кто? Для человека, выросшего в Европе, это звучит странно и необычно. «Кто? — это тоже порождение советской эпохи. Этот вопрос, на случай страшного ответа — «проверка паспортов» (означающего приход энкаведистов для производства ареста), давал еще несколько секунд для перенесения пакетика с ценностями соседям и дачи последних указаний родным и домашним.

Один мой приятель киевлянин, у которого я бываю ежедневно и ежедневно смеюсь над этим «кто?», — уверяет меня, что он идя к двери и зная, что стучу именно я, дает себе слово не задавать этого привычного вопроса, но затем этот вопрос вылетает сам собой.

На успокоительный ответ начинают открывать дверь. Начинают, — ибо просто открыть дверь в киевской квартире невозможно. Двери снабжены целой системой замков, засовов и цепочек. Закрытая дверь киевской квартиры напоминает мне внутреннюю часть люка подводной лодки, перед ее погружением в воду. Это тоже наследие большевизма. Но это предназначалось не для агентов НКВД. Тут имелись ввиду грабители. Впрочем, оба эти понятия были тесно связаны одно с другим.

Если нищета является первым признаком внешнего порядка, знаменующим собой советскую эпоху, то ее первым признаком внутреннего свойства является — страх. Страх, как и нищету, обильно сеяла советская власть на неизмеримых пространствах огромной страны и лишь немногие, тесно связанные с существующим строем, были избавлены от необходимости близкого знакомства с этими верными спутниками большевизма. Вечный страх за свою жизнь, вечный страх за жизнь своих близких, вечная боязнь сказать лишнее слово и, порожденное страхом, вечное недоверие ко всем и ко всему, вот что угнетающим чувством непрестанно витало над советской страной и будет витать на ней до тех пор, пока она будет называться — советской.

В двенадцать часов дня, на углу двух оживленнейших киевских улиц, один знакомый рассказывает мне свою историю: — «знаете, я не имел права на работу, потому, что мой отец был.....».

При этом он оглядывается по сторонам и, понижая голос до шепота, заканчивает: — «священник.....».

Потом мы долго смеемся над этим инстинктивным шепотом. А смеяться, строго говоря, нечему. Надо было бы плакать. Ибо, какой же моральный ужас надо было пережить для того, чтобы и сейчас, во время оккупации, когда он прекрасно знает, что никому нет никакого дела до того, кто был его отец, когда он знает, что его даже никто не может услышать, произнести слово «священник», тем испуганным шепотом, с оттенком стыда, каким наверно говорят дети палачей, когда называют профессию своего отца.

Впрочем, это еще не показательный пример. Советские люди расскажут вам, как им приходилось бояться своих родственников, мужа, жену, а часто и собственных детей.

Страх, сковывающий жизнь миллионов советских людей, разумеется, не появился сам собой. Это не пережиток кровавых лет военного коммунизма. Нет, — в продолжении всей советской эпохи, этот страх поддерживался и поддерживается, неслыханной еще в истории человечества, системой террора.

Когда человек, выросший в Европе слушает рассказы советских людей о чудовищном моральном гнете, под которым им приходилось жить десятилетиями, то ему все это кажется каким то кошмарным бредом, не укладывающимся ни в какие рамки человеческого воображения. Однако, слушать подобные рассказы приходится так часто и повествуются они таким обыкновенным тоном, что становится ясным, что кошмарная чудовищность этой жизни, здесь, давно стала привычным и никого не удивляющим бытом.

Дама, живущая в той же квартире, где остановился я, рассказала мне свою историю. Ее муж был преподавателем в киевском Сельско — Хозяйственном Институте. Беспартийный. Политикой не интересовался. Считался не плохим специалистом. Его арестовали

ночью на квартире. Увезли. Это случилось в 1937 году. С тех пор прошло четыре года. И все эти годы жена так и не узнала за что арестовали ее мужа, где он находится, жив ли он или нет, вернется когда нибудь или никогда не вернется? Она не знает даже того кто же она теперь: — вдова или замужняя женщина? В первые недели после ареста, она обегала все отделения НКВД. добиваясь хоть что нибудь узнать о своем муже. Она писала отчаянные письма в Москву. Писала Калинину, Ежову, Сталину. В отделениях НКВД пожимали плечами и просили не задерживаться «без дела». Из Москвы ответов не было. А месяца через два после ареста мужа, пришли снова к ней и объявили, что она — «репрессированная». В переводе на русский язык, это означало, что у нее отобрали все более - менее ценные вещи, сына исключили из школы, оба они были лишены права на работу и права проживания в городах. С тех пор и до начала войны, она с сыном жила в какой то провинциальной дыре у дальних родственников, подрабатывая на дому, какие то гроши на жалкое прозябание.

Случай с этой дамой, отнюдь, не является уникумом. В одном Киеве я слышал десятки подобных историй. Сотни их я услышу в других городах. Эти случаи никак нельзя отнести за счет рассеянности советских органов власти, «забывающих» сообщить причину ареста, предъявить обвинение и вынести дело на решение соответствующего суда. Это —система, принятая в советском государстве. Причина ареста, обвинение и суд, это никому ненужная волокита. Это безрассудная потеря времени в ускоренном темпе сталинских пятилеток. Наконец, это просто «буржуазные предрассудки».

Впрочем, аппарат советского правосудия все же существует. Тут тоже иногда сообщают причину ареста, обвиняют и судят. Касается это, главным образом, уголовных нарушителей закона. Таким образом, в советском государстве только воры, грабители и убийцы пользуются покровительством законов и параграфов конституции. Все остальные граждане находятся вне закона. Или, вернее, они подчинены тому не-

преложному закону, который советское государство позаимствовало непосредственно от каменного века. А именно: — закону сильного. А сильным здесь является только коммунистическая партия. То есть, советская власть. И если она не считает нужным сообщить вам в чем вы обвиняетесь, то ни вы, ни ваши родные никогда не узнают за какую вину эта власть наложила на вас свою тяжелую руку.

А кроме того, для того чтобы попасть под жернов государственной машины насилия, вам совсем не нужно иметь какую либо вину.

Что знали, например, в Европе о товарище Френкеле и его удивительном изобретении? Ничего. Очень немногие знали о нем и в самом Советском Союзе. Один из этих немногих, мой знакомый москвич, в качестве стенографа, близко сталкивавшийся с работой изобретательного товарища Френкеля, поведал мне эту чудовищную историю.

В годы НЭП'а ничем не замечательный советский гражданин, по фамилии Френкель, был обыкновенным спекулянтом. Сначала мелким, потом, крупным. На одном из крупных дел он попался и получил два года ссылки, которую отбывал в одном из лагерей на Далеком Севере. Предприимчивый мозг гражданина Френкеля продолжал работать и под северными широтами. И, обладатель этого мозга, скоро установил, что сотни тысяч рабочих рук ссыльных употребляются советским правительством совершенно непроизводительно. В эту младенческую эпоху концлагерей, ссыльные были заняты, главным образом, рубкой леса, который из за недостатка транспорта обычно, тут же, на месте и загнивал. Таким образом, каторжный труд ссыльных не приносил советской власти никакой существенной пользы. А кормить, хоть и плохо, ссыльных все же надо было. Другими словами, коммерсанту товарищу Френкелю стало ясным, что тогдашние концлагери, для советской власти, были предприятием — убыточным. И тогда ему пришла в голову гениальная мысль: — превратить труд ссыльных из убыточного в прибыльный. И не только в прибыльный, а еще и в такой, который бы увековечил в па-

мяти потомства не только советскую власть, но и ее отдельных представителей.

Решение этого вопроса было очень простое. Ограничить рубку леса лишь, действительно нужными масштабами, а всю остальную массу бесплатных рабочих рук употребить на постройку дорог, мостов, железнодорожных магистралей и прорытие грандиозных каналов, которые бы носили имена заслуженных деятелей советской эпохи.

Подробно и толково составленный план, о невиданном еще на территории России рабстве, был кропотливо разработан товарищем Френкелем и передан по начальству. Этот план был по достоинству оценен высшими инстанциями в Москве. Товарищ Френкель раньше срока возвратился из ссылки и был назначен руководителем «первого трудового лагеря НКВД», который был употреблен на постройку нового железнодорожного пути на Далеком Севере.

Первый опыт удался блестяще. Двадцать тысяч человек, работая по шестнадцати часов в сутки и получая за свою работу лишь два раза в день горячую похлебку, построили за короткий срок новую железнодорожную линию. Расход для советской казны, был минимален — похлебка. Доход огромный — железнодорожная ветка. То обстоятельство, что в ходе этой стройки около половины рабочих умерли от недоедания и переутомления, тоже устраивало советскую власть, ибо эти люди, в большинстве — «враги народа», были так или иначе осуждены на смерть. Если прибавить к этому еще то, что новая железнодорожная ветка получила имя, кажется Кирова, то нет ничего удивительного в том, что карьера товарища Френкеля была обеспечена. Вскоре он стал официально начальником всех трудовых лагерей НКВД, а уже в дни войны в советских газетах промелькнуло сообщение о присвоении ему чина генерала войск НКВД, с назначением одним из заместителей наркомвнудела.

Рабочие лагери разростались и дело затеянное Френкелем стало принимать огромные, так сказать, всесоюзные масштабы. «Сталинский курс» во внут-

ренней политике приносил товарищу Френкелю ежедневно новые тысячи бесплатных рабочих рук. Лишь одни годы коллективизации дали, по приблизительным подсчетам, около трех миллионов здоровых, крепких, необыкновенно трудоспособных, раскулаченных и сосланных деревенских кулаков.

Неудивительно, что и характер работ трудовых лагерей НКВД принял со временем новые масштабы. Давно была забыта игрушечная железнодорожная ветка на Дальнем Севере. «Беломорский канал», «канал Москва - Волга«, «Турксиб» и десятки других каналов, магистралей, фабрик и заводов, вписывал в приход советской власти изобретательный товарищ Френкель. Как мухи, гибли сотни тысяч и миллионы русских людей, интеллигентов, крестьян, рабочих, казаков и новые гигантские стройки украшались именами: Сталина, Молотова, Кагановича и других советских сановников. В пресловутых сталинских пятилетках, внушительное место заняли «достижения рабочих лагерей НКВД». Бессовестные люди из редакций советских газет, захлебываясь от подхалимского восторга, кричали о «новом трудовом подъеме советских масс» и новые груды русских костей усеивали путь новых сталинских пятилеток.

Однако, и «сталинский курс» не всегда обеспечивал предприятие товарища Френкеля нужным количеством рабочих рук. Условия работы в его лагерях были прежние. Шестнадцать часов в сутки и две похлебки. При этом положении смерть работала иногда быстрее, чем «сталинский курс» и у товарища Френкеля, временами, получались перебои. Новое задание пятилетки требует на определенный сектор еще сто тысяч рабочих, а у него их нет.

И вот тогда товарищу Френкелю (а может быть, на этот раз, уже и не ему) пришла в голову новая гениальная мысль. А именно: — в случае нехватки рабочих рук, добытых «законным путем», добывать эти руки «путем незаконным».

А последнее сводилось к следующему. Во всех городских и районных отделениях НКВД, на каждого гражданина СССР, имеется, так называемое, «личное

дело». В зависимости от характера этого «личного дела«, граждане Советского Союза классифицируются на «весьма неблагонадежных», просто «неблагонадежных« и на «лойяльных». К последним, вероятно, принадлежат лишь сами органы НКВД и очень малая доля простых смертных. «Личные дела» огромного большинства советских граждан заведены в графе двух первых категорий.

И вот, когда товарищу Френкелю не хватает еще ста тысяч рабочих, то городские и районные отделения НКВД, облагаются своеобразной данью. Под предлогом очередной политической «чистки», они должны поставить трудовым лагерям столько то и столько то рабочих. Киев — 500, Казань — 300, Владивосток — 100 и так далее. Местные начальники НКВД, заглядывают в папки «личных дел» и отмечают имена «весьма неблагонадежных» или просто «неблагонадежных« граждан. В ту же ночь, их забирают. И пока их жены мечутся в смертельной тоске по отделениям НКВД, с мольбой сообщить хоть что нибудь о их мужьях, последние уже копают где то новый канал им. Жданова или закладывают фундамент нового танкового завода имени Ворошилова.

Если история трудовых лагерей НКВД и их изобретателя не известна широким кругам в СССР, то о своеобразном способе набора рабочей силы для этих лагерей, имеют представление и многие рядовые советские граждане. Поэтому сообщения о новой гигантской стройке вызывает в них не «радостный подъем», как это думают бессовестные сотрудники «Правды» и «Известий«, а мучительное ожидание новой «политической чистки». Несчастные, репрессированные киевские жены, рассказывавшие мне о судьбе своих мужей, со временем, разными путями, узнавали об их участи и по воду их будущего не имели никаких иллюзий. Они знали, что вопрос жизни или смерти их близких, зависит всецело от их физической возможности сочетать шестнадцать часов работы в сутки с двумя горячими похлебками.

Однако, если родным в подобных случаях не считалось необходимым сообщать, что либо о судьбе аре-

стованных, то последним все же старались создать какую то иллюзию их «преступления и наказания». Позже мне пришлось встретить одного харьковчанина, попавшего таким способом в трудовой лагерь НКВД из которого, в первые дни войны, он был брошен на фронт. Его рассказ восполнил пробелы в повествованиях репрессированных киевлянок. Ибо, если они могли лишь поведать о том, как ночью увели их близких, то он сам прошел и следующие стадии ночного ареста.

Судьба его и ему подобных, с небольшими вариациями, сводилась к следующему. Прямо из дому его привезли в тюрьму и там поставили в камеру. Не «посадили», а именно — «поставили«, ибо в небольшой камере, куда его привезли, стояли, тесно прижавшись друг к другу, больше ста людей, без возможности не только передвинуться, но даже повернуться на месте. В этом положении он провел больше суток. Затем его вызвали к следователю и последний предложил ему подписать бумагу, согласно которой он сознавался в том, что умышленно задерживал исполнение некоторых предписаний из центра, в целях содействия срыву пятилетнего плана. Разумеется, арестант отказался подписать эту нелепицу, ибо ничего подобного он не делал и по своему служебному положению даже не мог делать. Тогда его возвратили назад в камеру и снова втиснули в это живое месиво, где он простоял еще двое суток в удушающей атмосфере человеческих испарений, стонов и обмороков. Затем его вызвали снова и следователь вторично предложил ему подписать ту же бумагу, причем дружеским тоном намекнул, что «чистосердечное признание» повлечет за собой не более пяти лет ссылки, а дальнейшее запирательство может быть чревато «большими неприятностями». Он опять отказался подписать бумагу. Его снова вернули в камеру. На восьмой день «стояния», он понял, что борьба неравна. Он понял, что подписав бумагу и попав в трудовой лагерь, он может еще надеяться на какое то чудо, благодаря которому он останется в живых. В этой же камере никаких чудес не бывает. Здесь он может расчитывать только на смерть от разрыва сердца (подобные случаи он наблюдал за эти восемь дней) и весь вопрос сводит-

ся лишь к тому, сколько еще дней и ночей он сможет выдержать в этом апокалипсическом ужасе.

Придя к этому убеждению, он на восьмой день подписал бумагу. Следователь дружелюбно похлопал его по плечу и наставительно сказал, что «советская власть строга, но справедлива» и, что его «чистосердечное признание будет ему зачтено в дальнейшем». Через несколько дней он уже дробил камни на одной из уральских каменоломень.

Осенью 1941 года, ввиду сокращения стройки, вызванного войной, этот уральский рабочий лагерь был раскассирован и из него был выделен один из тех «штрафных батальонов», которые появились на фронте зимой первого года войны и обычно бросались советским командованием в самые гиблые места. Удивительно ли то, что и этот харьковчанин и другие, ему подобные, при первом же соприкосновении с противником, не только сразу же сдались в плен, но и высказали искреннее желание принять участие в войне против «строгой, но справедливой советской власти». Позже ему удалось осуществить это желание.

Я не знаю дальнейшей судьбы этого харьковчанина, но знаю, что некоторые из этих «штрафников», дравшихся на стороне германской армии, а позже сдавшиеся в плен англо - американцам, были последними выданы, на основании, ялтинского соглашения, советским властям, как «изменники родины и дезертиры». Многие из них, при выдаче, покончили самоубийством. Это в то время, когда немцы, бежавшие из нацистских концлагерей и принявшие участие в войне на стороне союзников, расценивались как герои. Трудно будет объяснить грядущим поколениям, какая разница была между гитлеровскими и сталинскими концлагерями и почему одни пленники, вырвавшиеся на свободу, оказывались героями, а другие — изменниками. Судьба часто иллюстрирует жизнь своих двуногих подданных отвратительными гримасами. Однако, трудно себе вообразить гримасу более жуткую.

Приведенная мною история этого харьковчанина, подтвердилась позднее десятками аналогичных примеров, приведенных устно и печатно десятками других

«штрафников», которым война позволила оказаться по другую сторону советского рубежа. И это позволяет говорить об этом не как об отдельном случае, а как о широко применяемой системе. Системе неслыханного издевательского насилия, построенной на всеобщем, явном и равном безправии советских граждан.

Когда узнаешь все это, тогда становится ясным почему советский гражданин, даже вне досягаемости советской власти, все еще продолжает разговаривать с оглядкой, понижая голос до шепота. Становятся понятными рассказы советских граждан о том, как ночью при звуке автомобильного мотора машины, остановившейся перед домом, весь дом замирал в ужасе и все мужские обитатели его, начинали быстро готовить узелки с необходимыми для тюрьмы вещами и как в квартире раздавался общий вздох облегчения, от шума топочущих сапог, миновавших этот этаж. Многое начинаешь понимать и по новому начинаешь ненавидеть отвратительную машину насилия, именуемую советской властью, держащую огромную страну под, ни на минуту не ослабевающим, гигантским прессом страха.

Миллионы ссыльных и миллионы репрессированных! Первые работают бесплатно в трудовых лагерях НКВД, вторые — бесправные парии, лишенные права на работу. Как неубедительно звучит после этого один из излюбленных козырей советской пропаганды, говорящий о наличии безработных в буржуазных странах и об отсутствии их в Советском Союзе. Да, в буржуазных странах бывают безработные. Но кто бы из них поменялся местами с рабом трудового лагеря НКВД или с лишенным права на работу репрессированным советским гражданином?....

Страх, обильно насаждаемый советской властью среди своих подданных, влечет за собой появление двух естественных и не менее гнусных отпрысков: низкопоклонства и наушничества. В условиях советской жизни оба эти явления расцвели в небывалых еще на земном шаре размерах. Не удовлетворяясь старыми определениями, они вырвались из тесных рамок привычного лексикона и обогатили русский язык но-

выми наименованиями. Первое стало называться — подхалимство. Второе — бдительность.

Первое, как не приносящее существенной пользы советской власти, официально осуждается и на эту тему разрешено помещать каррикатуры и фельетоны. Однако, одной рукой, якобы, борясь с подхалимством, другой рукой советская власть насаждает его самым бесстыдным образом. Так, например, в одном номере «Правды», попавшем мне как то в руки была помещена негодующая заметка о том, как какой то провинциальный горком, перестаравшийся в подхалимстве, переименовал улицу Гоголя в «улицу товарища Бондарчука», мелкого партийного сатрапа, назначенного секретарем этого горкома. Эта заметка была помещена на четвертой странице газеты. А на первой странице этого же номера имя Сталина было упомянуто 48 раз, со следующими прилагательными «гениальный — 26 раз, великий — 24 раза, мудрый — 18 раз, любимый — 16 раз, прозорливый — 11 раз, отец народов — 3 раза, великий друг человечества — 1 раз.

Таким образом, каррикатуры и заметки появляющиеся иногда на страницах «Крокодила» и на задворках столичных газет и ведущие, якобы, борьбу против подхалимства, по существу занимаются борьбой лишь против подхалимства периферийного. Другими словами, эта борьба, наряду с неслыханной централизацией власти присущей советскому режиму, носит характер и какой то своеобразной проповеди о «централизации подхалимства». Мелких партийных божков — по шапке, а всю «народную любовь» сосредотачивать на центральной фигуре партийного истукана.

И последнее, надо сказать, принимает порой чудовищные размеры. Когда читаешь обращения и телеграммы адресованные Сталину от всевозможных советских корпораций, то начинает казаться, что или люди сошли с ума или они попросту издеваются над любящим лесть восточным человеком. В этих обращениях его называют и «величайшим стратегом всех времен и народов», и «величайшим гуманистом в истории человечества«, а съезд московских профессоров в официальной телеграмме приветствовал его как «величайше-

го ученого нашей эпохи»! Другими словами, каждая корпорация охотно оделяет его именем величайшего представителя той профессии, которую данная корпора ция представляет. Приходится пожалеть, что в Советском Союзе нету официально признанной корпорации профессиональных палачей. Пожалуй, телеграмма, пос ланная с их годового съезда была бы единственной, вер но отвечающей, своему содержанию. Жаль также, что иностранные корреспонденты, получающие иногда интервью у кремлевского владыки и задающие ему много праздных вопросов, никогда не спросили — верит ли он сам той подхалимской чуши, которой его окатывают в ежедневных обращениях и телеграммах?

Впрочем, вероятно, — верит.

Второе детище страха — наушничество, уже приносит и существенную пользу советской власти. Я думаю, не будет преувеличением, если сказать,что в какой то степени советская власть держится и на этом слове, определяющем одну из наиболее отвратительных сторон человеческой души. Поэтому с этим явлением здесь не борются даже на четвертых страницах газет. Более того, наушничество насаждается и поощряется советской властью. И даже само неблагозвучное слово это — «наушничество», заменено благородным термином — «бдительность«.

К «бдительности» (т.е. к наушничеству) советская власть старается приучить своих граждан еще со школьной скамьи. Десятки тысяч, специально натасканных партийных растлителей духа сидят в советских школах и в доверчивые детские головы вдалбливают новые моральные истины, рожденные диалектическим материализмом.

А эти истины ничем не отличаются от миропонимания готентота, который на вопрос, что есть добро, а что есть зло, ответил: —если я украду козу, то это — добро, а если у меня украдут козу, то это — зло. Другими словами, партийные педагоги вдалбливают в головы целых поколений, что всякая омерзительная гнусность, сделанная советской властью или на благо ее, есть — добро, а всякий, даже благороднейший поступок, сделанный во вред советской власти, есть — зло.

Слово «бдительность» на марксистском языке означает: — подслушивание чужих разговоров, вскрытие чужих писем, анонимные письма в отделения НКВД, устные и письменные доносы на знакомых, близких, родных. В социалистическом государстве наушников не сбрасывают с лестницы и не предают общественному порицанию. В социалистическом государстве, наушники получают повышение по службе, ордена и общественное признание. Гнуснейшему из наушников, порожденных советской властью, пионеру Павлику Морозову, донесшему на своих родителей (и расстрелянных по его доносу), воздвигнут даже памятник в Москве. Советской властью создаются целые кадры наушников. Управдомы, дворники, официанты, отельная прислуга, продавщицы в некоторых магазинах, обычно подбираются из уже проверенных, так сказать, заслуженных наушников. Все служащие государственного аппарата обязаны быть наушниками и, так как, не все на это идут, то тройная кара грозит тому, кто что то знал, но своевременно не сподличал, не донес, не предал или, выражаясь на марксистском диалекте — не проявил достаточной бдительности.

Советская власть поощряет наушничество не только в единичной форме. Иногда она проводит его в массовых масштабах. Так, например, при занятии красной армией городов, бывших под немецкой оккупацией, на всех углах улиц прибивались специальные почтовые ящики, предназаначенные для доносов на своих сограждан о том, кто что делал во время пребывания в городе немцев. Люди, пережившие эти дни, рассказывают, что это была какая то вакханалия доносов. Доносы писали даже люди, которым это было физически противно. Писали в порядке, какой то нелепой самозащиты, исходя из соображения, что на тебя все равно кто нибудь напишет, так пиши на других, если на всех будет написано, то шансы будут равны.

Если советская экономическая система влечет за собой неизбежную нищету и приводит людей к физическому нулю, то новое духовное миропонимание, несомое апостолами марксизма, несомненно должно привести

человека и к нулю моральному. Надо ли говорить, что это второе преступление марксистов перед человечеством, по своим размерам и последствиям значительно превышает первое.

Однако, если марксистам удалось сравнительно быстро и без особого сопротивления (исключение — упорная борьба зажиточного крестьянства), превратить всех советских граждан в нищих, то фабрикация подлецов в нашей стране, к счастью и чести русского народа, натолкнулась на непреодолимые препятствия. И главным препятствием к этому оказалась — семья. Не потому ли именно на семью обрушился один из самых сокрушительных ударов со стороны советской власти. В продолжении долгих лет большевики вели ожесточенную борьбу с семьей, пытаясь эту, освященную тысячелетиями, основу всякого человеческого прогресса, превратить в обычную скотскую случку. И лишь тогда, когда советская власть убедилась, что семья пока еще непобедима и дальнейшая борьба с ней может нанести вред самой власти, она пошла на перемирие и сделала даже несколько шагов назад, что разумеется должно означать не конец борьбы, а лишь временную передышку.

Когда слушаешь рассказы бывших пионеров и комсомольцев о полном несоотвествии того, что им приходилось слышать в школе и ячейках, с тем что они слышали в семье, то становится ясным, кто именно вынес на своих плечах всю тяжесть упорной борьбы семьи с властью. В большинстве случаев это были не отец и не мать, которые, в условиях советской жизни, оба должны были работать для того, чтобы свести концы с концами и, таким образом, оба были оторваны от дома.

Эту борьбу вынесла на своих плечах — русская бабушка. Это она, незаметная, серая, собирательная русская бабушка, простым и толковым языком, разбивала вдребезги ублюдочные марксистские истины, приносимые внуками из школ и ячеек. Это она тайком крестила внуков, водила их в еще уцелевшие церкви и знакомила с основами христианской морали. Это она уличала партийных наставников во лжи на старую Рос-

сию, на русскую историю, на прежнюю жизнь и на весь немарксистский мир. Это она роняла в детские души первые семена сомнения в правоте марксистского дела, она же поливала эти семена и выращивала из них те деревья познания добра и зла, которые помогали молодому советскому поколению разбираться в этих двух понятиях. И работа ее была тем успешнее, что по свидетельству самих бывших пионеров и комсомольцев, их «темные, отсталые и несознательные» бабушки, были им не только ближе, но неизменно оказывались толковее и умней, чем провинциальные апостолы диалектического материализма.

Быть может настанет такой день, когда благодарные внуки поставят на нашей земле памятник «Неизвестной Русской Бабушке». Не той патологической «бабушке русской революции», которая пятьдесят лет «ходи ла в народ», для того, чтобы потом от этого «народа« сбежать заграницу, а этой собирательной и подлинной бабушке русской революции, которая вырвала из марксистских сетей миллионы молодых душ и сохранила их для той будущей и прекрасной России, которую сама она уже не увидит никогда.

XIII

ПО ДОРОГЕ НА ЮГ. КРАЙ КОЛХОЗНЫЙ. В ТОВАРНОМ ВАГОНЕ.

Несмотря на раннюю осень, вечера над Киевом стоят совсем летние. «Полицейский час» наступает с десяти часов вечера и с этого времени жизнь киевлян сосредотачивается в квартирах с настежь раскрытыми окнами и на многочисленных балкончиках. Из окон, кроме грамофонных мелодий и радио, доносятся звуки рояля и пения. Центральные кварталы города кажутся тогда какой то огромной консерваторией.

«.... Наш уголок нам никогда не тесен,
когда ты в нем, то в нем цветет весна,

льется незамысловатая грамофонная мелодия с одного из балкончиков на Фундуклеевской улице. Но уже через два дома ее заглушает другой трогательный и подкупающий мотив:

«....Синенький скромный платочек
падал с опущенных плеч,
ты говорила, что не забудешь
ласковых, радостных встреч....

А еще дальше, какие то упорные поклонники Шульженко, в десятый раз ставят ее диск со знакомой мелодией из старого венского фильма:

«....Ваша записка, несколько строчек,
те, что я прочла в тиши....»

В эти вечерние часы не видно, ни ран Киева, ни его убогого рубища и он кажется по прежнему прекрасным городом. Сидящие на балкончиках киевляне, в темноте, перекликаются друг с другом.

— Светлана, ау! — кричит кто то с соседнего балкона.

— Ку́ - ку! — отвечает с другой стороны улицы Светлана.

— Кукушка, сколько тебе лет?....

Из темноты раздается ку - ку, повторяемое шестнадцать раз. Немного!... Светлана может куковать...

А когда все затихнет, слышно только как с шумом падают на тротуар, выпавшие из раскрывшейся кожуры, каштаны. Скоро упадет и последний. За ними слетят и листья. И старинные киевские каштаны будут стоять такими же оголенными и неуютными, как и город, в котором они выросли.

Весной, когда Светлане придется куковать уже семнадцать раз, киевские каштаны снова уберутся свежим и ярким нарядом. Когда таким же нарядным и молодым снова будет и взрастивший их Киев?...

Перебираю в памяти свои записи, относящиеся к Киеву и замечаю, что в них я описал город, улицы, дома, вспомнил недавнее прошлое и очень давно прошедшее, но очень мало коснулся людей. Заметит это, разумеется, и читатель. А заметив может с правом сказать, что люди его больше интересуют, чем дома. Интересуют они и меня и, вероятно, не меньше чем самого придирчивого читателя. И вот поэтому то я и писал о них очень мало. Легко описать разваливающийся дом или изрытый ямами тротуар. С людьми сложнее. Особенно с этой пестрой, не поддающейся никаким обобщениям и сравнениям, галлереей разных людей, которые у нас зарубежом известны под названием — подсоветских.

Подсоветские люди.... Сколько самых разноречивых мнений и заключений приходилось слышать нам о них, еще до войны, от прорывавшихся на запад их вчераш-

них сограждан. Если взять любое из этих мнений, то ни одно не будет верным. Если собрать их все вместе, то получится хаос противоречий.

В этом как раз и заключается сущность, так называемых, подсоветских людей. Они не поддаются никакому обобщению и среди них можно встретить людей самого различного порядка и содержания. Подсоветские люди — разбитая армия великого российского народа. Разбитая — двадцатипятилетней большевистской диктатурой. И как всем разбитым армиям, трудно ей сомкнуть свои физические и духовные ряды в короткий промежуток времени. В условиях неприятельской оккупации это оказалось попросту невозможным. Именно поэтому о подсоветских людях нельзя говорить как о чем то целом. Это собрание самых разнообразных индивидуумов, чье духовное лицо может выкристаллизоваться лишь после окончательного падения советской власти в условиях свободной жизни и духовно - созидательного труда.

Подсоветские люди при советской власти делились на две ярко окрашенные части: угнетателей и угнетаемых. При отступлении большевиков первая часть сбежала или ушла в подполье. Вторая — осталась на месте. Еще недавно все они были серой, безличной массой — «беспартийных». Теперь, в условиях относительной духовной самостоятельности многие из них принимают, видимо, свойственный им и порой неожиданный облик. Я познакомился с бывшим гвардейским офицером — анархистом, я разговаривал с извозчиком — черносотенцем, я знавал профессора — фашиста и беседовал с комсомольцем, который не имел ясного представления о том, кто такой был Маркс.

Впрочем, эти определения дал им я, на основании наших бесед. Сами они не имели точного представления о своих политических взглядах. Да и кто кроме минимального числа интеллигентов старого поколения это представление здесь имеет? Старые российские политические течения — давно забыты, а заграничные — неизвестны. В политическом отношении, области оказавшиеся вне советской опеки это — распаханное и перепаханное поле, на которое надо бросать зерна и

ждать, что бы они дали всходы. В условиях немецкой оккупации не было, ни этих зерен, ни всходов. Быть может настанет и такое время. Трудно быть пророком и предугадать какое зерно даст наиболее быстрый и сочный росток. Но, имея в виду, что советские люди устали от навязчивой партийной пропаганды можно более - менее безошибочно предсказать, что наибольший успех будет иметь то политическое течение, программа которого уложится на одной страничке пишущей машинки.

Я видел представителей новой интеллигенции — полных невежд даже в их области знаний и встречал таковых же с прекрасными познаниями во всех областях. Я наблюдал каких то угловатых детин с высшим образованием. не знавших в какую руку следует взять вилку и я видел благовоспитанных юношей, не закончивших десятилетку, галантно целовавших дамам руку. Я встречал двадцатилетних дам (в берете, с папиросой во рту), бывших уже пять или шесть раз замужем и имеющих весьма свободные взгляды на все и я видел такого же возраста девушек (с томными глазами и толстой косой), красневших при каждом обращенном к ним вопросе. Каких только людей не видел я здесь....

Советская эпоха на всех наложила тяжелый отпечаток, но, тем не менее, она не могла задавить в них сущность русского человека. Сущность — многогранную, разноликую и глубоко индивидуальную. И сущность эта, хоть и придавливаемая извне, создавалась все же внутри себя, не столь под давлением советского быта, сколь под влиянием наследственности, крови, семьи и ближайшего окружения.

Поэтому, если делать какие либо обобщения, то к этому надо подходить очень осторожно. Если меня спросят в чем заключается отличие подсоветских людей от жителей других европейских стран, то я скажу, что отличие это есть, но оно, главным образом, внешнее. Эти люди — обобраны советской властью. Обобраны — физически и духовно. Физическая обобранность бросается в глаза сразу же как только вы сойдете с поезда. Обобранность духовную вы заметите не у всех,

но у очень многих, в разной степени и под разными углами.

Длившееся десятилетиями физическое обирание народа, выработало в подсоветских людях необыкновенную приспособляемость и граничащее с фантастикой уменье самостоятельно разрешить любую, казалось бы — неразрешимую задачу, поставленную повседневной жизнью. Это качество, приобретенное в результате тяжелых уроков социалистического быта, в свое время, очень пригодится русскому народу. И я думаю, что не ошибусь, если скажу, что когда наступят сроки, то, благодаря именно этому качеству, нормальная жизнь в России будет восстановлена с быстротой, которая при подобном же опустошении, не была бы мыслима ни в одной стране.

Духовное обирание, проводимое большевиками, еще более интенсивно чем физическое, повело к тому, что значительный процент российской интеллигенции всех возрастов ушел в своего рода внутреннюю эмиграцию. На своем пути я встречу немало этих эмигрантов. При советской власти они внешне ничем не отличались от обычных советских обывателей. Но внутренне они жили необычной для этих обывателей духовной жизнью. Они писали стихи, повести и романы, которые в СССР напечатать нельзя. Они работали над философскими и религиозными вопросами, о которых в СССР нельзя было даже говорить вслух. Они тайком пожирали запрещенную литературу, поскольку последняя попадала в их руки. То обстоятельство, что они все это делали не ради славы или гонорара и редко имели возможность даже поделиться с кем либо плодами своей духовной жизни (были случаи, когда первым слушателем оказался я), делает их подвиг еще более значительным.

Этот невидимый актив российской интеллигенции, в свое время, сыграет свою роль в духовном возрождении нашей страны. И, когда я вспоминаю этих людей, то слова ленинградского профессора, с которым мне довелось беседовать в Пскове, о нынешнем состоянии российской интеллигенции, не кажутся уже столь безнадежными. Во всяком случае, что касается меня, то я

бы без особого раздумья, за одного вот такого внутреннего эмигранта отдал бы десяток отечественных болтунов из рядов прогрессивной интеллигенции начала двадцатого столетия.

В русском зарубежье почему то давно установилось мнение, что условия советской жизни давно вытравили у здешних людей традиционное чувство гостеприимства и радушия. Особенности советского быта, разумеется не способствовали сохранению этих чувств, но как и многое другое, так и это, вопреки всему прочно сохранилось в обывательских сердцах. И сейчас, когда автомобиль, унося меня из Киева, сворачивает с Крещатика на Большую Васильковскую улицу, я вспоминаю об этом, ошибочно установившемся зарубежом мнении и с отрадной благодарностью отмечаю в мыслях и в сердце всю ту теплоту, радушие и ласку, которыми я был почти два месяца окружен в этом чудесном и родном мне городе.

Автомобиль, перед тем как выйти на белоцерковское шоссе, минует последнее киевское предместье — Демиевку. По странной иронии судьбы при большевиках это предместье носило имя — Сталинка. Как подходит к этому жалкому скоплению грязных завалившихся, продымленных лачуг, в которых ютится нищий рабочий люд, среди мусора, копоти и отрепьев — символическое имя — Сталинка. Хорошо было бы тогда, когда советской власти не станет, обнести это место оградой, водрузить при входе его узаконенное название — Сталинка и создать из этого места своеобразный заповедник. Заповедник человеческого горя и нечеловеческого цинизма. И привозить сюда делегации иностранных рабочих и группы любопытных заграничных туристов. Ведь и те, и другие ни разу не побывали в подобных местах во время своих посещений Советского Союза.

Автомобиль минует это грустное предместье, выходит на шоссе и везет меня на один из сахарных заводов, куда я приглашен в гости. Уже совсем темно, когда машина въезжает в длинную аллею серебристых

тополей и останавливается у беленького домика главного инженера. Яркий, молодой месяц, светлые тополя, уютный треск кузнечиков и запах душистого табака — вот атмосфера киевской провинции, в которую я погружаюсь выйдя из машины.

Несколько тихих провинциальных дней проходят быстро и за эти дни я успеваю осмотреть не только сахарный завод, но и побывать по крайней мере в десятке деревень, разбросанных между Киевом и Белой Церковью.

Эти деревни я никогда не забуду. Если города за время советской власти превратились, не то в живые клад бища, не то в мусорные ящики, то бедность деревень не поддается описанию. Это тем более показательно, что побывал я в деревнях одного из самых богатейших районов России.

Я писал недавно о босых людях на деревенских дорогах. Теперь, когда в дождливый и прохладный день я попал в одну из деревень я понял почему в теплую погоду все эти люди ходят босые. Обувь в деревне — роскошь, которую берегут на осень и зиму. Но и эта роскошь выглядит кошмарно. Редко это сапоги видавшие лучшие времена, чаще — продырявленные валенки, ветхие опорки или какие то странные приспособления из галош, привязанных веревочками к матерчатому голенищу.

Верхняя одежда, в лучшем случае, — старый стеганый ватник - кацавейка, такие же брюки, а у женщин салоп такого же образца, а чаще та же мужская одежда. Я не видел ни одного деревенского мальчика или девочку, одетых в их детские одежды, хотя бы приблизительно по росту. Все они носят «тятькину» или «мамкину« одежду, болтающуюся на них как мешок и переходящую из поколения в поколение.

На вопросы по поводу их одеяния, крестьяне обычно отвечают, что с войной стало лучше, так как отступавшие красноармейцы меняли часто обмундирование на хлеб и картошку. Что же было раньше?....

В каждой деревне обязательно несколько заколоченных хат. Десять, двадцать, тридцать. В одной деревне

заколоченных хат — пятьдесят. Это половина деревни. Эти хаты принадлежали раньше раскулаченным и сосланным «кулакам».

— Хорошие были хозяева, — говорят о них соседи, — даст Бог, еще когда нибудь вернутся.

Надо надеяться, что это их пожелание в свое время исполнится и хотя бы малая часть их еще увидит свои родные места. С их помощью несомненно деревня сможет стать снова на ноги. А ругательное слово — «кулак», придуманное большевиками, заменится снова простыми русскими словами —«хороший хозяин», сказанными о них их односельчанами.

Хаты старые, давно не видавшие ремонта, потрескавшиеся от времени, посеревшие от дождей и грязи. В хатах — убогая нищета. Не хватает одеял, подушек. Постельное белье — редкость. Не хватает кастрюль, ло жек, ножей. Как правило — все более менее ценные вещи, остались ее хозяевам еще от добольшевистских времен. Разумеется, нигде нет не только пресловутой «лампочки Ильича», но и обычная керосиновая лампа в социалистической деревне бывает подчас редкостью.

Что же давал город деревне взамен за вывозимые продукты? Город не давал — ничего. Ибо город был таким же нищим пасынком советской власти, каким была и деревня. И город, и деревня от великого обманщика засевшего в Кремле получали только в любом количестве, пахнущую типографской краской бумагу, с отпечатанными на ней ублюдочными марксистскими истинами, которые должны были заменить советским гражданам: одежду, обувь, посуду, постельное белье, мебель и все прочие «мелкобуржуазные предрассудки».

Большевики любят напоминать о том, что они дали деревне: организацию и машины. Это — вздор. И то, и другое они не д а л и, а приставили к деревне. И сделали они это совсем не для того, чтобы облегчить труд крестьянина, а с тем, чтобы выкачать из него возможно большее количество продуктов. Партийные активисты, присланные в деревню, не слились с трудовой колхозной семьей, а тракторы и комбайны, бороздящие колхозные поля, не стали собственностью кресть

ян. И то, и другое, работая в деревне, обслуживает отнюдь не интересы колхозников, а исключительно интересы социалистического государства.

Лучшим доказательством этого является та крайняя нищета, в которой пребывает колхозная деревня За годы советской власти население деревень не увеличилось, а уменьшилось. Миллионы людей ушли в промышленные города, миллионы кулаков были сосланы в концлагеря. Одновременно в деревне появилась машина. Последняя увеличила производительность труда и с лихвой возместила утечку рабочих рук. Таким образом, количество производимого деревней даже увеличилось, в то время как количество деревенских потребителей заметно уменьшилось. Вывод напрашивается сам собой и говорит о том, что деревня должна стать богаче, а между тем она обнищала до крайнего предела. Почему? Да потому что колхозная деревня работает не на себя, а на социалистическое государство, которое забирает себе все плоды тяжкого деревенского труда, не давая ничего взамен за это.

Из всех языков, известных культурному человечеству, язык цифр — самый красноречивый. Если же эти цифры взяты из официальных советских источников, то они должны быть убедительными даже для матерого марксиста. Поэтому возьмем только такие цифры.

В книге «Развитие советской экономики», изданной Институтом Экономики Академии Наук СССР (Москва, 1940) говорится, что «общий доход колхозного двора от колхоза, своего подсобного хозяйства и от сторонних заработков составляет сумму в 5834 рубля в год». Эта сумма сопоставлятся в книге с высчитанными Лениным в его книге «Развитие капитализма в России», — доходом середняцкого двора до революции в 350 рублей в год. Конечно, если сопоставить эти цифры, то нельзя не придти в восторг от того, как много дала советская власть русскому крестьянству. Однако, это ни что иное как статистический мираж. На 350 золотых рублей крестьянин, в дореволюционное время мог купить, скажем, ситца по существующим тогда ценам — 1207 метров, а советский колхозник на 5834 рубля,

может купить (если найдет) по государственным ценам только 972 метра, т.е. примерно, в полтора раза меньше. Но дело в том, что колхозник по государственным ценам почти ничего купить не может, ибо товара в магазинах не было, а «закрытые распределители», существовавшие в социалистическом государстве обслуживали только партийную аристократию. Таким образом, все, что необходимо было советскому колхознику он должен был покупать по «вольным ценам» на толкучке, а там он за свои 5834 рубля мог купить, в лучшем случае, — 180 метров того же ситца. Точно также обстояло и со всеми прочими нужными ему товарами. Другими словами, покупная способность крестьянского двора или его реальный доход при советской власти, по сравнению с дореволюционным временем, уменьшился, примерно, в 7 раз.

Так говорят цифры. И теперь понятным становятся и босые люди на деревенских дорогах, рваная одежда колхозников, и отсутствие белья, посуды, мебели и прочего несложного деревенского инвентаря.

Однако, при советской власти не только уменьшился реальный доход крестьянина, но и питаться деревня стала много хуже. Об этом цифры говорят еще яснее. Ленин в той же книге («Развитие капитализма в России») высчитал, что в 1892 году потребление среди батраков основных продуктов питания (зерновых и крупяных) равнялось — 419,3 килограмма в год на человека. Эта цифра в 1927 году падает на — 298,8 килограммов (журнал «Плановое хозяйство», № 3, 1932 г., Москва), а в 1935 году на 261,6 килограммов («Правда» от 8 мая 1936 г., статья академика С. Г. Струмилина).

Эти цифры, взятые из источников, которые не могут вызвать никаких сомнений даже у ЦК ВКП(б), говорят о том, что советский колхозник при советской власти стал питаться почти в два раза хуже, чем питались батраки в дореволюционное время. Это тем более верно, ибо потребление других продуктов питания (жиры, мясо, картофель) за этот промежуток времени уменьшелись еще в большей пропорции.

Чем вызвано это уменьшение в питании деревни га-

дать не приходится. Это явствует из доклада Сталина на 18 съезде партии в 1939 году, в котором он говорит, что в то время, как в дореволюционное время на рынок «отпускалось» 26 проц. зернового производства страны, то после коллективизации «социалистическое зерновое хозяйство» отпускает на рынок 40 процентов валового производства. Другими словами, советская власть принудила крестьян «отпускать государству» в полтора раза больше зерна, чем они это делали в дореволюционное время, а значит в той же процентной норме уменьшилось количество зерна оставляемого крестьянам для их пропитания.

За право ходить в опорках и лохмотьях, за право недоедать и каторжно работать русская деревня заплатила страшной ценой миллионов крестьян: расстрелянных, сосланных и умерших в результате неслыханного голода в 1933 году, — году коллективизации, — самом черном году среди тысяч тяжелых лет, лежащих на горбе русского труженика земли.

Передавать беседы с крестьянами? Не стоит. Это было бы повторением слов псковского мельника, беседу с которым я привел в начале моих очерков. Это было бы повторением его безыскуственной грустной исповеди, содержание которой одинаково, как для колхозников северной псковской области, так и для их собратьев с черноземных полей киевщины. Одинаковые проклятья, от одинаково обездоленных советских колхозников, раздаются под всеми широтами нашей земли. Советская власть похоронила российское крестьянство и на могильном камне высечено слово — коллективизация. Хватит ли сил у российского труженика земли сдвинуть этот гробовой камень в тот решительный день, который рано или поздно наступит? Надо думать, что — хватит. И надо верить, что день этот придет не слишком поздно.

Сахарный завод, где я гощу выстроили не большевики. Он принадлежал когда то помещику графу Бобринскому.

— Ему принадлежал этот завод и еще четыре других, да земли имел он тысяч тридцать десятин, —гово-

рит один из крестьян работающих на заводе.

— Это же несправедливо, — говорю я, — что один человек столько имел.

— Да оно, конечно, несправедливо, — отвечает он, — а только порядок какой был! Знал человек толк в деле, хозяйство, можно сказать, цвело! И не один же он все это поедал. Тысячи народа жили при этом деле и как жили!

— А тут, — подхватывает другой, — большевики таких бобринских развели, что все пошло на смарку! Верите ли, мы работали в сахарном деле, а часто должны были ездить в Киев и там стоять в очереди за сахаром. Все забирали у нас под метелку, а куда девалось это — неизвестно. В Киеве еще сахар был, а в Белой Церкви его не было месяцами....

— Да, — вставляет третий, — дело наше сахарное — тонкое, его надо уважать.

Энергичная барышня - химичка долго водит меня по всем отделениям завода, показывая сотни чанов, кранов и трубок и я без труда убеждаюсь в том, что сахарное дело — дело тонкое. А когда она начинает сыпать десятками формул, из которых я понимаю только одну — «Аш два о», то мне становится ясно, что сахарное дело я уважаю.

Если киевляне не утеряли радушия и гостеприимства, то в киевской провинции эти качества души недалеко ушли от тех времен, когда по этим просторам безмятежно катила свои колеса знаменитая чичиковская бричка. Мне с большим трудом удается убедить моих хозяев, что в военное время, — неделя более чем достаточный срок для пребывания в гостях и в солнечный осенний полдень заводская машина доставила меня в Белую Церковь.

Милая, украинская провинция. Кажется будто вековой сон повис над ней. Белая Церковь не изменилась не только за эти двадцать пять лет, но вероятно и за последние сто. Никаких следов большевистского лозунга — «поднимем нашу провинцию» — я здесь не нашел. Несколько, бывших здесь еще до революции, двух и трехъэтажных домов, стоят обуглившимися развалинами. Их сожгли большевики при отступлении. И это

единственный след их четвертьвекового пребывания в этом городке.

Длинные, широкие улицы мощенные булыжником и совсем не мощенные, покрыты толстым, по щиколотку, слоем пыли. На нем отпечатки босых ног, подкованных сапог и незамысловатые крестики куриных следов. По бокам улиц низенькие домики и мазанки с длинными заборами и рядами подсолнухов. За ними просторные дворы со стогом сена посередине. Куры и утки бродят по улицам, пересекая ее во всех направлениях. Белая Церковь — дремлет.

На вокзале — разочарование. Пассажирский поезд пришел такой полный, что прицепиться к нему — невозможно. Начальник станции утешает — через час пройдет товарный, можно сесть на него. И, действительно, через час я сажусь в знакомый красный вагон и, спустив ноги наружу, отправляюсь в дальнейший путь.

Странное совпадение: — в таком же точно вагоне, в такой же самой позе, по этой же самой дороге, ехал я и двадцать три года назад. Много после этого пришлось проехать километров по Европе. И в спальном вагоне, и в третьем классе. Но, вот, с этим отрезком пути — от Киева на юг — мне определенно не везет. И. спустя двадцать три года, попав снова на эту линию, я опять сижу в знакомом товарном вагоне и, болтая ногами в воздухе, еду дальше на юг.

Товарный вагон, то нервно содрогаясь, то плавно скользя, не очень быстро и не очень медленно, уносит меня к югу. Собственно говоря, не меня, а нас. Вагон полон до отказу. На мешках, на тючках, на чемоданах, а то и просто на полу, сидят самые разнообразные люди, поднятые войной со своих мест и мечущиеся из стороны в сторону, одни возвращаясь к себе домой, другие, наоборот, убегая из дому.

Есть тут и одетые по городски, есть и — по деревенски. Впрочем, оба эти понятия в условиях советской жизни, дано перемешались одно с другим и порой трудно бывает отличить инженера от рабочего, учителя от крестьянина, профессора от дворника. Одно из

обещаний большевистской партии, обещание равенства, повидимому, советская власть выполнила. Она предоставила своим гражданам одинаковое право одеваться одинаково плохо.

Однако, вглядываясь в лица, можно отличить людей, если не по профессиям, то хотя бы по принадлежности к тому или иному слою населения. Вот пожилой господин в короткой куртке с облезлым меховым воротником и в высокой полысевшей шапке «под котика», уткнувшийся в книжку. Это — городской интеллигент. Но сидит он на большом мешке и при пересадках, привычным движением взваливает его на плечи. Это делает его похожим на мешочника. Или на какую то новую разновидность — мешочника с высшим образованием, выкристализовавшуюся в результате многолетних «вылазок в деревню».

А вот рябая женщина, обмотанная огромным платком пересчитывающая засаленные рубли и карбованцы. Она, пожалуй, и есть настоящая мешочница, но рядом с ней стоит, ни Бог весть какой, но все же чемодан, делающий ее похожей на обыкновенную городскую путешественницу.

Рядом со мной, в широких дверях теплушки, группа молодежи, с шумом разгрызающая яблоки и оглушительно смеющаяся. Это, конечно, учащаяся молодежь. Впрочем, и без психологических наблюдений, а просто из их разговоров, узнаю, что это ученики днепропетровской консерватории, едущие домой после отдыха, на «подножном корму», в деревне.

Кого только нет в этом неуютном товарном вагоне, несущим нас по ровным полям Украины навстречу неизвестности. Есть и ленинградцы и пятигорцы, воронежцы и одесситы. Профессор и бывший красноармеец, мешочница и опереточный тенор, священник и ученики консерватории и, конечно, журналист, то есть — я, попавший в это человеческое месиво, во имя и этих временных моих попутчиков, и во имя всех тех людей, которым я когда нибудь расскажу об этой, пожалуй, одной из интереснейших поездок в истории русской журналистики последних десятилетий.

Среди едущих есть две главные категории путешест-

венников военного времени. Самая многочисленная это — пассажиры на короткие дистанции: горожане едущие за несколько остановок в знакомое село для пополнения своих скудных продовольственных запасов и крестьяне, отправившиеся в ближайший город, чтобы узнать кто там из своих уцелел и подать какое нибудь прошение. Но есть и другая группа странствующих, количественно небольшая, но качественно годящаяся в рекордсмены больших расстояний, напоминающих жюль - верновских героев. Это — пассажиры дальнего следования. Такого дальнего, что они сами не знают будет ли намеченный город их конечным пунктом или за ним снова откроется, уходящая в бездонную даль, металлическая полоса равнодушных рельс. Это люди, ищущие своих родных, потерянных еще в самом начале военного урагана и совершающие фантастические рейсы, требующие нечеловеческого напряжения и боль шой человеческой любви к своим близким.

Вначале и я причислял себя к пассажирам дальнего следования. Но когда я узнал, что мой сосед выбрался весной из Ленинграда, в поисках семьи, оставшейся в Киеве, побывал в Москве, Саратове, Уфе, Самаре, Астрахани, Пятигорске, остался там до прихода немцев, пробрался в Киев и узнав, что семья его перебралась в Одессу, едет теперь туда, то мой путь, рассчитан ный все же на несколько тысяч километров, стал мне казаться безобидным воскресным пикником на опушке ближайшего леса.

Начинает смеркаться и осенний холодок пробирается в вагон. Сначала дружными усилиями задвигается одна дверь, а вслед за ней и другая. В вагоне совсем темно. Все начинают устраиваться на долгую дорожную ночь. Мой электрический фонарь выручает меня, и моих спутников.

— Гражданин, будьте добры посветите малость, пока мы тут устроимся.....

— Вы бы, гражданочка, пододвинули немного свою корзину, а то мне не провернуться тут....

Слова «гражданин» и «гражданка« прочно вошли в быт и их часто приходится слышать. Слово «товарищ» я за все время слышал только один раз сказанное по

привычке и поднятое тотчас же на смех, с резюме одного из присутствующих: — «ишь, товарищей вспомнил, были они, да все вышли....»

Кроме «гражданина» часто приходится слышать и другие слова, пустившие глубокие корни, слова иногда новые, а чаще — старые, но употребляемые по новому. Наиболее типичные из них: — «в основном», «переключился«, «забронировать» «тематика», «провентилировать», «отрегулировать«. Последние два: — «провентилировать вопрос«, «отрегулировать настроение», очевидно являются какими то отголосками индустриализации. Кстати и для этого слова среди советских граждан существует особое определение: по пущенному каким то остряком определению — индус — триализация, означает— превращение граждан СССР в голодающих индусов.

Первые два слова: «в основном» и «переключился« употребляются в самых неожиданных комбинациях; «в основном это крестьяне», в «основном мои вещи уложены«, «в основном он поет отвратительно»; «Петька бросил Маньку и переключился на Таньку», «недавно еще она играла героинь, а теперь переключилась на комических старух», «Иван Иванович с водки переключился на самогон« и так далее. Слово забронировать — относится к жилью, Это означает записать такую то комнату в жилотделе на свое имя: — «я забронировал эту комнату», «на этой комнате лежит броня«.

«Тематика» и «типаж« прочно вошли в быт журналистов и фоторепортеров. Почти каждый журналист или фоторепортер, которым я предлагал прислать, что нибудь для газеты, непременно настойчиво спрашивали: — «а какая тематика вас интересует?» И очень удивлялись, когда я говорил, что тематика нас не интересует, а интересуют хорошо и талантливо сделанные вещи. Очевидно, в советских условиях работы на долю собственной инициативы и вдохновенья писателя, жур налиста или фоторепортера приходилась какая то невесомая величина. Остальное же относилось за счет этой самой тематики или проще говоря — социального заказа.

Есть и еще два старых русских слова употребляе-

мых по новому. Это — «зачитать» и «присвоить«. На русском языке слово—«зачитать» применялось только к книге. Выражение — зачитать книгу — означало, либо задержать ее дольше положенного срока, либо привести ее в негодное состояние. В Советском Союзе «зачитывают доклады», а начальники «зачитывают приказы« своим подчиненным. Когда слышишь такое выражение, то непременно представляешь себе, как вот эдакий, ленивый нарком или начальник валяется месяцами на диване и все зачитывает доклады и приказы, пока не превратит свежие листы бумаги в половые тряпки.

Слово «присвоить» на русском языке означает — чужую вещь объявить своей без всякого права на это. В Советском Союзе верховная власть «присваивает» гражданам звание «народного артиста», «героя Советского Союза«, «лауреата сталинской премии», а старинным русским городам — новые названия по имени какого нибудь партийного вельможи. Впрочем, в последнем случае слово «присвоить» для постороннего уха несомненно , звучит в своем истинном значении.

Много появилось и появляется новых слов и всех их не упомнишь сразу. Это явление часто беспокоит ревнителей чистоты русского языка. Но вряд ли, они правы. Язык — это не коробка консервов. Он должен расти и развиваться. Жаль только, что в советских условиях язык наш, в силу понижения общего культурного уровня, ростет не вверх, а вниз, заимствуя подчас словечки из «блатного жаргона», на котором любят изъяснятся даже видные партийные работники, повидимому, полагая, что они хорошо усвоили язык «народных масс».

Гудение от разговоров постепенно затихает, то там, то здесь, перекидываются еще каким нибудь вопросом.

О чем говорят люди в товарном вагоне?

Я думаю, что если в подобных условиях собрать, вот так, вместе в вагон и оставить на продолжительное время людей, принадлежащих к другим нациям или тех же русских людей дореволюционного периода, то естественно, что разговоры вращались бы вокруг войны и политики. За двадцать часов, которые я протрясусь в

этом вагоне, я очень мало услышу о войне и ни одного слова о политике. Кроме обычных дорожных вопросов я слышу только разговоры о том, сколько стоит пуд картошки там и почем килограмм масла тут, есть ли лавки в вашем городе или базары в вашем селе.

Эти вопросы естественны. Но ведь такими же естественными были бы и разговоры о состоянии фронта, о национал - социализме, капитализме, марксизме. Повидимому советская власть основательно отучила своих граждан интересоваться вслух всем тем, что выходит из рамок повседневного быта. А быт этот ставил столько неразрешимых проблем и наваливал на плечи советских людей такие заботы,, что разговоры обо всем этом, с годами стали вытеснять все остальные темы.

Поэтому неудивительно, что когда мои соседи узнали, что я приехал из Европы, не интересовались тем, как там разрешены социальные проблемы и налажена общественная жизнь, какие политические сдвиги произошли там за последние годы и какие можно ожидать в будущем, а спрашивали, главным образом, о том, что у нас дают по карточкам, а что без них, затемнены ли города, до которого часа можно ходить по улицам и не отобрали ли на время войны у жителей радиоприемники?

И когда на последний вопрос слышали отрицательный ответ, то никак не могли придти в себя от изумления, ибо «родное советское правительство» в первый же день войны, под страхом расстрела, приказало жителям сдать все радиоприемники. Правда, таковые в Советском Союзе имеются у редких счастливцев. Вся остальная масса радиослушателей должна удовольствоваться стандартными громкоговорителями, подвешенными в комнате у каждого из них и обладающих замечательным для советской власти свойством: — передавать только одну, утвержденную свыше, программу своей городской станции. В таком радио - рупоре надо лишь повернуть выключатель и, независимо от вашего музыкального вкуса, комната ваша сразу же наполнится могучими звуками «песни о Сталине», о Кагановиче«, о Ворошилове«. Впрочем, среди этих «индивидуальных песен» бывают и «коллективно - прос-

лавляющие«. Какой то остроумный советский композитор создал «песенку о ЦК ВКП(б)», убив этим сразу не двух зайцев, а по крайней мере — два — три десятка.

— Эх, житуха, — со вздохом произносит кто то, с шумом поворачиваясь на другой бок, — который день, уж, кости по полу таскаешь.....

— А раньше, что небось, с плацкартой на мягкое место ездил? — спрашивает его сосед.

— Мягким местом — на твердом буфере, — отвечает первый и оба смеются его шутке.

Еще немного и вагон совсем затихает. Только шепчется еще молодежь из днепропетровской консерватории. Скоро умолкают и они. После этого — тишина, храп и стук колес. Однообразно выстукивают они какую то монотонную песенку без слов. Грустную песенку о всех нас путешествующих и о всех иных, страждущих, недугующих, плененных, убиенных и в рассеянии сущих.

Засовываю под голову чемодан «в основном» заменяющий подушку и заткнув щели в полу собственной спиной, пробую «переключиться» на сон. Однако, заснуть не так легко. И от непривычной постели и от массы самых разнообразных впечатлений, которыми меня так щедро одарили последние два месяца, прошедшие с того времени, когда я где то около Ровно, вторично переехал бывшую границу Советского Союза.

Утром вагон начинает оживать. Со скрипом отодвигаются тяжелые двери. Снаружи — мелкий дождь и свист ветра.

— Девочки, у кого есть соль?—восклицает одна из консерваторок, доставая из мешка завтрак. Но позавтракать ей так и не удается. Поезд начинает особенно громыхать колесами на скрещивающихся путях, как это всегда бывает перед большими станциями. Через открытую дверь вагона, сквозь мелкую сетку дождя, виднеются огромные фабричные трубы, целый лес труб. И еще через несколько минут, на обгорелых стенах старого екатеринославского вокзала, я читаю черную, облезлую надпись: —Днепропетровск.

XIV

ДНЕПРОПЕТРОВСК. О БОЛЬШЕВИСТСКОЙ СКРОМНОСТИ. ПОД ФАБРИЧНЫМИ ТРУБАМИ.

Днепропетровск.... Из этих составных слов получилось новое название Екатеринослава. Одно составное — Днепр — осталось. Вот он, спокойный и величавый, течет неторопливо у самого города. Второе составное — Петровский — исчезло.

Да, Петровский, председатель ВУЦИК'а, другими словами — президент Украинской Советской Социалистической Республики, т.е. «украинский Калинин» — исчез. Не умер, не убит, не расстрелян, не сослан, а именно — исчез.

В 1937 г. он был вызван советским правительством из Киева в Москву и после этого пропал без вести. Был человек и нет его.

Президент Украинской ССР, второй по величине советской республики, республики с населением в семьдесят миллионов человек, в переводе, скажем, на американские масштабы, фигура значительно крупнее, чем губернатор штата Нью Иорк.

Трудно себе представить, что бы было в Америке, если бы в один прекрасный день губернатор штата Нью Иорк был бы вызван в Вашингтон и, уехав туда, пропал бы без вести. Что бы творилось в американской общественности? В конгрессе? В редакциях газет? Это было бы равносильно концу света.

В социалистическом государстве исчезновение президента Украинской Республики прошло незамеченным. Общественность — молчала. Верховный совет СССР — молчал. Газеты — молчали. Только отдельные советские граждане, встречаясь с друзьями около особняка на Фундуклеевской улице, где жил исчезнувший всесильный председатель ВУЦИК'а, незаметно, бровью, показывали на особняк и понимающе кивали головами.

Так никогда и не узнали граждане Украинской ССР, что именно случилось с их президентом, после того как за ним закрылись тяжелые ворота Кремля. Позже была арестована его семья и про нее точно известно, что она расстреляна. Куда же девался сам президент, на столе у которого неизменно лежал свеженький, только что вышедший из печати, том сталинской конституции, обеспечивающий неприкосновенность советских граждан, так и осталось неизвестным.

Случай с Петровским, отнюдь, не единственный уникум пропажи крупных деятелей социалистического государства. Год спустя в Москву был вызван прославленный командующий Дальневосточной армией маршал Блюхер. И прибыв в Кремль — исчез без следа и без всякого шума. Только удивленные красноармейцы обнаружили в один прекрасный день, что протреты исчезнувшего маршала, украшавшие стены всех казарм, чьей то невидимой рукой были оттуда изъяты. И все.

Впрочем, надо заметить, что в истории российского государства подобное бесследное исчезновение видных государственных деятелей, вызванных высшей властью к себе, происходит не впервые. Точно также, семь или восемь веков назад, иногда бесследно исчезали русские владетельные бояре и даже удельные князья, вызванные татарским ханом в свою ханскую ставку. И лишь много времени спустя, от сбежавших холопов или болтливых татар, русские люди узнавали, что прогневавшийся хан приказал, прибывших к нему бояр или князей, положить на землю, накрыл их досками и на этих досках пировал со своими приближенными до тех пор, пока из провинившихся феодалов не вылезли наружу кишки.

Надо думать, что этот оригинальный способ наказания, в передовом социалистическом государстве, признан устаревшим и кремлевский хан, вряд - ли, пирует с членами политбюро на досках, наваленных на тела петровских, блюхеров и сотен им подобных. Однако, историческая аналогия от этого нисколько не страдает. Ибо результат остается тот же: — провинившиеся вельможи больше в свои владения не возвращаются, а их кишки, разумеется, тоже тем или иным способом, оказываются — снаружи.

Примерно с такими мыслями в голове, пробирался я дождливым осенним утром, сквозь густую вокзальную толпу Днепропетровска.

Читателя, пожалуй, может интересовать и сама, так сказать, техническая сторона приезда в новый город в условиях войны и оккупации. Вот, приехал человек, вышел из вагона, очутился на вокзальной площади. А дальше?

Дальше не так просто. Гостинниц для приезжающих нет. Все они заняты военными. В лучшем случае можно, где нибудь на окраине города, наткнуться на вывеску: — «постоялый двор», но надо иметь много мужества, чтобы остановиться в таком заведении. Обычно, это огромная комната, в которой на полу, вповалку, спит человек сто. Ресторанов нет, столовых тоже. Времена не туристические и если бы какой нибудь экстравагантный путешественник, вздумал в эти дни проехаться по этим местам, то он уже с первой остановки взял бы курс назад.

Поэтому для того, чтобы в это суровое время, приехать в какой нибудь русский город, надо было иметь какую то точку опоры. Для меня такими точками являлись повсюду корреспонденты «Нового Слова», которые в этом отношении были звеньями более ценной организации, чем все туристические агенства мира.

Как создавались корреспонденты «Нового Слова» на оккупированной территории? Газета эта оказалась первым и единственным мостом, переброшенным из русского зарубежья на родину и тот процесс, как по этому мосту стали ходить люди и, обгоняя людей, ле-

тать через него мысли, является, несомненно, любопытным. А происходило это очень просто. У какого нибудь военного переводчика, оказывался экземпляр «Нового Слова», полученный им по полевой почте. Этот экземпляр начинал переходить из рук в руки.

Ведь это была первая русская газета, которую вчерашние советские граждане держали в своих руках и читали в ней о советской власти как раз то, что они сами о ней думали. Только тот, кто прожил четверть века в условиях неслыханного полицейского режима и морального гнета, без возможности произнести хоть одно слово протеста, может оценить всю значительность этого момента. Газета зачитывалась буквально до дыр.

А затем, прочитавшие газету, естественно и сами начинали писать для нее. Каждый подсоветский человек мог много рассказать о пережитом. В результате — сотни писем со статьями и корреспонденциями стали прибывать в редакцию и по их качеству отсеивались постоянные сотрудники и корреспонденты из разных городов оккупированных областей. К концу первого года войны, редко появлялись на страницах газеты статьи сотрудников из числа старых эмигрантов. Почти вся газета заполнялась уже материалом, присланным с родины, бывшими советскими гражданами. Они принесли газете много живого свидетельского материала и не академической, а подлинной, жизненной ненависти к марксистским растлителям человеческого духа. Они много рассказали своим зарубежным соотечественникам о страшном, удушающем застенке, в котором они провели четверть века в тяжелых кандалах коммунистической диктатуры. Надо надеяться, что в свое время они смогут рассказать об этом всему миру. Последнему было бы, во всяком случае, очень полезно выслушать хотя бы малую часть этой страшной правды. По крайней мере тем представителям его, которые все еще склонны считать большевизм не чумой, а чем то вроде легкого насморка.

В Днепропетровске, как и в других городах, я прямо с вокзала отправляюсь в дом нашего корреспондента, чтобы познакомиться с ним и попросить убежища. И по

падаю там в милую приветливую русскую семью, где с меня начинают смывать дорожную грязь, кормить, укладывать спать и варить какое то снадобье от подхва ченной в дороге простуды.

Описывать внешний вид Днепропетровска — не стоит. Это было бы повторением уже сказанного о Пскове и Киеве. Это такой же «бывший город», как и его уже описанные мною, собратья. Теже унылые ряды обшарпанных, измызганных домов, таже нищета на улицах, теже несколько безрадостных неоштукатуренных домов, которыми скудно одарила этот город социалистическая стройка.

Впрочем, здесь я встретил и новую, невиданную еще мною подробность архитектурного полета мысли. Вот — «дом красных командиров». По всему переднему фасаду его торчат бетонные площадки. Это должны были быть балконы. На этих балконах, повидимому, красные командирши должны были угощать чаем своих гостей. Однако, несомненно, что даже в том случае, если бы этот дом принадлежал не красным командирам, а красным акробатам, то и последние не рискнули бы устроить тут чаепитие. Ибо, кроме этих площадок, никаких других признаков, указывающих, что это должны быть балконы — нет. Ни перил, ни решетки, ни ограды. Может быть дом этот не успели закончить из за войны? Ничего подобного. Красные командиры с командиршами жили в нем уже пять лет. И ни одному лейтенанту или майору не пришло в голову пойти к лицу ответственному за это архитектурное издевательство, взять его за шиворот, привести на свой так называемый, балкон и сбросить его оттуда вниз.

В Днепропетровске, как и в Киеве, на многих лавках, магазинах и учреждениях сохранились старые советские вывески. От них веет жуткой марксистской мертвечиной и апокалипсической тоской. «Главукркнигторг» — значится на оставшихся книжных магазинах. Читая эдакое словесное хитросплетение даже профессор словесности может показаться безграмотным. Ибо, читать его можно только по слогам. «Трестхарчпром» —это, повидимому, имеет какое то отношение к гастрономии, но слово это определенно отбивает

всякий аппетит. «Главукрмолоко» — совершенно ясно, что это молочная. Однако, вместо полновесных и вкусных слов: свежее и парное молоко, сливки, простокваша, сметана — скучные партийные людишки привесили к доброму коровьему молоку этот самый — «главукр». Когда я читаю эту надпись, то мне почему то кажется, что это молоко с «главукром» в придачу, должно быть обязательно прокисшее, с мухами и посыпанное укропом.

Впрочем, это еще не самые показательные образцы. На окраине Днепропетровска я видел какое то заведение с заколоченными дверями, над которым красовалась вывеска: — Облплодовощзаготзасолконтора». Это слово удалось расшифровать лишь после долгих и упорных раздумий.

Многие предприятия сохранили прилагательные к своим названиям. Все эти прилагательные одинаковы — «красный». «Красный текстильщик«, красный ткач«, «красный металлист». Красный, красный, красный.... Здесь был даже «Банно - прачешный комбинат «Красная Синька». Я этой надписи уже на застал, но охотно верю, что в марксистском государстве даже синька может быть — красной.

Однако, одними прилагательными дело не обходится. Вожди пролетариата честолюбивы, как местечковые фармацевты. Все эти предприятия, кроме того, что они — красные, носят еще имя и кого нибудь из партийных честолюбцев.

Причем, при распределении сановных имен различным комбинатам, заводам и артелям, партийная канцелярия строго следит за соблюдением соответственного ранжира: — чем крупнее предприятие, тем более громкое имя оно должно носить и чем предприятие меньше, тем мельче имя его партийного шефа.. Совсем маленькие артели и мастерские носят имена, какой то партийной шушеры, часто неизвестной даже заведующим этими мастерскими.

Именно, так при дворах московских царей рассаживались за столами приглашенные во дворец гости. Бояре познатнее — рюриковичи, гедеминовичи — поближе к царю, менее знатные—подальше и так до само

го края стола, где пугливо ютилась боярская мелкота, имен которой часто не знал и сам высокий хозяин. Вот по этому старинному закону местничества или согласно русской поговорке — «всяк сверчок, знай свой шесток», распределяет партийная канцелярия эти своеобразные шефства. «Металлургический комбинат имени Сталина», «Тракторный завод имени Молотова«, «Кондитерская фабрика имени Микояна», Швейно - пошивочная мастерская имени Щербакова», «Библиотека имени.... Буденного».

Это последнее взято мною, отнюдь, не с целью иронии. Библиотека имени полуграмотного советского мар шала существовала в Бирзуле. Вероятно, культурные очаги с подобным шефством существовали и в других городах.

В Советском Союзе все предприятия носят какие нибудь коммунистические имена. Если бы в социалистическом государстве существовали оффициальные публичные дома, то, пожалуй, и они имели бы какое нибудь соответствующее шефство. «Публичный дом им. Крупской». Или — «Публичный дом имени Долорес Ибарури«. Совсем не плохо. Во всяком случае, много лучше, чем «библиотека Буденного».....

Единственные предприятия, которые не носят имен коммунистических вельмож это — бюро похоронных процессий. Это жаль. Как хорошо и правдоподобно звучало бы: — «Всесоюзная похоронная контора имени Сталина»? Или лучше — «Всесоюзный похоронный комбинат имени Сталина«......

Казалось бы, что социалистический строй должен был упростить показную сторону жизни. Однако, случилось обратное и при этом строе она усложнилась во много раз. Самый знаменитый русский театр, во времена империи назывался очень просто — Московский Художественный Театр. Теперь он называется: — Московский Художественный, ордена Ленина, имени Максима Горького, академический театр. При царях («милитаристах») военные училища выпускавшие офи церов назывались скромно: Павловское Военное Училище или Михайловское Военное Училище. При марксистах («пацифистах») такое же военно - учебное за-

ведение называется: — Первое московское, ордена Ленина, ордена Суворова, имени Дзержинского артиллерийское училище.....

Это еще скромные примеры. Есть подобные же учреждения, носящие названия в четырнадцать и шестнадцать слов. Они уже похожи на титулы китайских мандаринов или испанских грандов в преломлении современных веселых буффонад.

Большевики любят говорить о скромности. Скромность, являвшаяся раньше украшением провинциальных барышень, по их словам, должна быть столь же непременным украшением и правоверного коммуниста. Повидимому, именно, в силу этой скромности большевики стали переименовывать улицы, города и целые об ласти, давая им свои собственные имена и усеивать страну памятниками, воздвигнутыми себе еще при жиз ни.

Надо сказать, что до такой безвкусицы, пошлости и хамства не доходил еще ни один самодержец и не один диктатор в мире. Товарищ Сталин, в городе Сталинграде, на сталинской площади, любуется памятником товарищу Сталину. Товарищ Молотов, в городе Молотове, на молотовской площади, любуется памятником товарищу Молотову. Это ли не образец большевистской скромности?.....

За тысячу лет существования Московского государства и Российской империи, фактически только один большой город носил царское имя. Это — Екатеринослав, по улицам которого я сейчас брожу, ибо Санкт-Петербург носил имя не Петра Великого, а Святого Петра. И надо сказать, что Екатеринослав вполне оправ данно получил свое имя — этот город основан Екатериной.

Большевики же за двадцать пять лет своего существования у власти успели «присвоить» десяткам крупных городов свои собственные имена, без всякого к тому основания, ибо городов этих они не основывали, не строили и не создавали. А в этих городах и во всех прочих они умудрились заполнить своими персонами все поры повседневной жизни.

Что это? Пустое тщеславие мелкотравчатых провин-

циалов, добравшихся до неограниченной власти? Или сознание того, что после смерти все эти города не долго будут носить их имена и потому неутолимое желание насладиться этим при жизни?

Это и то, и другое. Но есть еще и третье. А именно: своеобразное воспитание советского гражданина. Последний должен неустанно, денно и нощно, чувствовать себя со всех сторон окруженным именами «любимых вождей» и ни одного шагу не делать без того, чтобы не вспомнить о их существовании.

Советский гражданин должен жить в городе Сталинграде или Ленинграде, служить в тресте имени Молотова, гулять по улице Маркса, отдыхать в парке имени Кирова, обедать в столовке имени Микояна, ходить в театр имени Дзержинского, любоваться памятником Калинину, мыться в бане имени Жданова и брать книги в библиотеке имени Буденного. А если все это ему осточертеет и он в припадке неврастении бросится на вокзал, чтобы вырваться из этого безъисходного ужаса, то там он сядет в поезд, который повезет его по жел дороге имени Кагановича в город Молотов или Куйбышев, где его снова будет ждать трест имени Сталина, улица имени Маркса, столовка имени Шверника и так далее, и так далее. Если же в новом городе нервная болезнь этого гражданина примет более острые формы, то его заберет скорая помощь и отвезет в больницу..... имени Орджоникидзе, где его осмотрит, орденоносец ордена .....Ленина и лауреат сталинской премии, профессор такой то.

Выхода из этого заколдованного круга — нет. Разве, что умереть. В этом случае социалистическое отечество уже теряет всякий интерес к своему воспитаннику и тогда ему разрешается найти вечное упокоение на кладбище, которое пока еще не носит ни одного из осточертевших ему имен. Однако, этой радостной подробностью, данный гражданин насладиться уже не сможет.

Советские граждане реагируют на это навязчивое партийное хамство, единственным разумным в этом отношении способом. Они попросту не замечают всего этого. Если новые названия городов еще, более менее,

прочно вошли в быт, то на переименованные улицы никто не обращает никакого внимания. Несмотря на то, что улицы годами носят имена: Маркса Ленина или Сталина, их попрежнему называют: Николаевская, Спасская, Преображенская. Киевский извозчик, которого я просил отвезти меня на улицу Ленина, долго чесал бороду и вслух рассуждал, где бы она могла находиться. Тогда я напомнил ему, что эта улица раньше называлась — Фундуклеевской. Он обрадовался, осклабился и с укором сказал: — «ну, так бы раньше и сказали, а то черт его разберет у нас тут куда ни плюнь все ленинское или сталинское....»

Впрочем, если бы какой нибудь добросовестный советский гражданин и захотел бы запомнить новые имена улиц, то вряд ли ему это удалось. Иногда большие улицы в больших городах меняли свое название по три раза в год. Вчера она была «улицей Рыкова», сегодня Рыков оказывался врагом народа и срочно переименовывалась в «улицу Пятакова», но завтра врагом народа оказывался Пятаков и она втечение ночи получала имя Ежова, но послезавтра Ежов.... и так далее. Тогда уже и самый добросовестный гражданин махал на это рукой и продолжал называть эту улицу просто — Марино - Благовещенской.

Порой и сама советская власть сдавалась перед этим пассивным отпором обывателей. Киевский Крещатик много лет носил имя «улицы Воровского». Разумеется, ни у одного киевлянина язык не поворачивался назвать эту тысячелетнюю гордость Киева новым, да еще каким то воровским именем. И вот, как то ночью, стыдливая рука киевского горсовета сняла таблички с громким именем Воровского и заменила их снова Крещатиком.

— Хорошо было бы, — сказал мне по этому поводу один киевлянин, — вот так же проснуться в одно прекрасное утро и увидеть над всей страной вместо какой то воровской таблички СССР, тысячелетнее и прекрасное слово — Россия.

Однако, Днепропетровск это не только расползшиеся по швам дома и унылые вывески лавок и учрежде-

ний. Это не только пропавший президент Украинской Республики и безперильные балконы «дома красных командиров». Днепропетровск — это прежде всего — огромный фабричный город. Если в Киеве заводы и фабрики жмутся около города, не заслоняя его своеобразного городского лица, то днепропетровские заводы оттеснили на задний план город и он сам прячется в их тени. Днепропетровск это первый большой фаб ричный город, который лежал на моем пути. И он меня интересует, именно, с этой стороны.

Советские промышленные центры группируются главным образом, вокруг Урала. Это понятно. Поближе к руде и подальше от границы. Быть может в силу соображений этого характера в Днепропетровске не строили новые заводы, а лишь расширяли старые. И, слов нет, разрослись они сильно. К существовавшим уже цехам пристроены новые, старые увеличились вы росли новые трубы, появились новые домны и мартены, пролегли длинные газопроводы, целые горы шлака высятся позади заводов.

Однако, бродя по днепропетровским заводам и осмат ривая все произведенные расширения, в глаза невольно бросается одно обстоятельство. А именно: при всех этих расширениях и перестройках все внимание отводилось повышению производительности завода и никакого — улучшению условий работы для занятых здесь людей. Помещения строились огромные, печей, машин и станков вгонялось в них множество, а рабочим буквально негде было повернуться. Помещения цехов — темные, без достаточной вентиляции и без примитивнейших удобств. По сравнению с виденным мною в Европе современными заводами, полными света и воздуха, со стеклянными стенами или крышами, с мощной вентиляцией , душами, фонтанами и цветниками, днепропетровские колоссы выглядят огромными мрачными пещерами самых черных для рабочего класса времен.

Рабочий — «первый гражданин» Советского Союза, во время работы, обставлен отвратительно. Но может быть каторжные условия работы компенсировались благодатным отдыхом дома? Тоже — нет. За свое трех

недельное пребывание в Днепропетровске я обошел не меньше двух десятков рабочих квартир и имел возможность убедиться в каких убогих бытовых условиях жил советский рабочий. Только очень ценные мастера и, притом, заслуженные по партийной линии, получали квартиру в рабочих домах и жили относительно сносно. Сносность эта, разумеется, определяется по советским масштабам, а не по европейским. Это означает, что семья такого мастера в 3 - 4 человека имела комнату и кухню, а в 5 - 6 человек — две комнаты с кухней. По европейским масштабам — это стандарт жизни очень низко оплачиваемого рабочего.

Что же касается остальной массы рабочих, то она ютилась, либо в обычных перенаселенных коммунальных квартирах, либо в допотопных лачугах на окраинах города. Последним даже отдавалось предпочтение, ибо там можно было тайком завести пару куриц или гусей, без опасности быть обвиненным в «мелкобуржуазном уклоне» и «измене социализму«.

Сгоняемые же перед войной, в огромном количестве, новые рабочие из деревень обитали в наскоро сколоченных бараках, которые отличались от нацистских загонов для иностранных рабочих, лишь отсутствием колючей проволоки.

Но может быть и то, и другое искупалось хорошей оплачиваемостью рабочих, позволявшей им хорошо питаться, одеваться и экономить на черный день? Нет, не было и этого.

Когда из заграничной дали я думал о советской жизни, то мне почему то казалось, что там все классы обнищали за счет рабочего класса и последний, олицетворяя собой диктатуру пролетариата, перенес на свой текущий жизненный счет все блага, которых в свое время лишились другие классы.

Однако, попав на русскую землю, а особенно в рабочий город Днепропетровск, мне стало ясно, что в этом отношении я был жертва большевистской пропаганды, неустанно твердивщей о «победе рабочего класса» и о замечательных для него последствиях этой победы. Познакомившись же как следует с бытом днепропетровских рабочих у меня не осталось никаких сомнений в

том, что никакой диктатуры пролетариата не существует, а есть жесточайшая полицейская диктатура коммунистической партии. И в условиях этой диктатуры русский рабочий стал таким же нищим и бесправным парием, каким стали крестьянин и городской интеллигент, с той лишь разницей, что это обстоятельство для русского рабочего должно быть много горше, ибо никто не сделал столько для победы большевистской партии сколько сделал он.

Если голая нищета советского рабочего кричит о себе из их бедных жилищ, из отсутствия многих необходимых бытовых мелочей и потрепанной одежды, то причины этой нищеты выясняются при первых же разговорах с самими рабочими.

Несколько раз я бывал в гостях у Алексея Максимовича. Это человек лет пятидесяти пяти, старый екатеринославский рабочий, прекрасный слесарь. Он не только — тезка Горького, но своими усами, прической и пытливым взглядом глубоко сидящих глаз и внешне несколько похож на знаменитого пролетарского писателя. Правда на этом его сходство с Горьким и кончается. И тогда остается лишь — разница. А разница между ними оказалась немалая. Писатель Алексей Максимович Пешков Горький борясь, якобы, за лучший достаток русского рабочего, стал в советское время миллионером. А руский рабочий Алексей Максимович, старый слесарь днепропетровского завода, за это время впал в такую нищету, в сравнении с которой даже его невеселая жизнь до революции стала казаться ему верхом благоденствия.

— Цифры, конечно, вещь хорошая, — говорил мне Алексей Максимович, — а только на одних цифрах далеко не уедешь. У нас тут все доклады разные читали и доказывали, что при советах рабочий стал лучше жить, чем при царе. И цифрами так и сыпали, как из рукава. А только я не так понимаю. Это верно, что при царе я зарабатывал тридцать рублей, а при советах стал получать — триста. А толку то что с этого? Я тогда за пару сапог десять рублей платил, а при советах их и за триста не достанешь. Набор на рубаху мне тогда целковый стоил, а при советах изволь за это де-

ло тридцать рублей выложить и то будет мало. А хлеб? До революции я его за пятачек имел, а после нее — восемь гривен выкладывай.... Вот они цифры то!....

Язык цифр услышанный мной от Алексея Максимовича, опять таки, говорит о том статистическом мираже, о котором я упоминал описывая жизнь советских колхозников и который создавала партийная пропаганда для того, чтобы убедить крестьян и рабочих в том, что при советской власти им жить стало много лучше.

И, разумеется, находились тысячи и тысячи доверчивых людей, особенно из числа молодежи, которые легко попадались на эту шуллерскую уловку и видя свое безрадостное житье на триста рублей в месяц, с ужасом думали о страшных царских временах, когда рабочий должен был обходиться тридцатью рублями в месяц.

Эти наивные люди совершенно не учитывают того, что при вычислении сравнительного дохода рабочего до революции и после нее, необходимо различать н о м и н а л ь н у ю и р е а л ь н у ю заработную плату. Первая выражается в денежном исчислении, т.е. в рублях получаемых данным рабочим, а вторая — в натуральном исчислении, т.е. в количесте товаров, которые на эти рубли можно купить.

Большевистская пропаганда утверждая, что материальное положение рабочих в СССР непрерывно улучшается, в качестве доказательства приводит рост номинальной заработной платы, умышленно умалчивая о плате реальной. Средняя номинальная заработная плата русского рабочего в 1913 году была 24 рубля 30 копеек. (Ленин, соч. том 16, стр. 96). Таже средняя плата советского рабочего в 1937 году исчислялась в 288 рублей 25 копеек (Сталин, доклад на 18 съезде партии).

Таким образом, средняя номинальная плата русского рабочего выросла за это время в десять раз, Из этого обстоятельства партийные шуллера не прочь сделать фальшивый вывод, а именно — что советский рабочий живет в д е с я т ь раз лучше рабочего царских времен.

Между тем, за этот же промежуток времени реальная заработная плата рабочего уменьшилась примерно

в двадцать раз, ибо именно в такой пропорции вздорожала рыночная стоимость всех товаров, начиная от хлеба и кончая сапогами.

Вывод и тут совершенно ясен и он говорит о том, что советский рабочий живет в два раза хуже, нежели жил до революции царский рабочий.

Однако, злоключения русского рабочего при советской власти не ограничились ухудшением его материального положения. До революции рабочий был прежде всего свободным человеком. Если ему не нравилась работа в одном месте, он переходил на другое. Закон о закреплении рабочего за местом работы, введенный большевиками, превратил его в обыкновенного крепостного советской власти. Введение платы за право обучения в высших учебных заведениях лишило фактически рабочего дать высшее образование своим детям, ибо платить ему за это нечем. И, наконец, драконовский закон об опоздании на работу, предусматривающий за это ссылку в концлагерь, окончательно пре вратил советского рабочего в механическую деталь без душной советской государственной машины.

Пресловутое стахановское движение, большевистская пропаганда пытается представить, как «небывалый творческий подъем трудящихся масс», желающих этим, якобы, доказать свою любовь к советской власти и восторг перед сталинскими пятилетками.

— Стахановщина с того и пошла, — говорит мне Алексей Максимович, — что ребята не могли прожить на свою зарплату. Ну, и давай, в погоне за премиями, вырабатывать по две - три нормы в день. Раньше такая работа «аккордом» называлась, а теперь зовется стахановщиной. А цель все одна: — побольше выжать из рабочего. Только и разница в том, что аккордную работу коммунисты ругают и называют ее эксплоатацией, а стахановщину хвалят. Хорошее, мол дело ребята, трудись до седьмого поту! Одного на сто тысяч в депутаты выберут и орден дадут, а остальные — наживай дальше чахотку!....

— А вы стахановцем не были? — спрашиваю Алексея Максимовича.

— Слава Богу, не приходилось, — отвечает он.

— Как же вы сводили концы с концами?

— Да кое как сводили, — говорит Алексей Максимович, глядя на меня поверх старомодных очков в железной оправе, — нас только двое, да к тому же старуха моя большая рукодельница, прирабатывала кое что на дому....

— А вы? — спрашиваю его соседа, пришедшего тоже потолковать с заграничным человеком.

— Он тоже не был, — отвечает за него Алексей Максимович, — он у нас вообще капиталист, — добавляет он и смеется, как бы предвидя дальнейшее развитие разговора.

— Как капиталист? — удивляюсь я.

— Да, какой там капиталист, — смеется в свою очередь сосед, — просто племянник у меня в Америке живет. Еще с двадцатого года. Вот он мне и помогал понемногу, а меня за это капиталистом величают....

— А, что же он делает в Америке? — интересуюсь я.

— Да, знаете, последние годы, — с заминкой говорит сосед и я вижу как за стеклами очков весело улыбаются глаза Алексея Максимовича, — последние годы он был безработный.

— И тоже помогал? — с удивлением спрашиваю я.

— Помогал, — подтверждает сосед, — у них, знаете, там крепкий закон насчет безработных. Каждый из них получает от государства пенсию. Вот из этих денег он мне и присылал по несколько долларов.

— Так это ж на рубли не так много выходит?...

— Зачем на рубли? — отвечает он, — я за эти доллары из Торгсина дефицитный товар получал, а потом его продавал - «налево». Другой раз это как вторая зар плата получалось.....

Много уже мне пришлось увидеть и услышать примечательного на моем пути по родным пределам. Но рассказ рабочего социалистического государства о том как ему помогал сводить концы с концами его безработный племянник из капиталистической Америки показался бы мне анекдотом, если бы мои собеседники не подтвердили свои слова несколькими письмами от заокеанского племянника, из содержания которых я увидел, что их рассказ — сущая правда.

Советская власть во все стороны человеческого бытия внесла свои коррективы. Оказывается, что этих корректив не избежал и вековой сон о знаменитом «американском дядюшке». В доброе старое время многим нашим соотечественникам часто снился — богатый американский дядюшка. В советское время героем этого сна стал — безработный американский племянник.

— А что же вам все таки дала советская власть? — спросил я как то Алексея Максимовича.

— Да я и сам не раз думал об этом, — отвечал он, — и никак не мог додуматься. Разве, что, — улыбнулся он, — билет иногда в театр, оперетку смотреть, давали мне бесплатный. А только к чему мне этот билет? Мне дайте хороший обед, хорошую одежу, хорошую квартиру, а уж билет в театр я как нибудь и без них куплю.....

Потом мне довелось повидать в Днепропетровске и стахановцев. Одного из них я запомнил на всю жизнь.

Перед домом одних моих знакомых я увидел как то нищего - слепого. Он медленно растягивал потрепанную гармонь и печальным, хриплым голосом тянул грустную мелодию:

».... Прощай сказала, сама побигла
туда, где плывуть корабли,
упала в воду и все затихло,
нашла притулище соби.....»

Знакомые объяснили: это бывший рабочий. Стахановец. Перевыполняя нормы — потерял зрение. С тех пор ходит по дворам с гармонью. Я подумал сначала, что его выгнали на улицу условия жизни под оккупацией, неполучение пенсии, голод. Мне сказали, что он, время от времени, приходит под этот дом уже года тричетыре. А как же социальное страхование? Пенсия? Мне объяснили, что все это он, разумеется, получал, но жить мог на это одну - две недели. Остальное — покрывала гармонь.

Несчастный слепой стахановец, перешел на другую мелодию. Более веселую. Но звучала она еще более грустно. Маленькая девочка собирала, бросаемые из окон советские рубли. На них изображен другой стаха-

новец. Здоровенный, веселый и.... зрячий. По крайней мере зрячий — физически.

Однако, можно с уверенностью сказать, что среди советских рабочих все больше и больше становится и зрячих духовно. Многие из них уже хорошо поняли, что они сделали для советской власти и, что советская власть сделала для них. Лучшим доказательством этому служит то обстоятельство, что несмотря на все строжайшие приказы об эвакуации, огромное большинство днепропетровских рабочих, в дни войны, осталось на своих местах. Они остались в ожидании того, что война принесет с собой великие перемены и для всей страны и для рабочего класса. Их надеждам, на этот раз, не суждено было сбыться. Но это не значит, что они не будут столь же терпеливо ждать этих перемен в будущем. И нет никакого сомнения в том, что когда будет дан сигнал, большинство из них, вопреки приказам советской власти, снова окажется по другую от нее сторону.

И когда поезд, унося меня из Днепропетровска, полз снова мимо кирпичного леса заводских труб, в моей памяти еще раз проплыли: старый слесарь Алексей Максимович, и похожий, и не похожий на Горького его сосед, рабочий социалистического государства, завидовавший судьбе своего безработного американского племянника, слепой стахановец с гармонью и грустными песнями и весь, копошащийся у этих труб, рабочий люд, вынесший на своих плечах революцию, гражданскую войну, индустриализацию и получивший в награду за это — нищету, полуголодное существование, крепостное рабство и..... бесплатный билет в опереточный театр.

XV

ПОЕЗД ИДЕТ В КРЫМ. СИМФЕРОПОЛЬ. К ЧЕРНОМУ МОРЮ.

Старожилам никогда нельзя верить. Об этом правиле я позабыл, когда послушался днепропетровских друзей и сошел в Синельниково, для пересадки на симферопольский поезд, именно на том вокзале, который они мне указали. Оказывается поезд шел как раз с другого вокзала. Результатом этого была безсонная ночь в Синельниково и знакомство с вокзальным сторожем Прохоровым. Первое оказалось столь же неприятным, сколь занятным — второе.

Прохоров увидел меня в зале ожидания, где, среди спящих, вповалку, на полу людей, я одиноко сидел на краешке чемодана. Опытным глазом старого железнодорожного волка он сразу выделил меня, как нездешнюю залетную птицу. Хотя сейчас, после дорожных скитаний, сделать это не так просто. Непромокаемый плащ мой давно уж так обтрепался, что днепропетровские милиционеры, говоря со мной, перешли на «ты», принимая меня, очевидно, за «своего«. А к "своим», как я мог уже не раз убедиться, элементарные правила вежливости, блюстителями порядка, применяются здесь не всегда. Но милиционеры не видели моего чемодана, с пестрыми наклейками европейских отелей, а Прохоров его заметил. И сразу же спросил — не из заграницы ли я еду? И получив на это утвердительный ответ, принес сначала стул мне, потом—себе и под неровный аккомпанимент людского храпа, поведал

мне о своей несложной, но единственной в своем роде жизни.

Прохорову — шестьдесят восемь лет. У него красное, морщинистое лицо, с неопределенной формы усами. Он маленький и говорливый. Из шестидесяти восьми лет своей жизни, он — пятьдесят прослужил железнодорожным стрелочником. Лишь года два назад он получил более спокойную должность вокзального сторожа. За всю свою жизнь он один раз был в Киеве и два раза в Харькове. Летом — в рубахе, зимой — в бараньей шубе, выходил Прохоров втечение пятидесяти лет к своей стрелке и переводил ее на нужное направление.

Какие только поезда не прошли мимо него за это время? Кто только в них не проезжал.... Он пропускал особые поезда Александра 111, Николая 11, Столыпина, Троцкого, Деникина, Сталина, а уж об остальных сотнях особых поездов он вспоминает вскользь, с оттенком пренебрежения. Мимо него безшумно пролетали сигарообразные пульмановские вагоны и со скрежетом ползли красные товарные коробки. В них проносились мимо него и блестящие мужи Империи и вшивое людское месиво времен гражданской войны. Шли эшелоны на японскую войну и на войну мировую. Красные ехали навстречу белым, белые — красным. Упитанные наркомы мчались в Крым и на Кавказ, — висели на буферах несчастные граждане СССР. А теперь мимо него проходят поезда с германскими солдатами («это уже второй раз», — философски замечает Прохоров) и впервые с румынскими и итальянскими.

В этих поездах полвека мимо Прохорова проносится история. История величественная и трагическая, жестокая и неуклонная. А он, равнодушный к ней, все поворачивает стрелку. И он, вероятно, не подумал о том, что он, маленький, никому неизвестный Прохоров, поворачивая стрелку, мог повернуть и историю. Объясняю ему свою мысль и в ответ на его проклятья по адресу коммунистов, насоливших чем то и ему, спрашиваю полушутливо почему он не пустил особый поезд Сталина под откос?

— Да, что ж, — отвечает он, — это не наше дело. Это

пусть другие делают. А наше железнодорожное дело точность любит. Уж кто там не едет, а мы должны в аккурат сделать. А потом, разве, мы знали, когда он са мый то едет? На другой день только и узнавали. Это не то, что царский поезд, — там за три дня наперед знали....

Под утро Прохоров принес даже чайку — «малость разогреться». А потом посадил меня на поезд и долго махал вслед заскорузлой рукой. Рукой, которая могла повернуть ход истории, а поворачивала только стрелку.

Запорожье, Мелитополь, Ново - Алексеевка.... Поезд идет в Крым... И при этих словах я вспоминаю то, что на моем месте должен был вспомнить каждый русский человек.

Я вспоминаю Белую армию.

Не помню кто сказал, что если бы не было Белого Движения, то это легло бы несмываемым позором на Россию. Ибо, это значило бы, что огромный народ с тысячелетней историей, блестящей интеллигенцией и доблестным офицерством, без малейшей попытки к сопротивлению, отдал себя во власть международным проходимцам. Быть может забытый автор этих слов выразил свою мысль иначе, но смысл ее был таков. И Белая армия этот позор смыла. Смыла своею кровью.

Я не вспоминаю ее сейчас в каком либо историческом преломлении. Но сегодня, спустя двадцать три года, проезжая снова по полям, обильно политым кровью лучших ее представителей, я не могу не вспомнить те дни, которые были связаны неразрывно с нею.

Я вспоминаю нарядные толпы народа в Киеве и Одес се, дождь цветов, сыпавшихся на головы вступающих в город добровольцев, обязательный молебен на главной площади и трехцветные флаги на балконах домов. Я вспоминаю моих друзей кадет и гимназистов, марширующих в защитных гимнастерках, с разноцветными погонами, в примятых «обстрелянных» фуражках, звонкими голосами поющих:

«....Смело мы в бой пойдем,
за Русь святую,

и как один прольем —
кровь молодую ....»

А затем я вспоминаю те же защитные гимнастерки, с почерневшей дырочкой посередине, густо напитанные кровью. Той молодой кровью, которую они обещали пролить и которую пролили. И потом.... Потом беспорядочные погрузки на пароходы, под шрапнельными очередями, в черноморских портах и уход от родных берегов, которых многим суждено было не увидеть больше никогда. В чем дело? Почему так случилось?....

— Эх, почему белые тогда не победили? Ничего бы этого не было.... — говорили мне не раз теперь и в городах, и в селах

— А почему вы их не поддержали? — вопросом на вопрос отвечал я.

— Да мы не знали, за что белые дерутся, — обычно отвечали мне.

«Глас народа — глас Божий», — говорили в старину. Они не знали за что белые боролись. Вот поэтому и шрапнельные очереди и погрузка на пароходы. В зарубежных изданиях, посвященных гражданской войне, привилось красивое выражение — «рыцари белой идеи». Оно правильно лишь наполовину. Рыцари были, а вот идеи то — не было. «Против большевиков» — это еще не идея. Народ, который должен быть втянут в борьбу, должен знать не только против кого он борется, но и за что он борется. После разочарования двадцатого года, было много времени для раздумий по этому поводу. И когда настанет время снова — поднимать русский народ на борьбу с большевизмом, это обстоятельство должно быть учтено как следует.

Что знают здесь о Белой армии, как ее вспоминают и какое к ней отношение? Много раз по дороге я получал ответы на эти вопросы. Белую армию здесь хорошо знают и помнят. И вспоминают ее хорошим словом с оттенком сожаления (почему не победили?). Хорошее, более чем теплое отношение и героический ореол сложились тут вокруг Белой армии. Эти чувства выросли на ненависти к большевикам и, значит, естественно вызвали духовную тягу к белым, как к их анти-

поду. Но есть и другое. Это тысячи невидимых родственных нитей, связывающих до сих пор многих живущих «здесь» с находящимися «там«. Почти в каждом доме приходится слышать одни и те же вопросы: — «а такого то заграницей не встречали? Это мой брат....» «А не знаете ли жив такой то? Это мой дядя....» Если миллион человек, связанных с Белым Движением, покинули когда то родину, то это, по крайней мере, — три - четыре миллиона оставшихся тут родственников и свойственников.

Но не одни родственники и свойственники остались тут от Белого Движения. Остались тут и активные участники его и чем дальше на юг, тем чаще они встре чаются. В Пскове я встретил — одного. В Киеве и Днепропетровске — около двадцати.

Как они остались? Большинство — из числа раненных и отставших во время отступления. Но встречал я и таких, кто не получив места на пароходах, прятались в горах пока им не удалось выбраться из Крыма. Свыше трех тысяч из них, после объявленной большевиками амнистии в 1921 году, сошли с гор и явились новым властям. Через несколько дней после этого, все они до одного были расстреляны на окраинах Симферополя. Очевидно, привившееся зарубежом представление о идеально проведенной крымской эвакуации нуждается в серьезных поправках.

На каком то полустанке, не доезжая Мелитополя, в мое купе входит железнодорожник. Он садится против меня. Ему лет под пятьдесят. Широкое лицо с маленькими живыми глазами. Шрам через всю щеку делает его более суровым, чем оно должно было быть. На правой руке только три пальца. Закуриваем и разговариваем. Узнав, кто я — щурит глаза и показывает руку с тремя пальцами.

— Под Каховкой рубанули, ваши, белые. В двадцатом годе. Жарко тогда было, что и говорить!.... И он весело щурясь, рассказывает подробно, как сражался в рядах конницы Жлобы.

— Идейно воевали или по мобилизации? — спрашиваю я его.

— Идейно, — уверенно отвечает он. — Идейно, мать

его растак, — вдруг неожиданно добавляет он.

— А, что так?....

Машет рукой, уже знакомым безнадежным жестом.

— По пустому дрались то, вот что! Как есть по пустому. Обернули нас коммунисты вокруг пальца. Одно слово — обманули. Вот что!...

Он выходит, где то за Мелитополем. И на прощанье еще раз говорит:

— Кланяйтесь там вашим. Так и скажите, что по пустому все было! Здря!.....

Я обещаю передать это даже печатно, но сам думаю, что если вставлю этот эпизод, то он может показаться нарочито притянутым именно в эту главу, в которой — поезд идет в Крым. Но это же было. Вон широкая спина железнодорожника, вымазанная чем то белым, скрылась за поворотом. А поезд трогается и идет дальше. Поезд идет — в Крым.

После Мелитополя вагон пустеет и через унылые ногайские степи я еду впервые один в купе. Уже глубокая ночь, когда поезд, замедляя ход, вползает на Чонгарский мост, а затем по узенькой полоске суши медленно переходит на полуостров. С Сиваша тянет насквозь пронизывающей сыростью. В вагоне, с выбитыми окнами и незакрывающимися дверьми, холодно как в степи.

В Джанкое пересадка и целое утро надо провести там. Тот же маленький, старенький вокзальчик, так хорошо знакомый тысячам людей, во времена граждан ской войны, проехавшим тут с надеждой и отчаянием. В бывшем вокзальном ресторане теперь — зал ожиданий. Стены облезлые и грязные. Рядом с центральной люстрой — три дырочки от пуль в потолке. Мне не хочется верить, что вокзал этот с 1920 года ни разу не ремонтировался, но после всего уже мною виденного могу поверить и этому. И тогда, естественно, приходит в голову вопрос: — кто же выпустил эти пули в потолок? Загулявший хорунжий Дикой дивизии? Или какой нибудь всадник первой Конармии?...

Перед вокзалом масса татарских мальчишек с ящиками и сапожными щетками. Перед каждым желающим почистить ботинки они устраивают свалку. Тут

же стоит тачанка. Это единственный способ передвиже ния в Джанкое. Старенький возчик, тощая лошаденка и дряхлая повозочка с пучком соломы вместо сидения:

«...Эх, тачанка, ростовчанка,
наша гордость и краса,
пулеметная тачанка,
все четыре колеса!...

Откуда ты сюда попала? Уж не из обоза ли легендарного батьки Махно? По каким дорогам не скрипели твои колеса?...

Ясным солнечным утром отходит поезд на Симферополь и через два часа я уже там.

Симферополь — маленький, необыкновенно уютный городок, выросший среди однообразной крымской степи, внешне мало изменил свой облик. Он только одряхлел и ссутулился. Но это уже общая судьба всех русских городов и постепенно глаз к этому привыкает. Если старый симферополец приедет в свой родной город, то начиная от старого, какого то полудачнаго вокзальчика с деревянными пристройками и кончая, выражаясь по старинному, выездными заставами к Севастополю и Алуште, он найдет мало перемен, которые бы сразу бросились в глаза.

Он с грустью постоит у места, где был, снесенный большевиками, кафедральный собор, а теперь разбит чахлый пионерский садик, с удивлением заметит, что вместо знаменитого симферопольского базара, ныне зияет пустое место с торчащими основаниями какого то фундамента, обойдет еще несколько пустырей, где когда то стояли незамысловатые церковушки и это все, что остановит его внимание.

Второй приз на последней всероссийской сельскохозяйственной выставке перед революцией, был присужден симферопольскому базару. Крымцы старшего поколения еще хорошо помнят этот, действительно, богатейший по количеству товаров и особенному колориту южный рынок. В годы советской власти он стал чахнуть, как чахло все в этом необыкновенном государстве. После коллективизации это место, одно из са-

мых красочных в стране, представляло собой серенькую и жалкую картину. Несколько рядов торговцев и торговок, сидящих на земле. Перед ними несколько картошек, яблок или кисть винограда. Это означало, что у них имеется такой товар. Покупатель приценивается, затем идет с продавцем куда то через улицу, где в каком то конспиративном дворе или подвале сложено некоторое количество нужного товара.

С симферопольского базара сначала исчезли горы фруктов, рыбы, мяса и овощей. Огромные каменные здания базара, в которые можно было поместить все население города, были снесены и на этом месте решено было построить татарский театр. Величественный проект этого театра долго красовался в горсовете, возбуждая горделивые чувства у любовавшихся им граждан. Наконец, в один прекрасный день, председатель Крымской АСР, под звуки интернационала, заложил первый камень в фундаменте будущего театра. Затем произошло так хорошо знакомое всем гражданам социалистического государства. Другими словами, театр этот выстроен не был и втечение долгих лет велась нудная бюрократическая переписка между всевозможными госучреждениями.

Впрочем, вокруг этой стройки шла не только нудная переписка. Вокруг нее происходила и невиданная в хозяйственной жизни современных государств оригинальная свистопляска. Об этом мне рассказывал один из членов комиссии по постройке этого непостроенного театра. И все это настолько любопытно и настолько характерно для абсурдной системы социалистического государства, что этому нельзя не посвятить двух десятков строк.

Для возведения всякого здания, как известно, прежде всего нужны кирпичи и цемент. Комиссия обращалась в соответствующий трест с просьбой поставить и то, и другое. Трест этот отвечал, что кирпич и цемент у него имеются, но, что он их поставит только в том случае, если ему достанут строительный лес, которого он не может добиться уже два года. Ошарашенные члены комиссии отравлялись в другой город в поиски за строительным лесом. После долгих мытарств они та-

ковой находили, но трест, владевший этим лесом, наотрез отказывался отпускать его за деньги, а только в обмен на электрические пилы, которых он ждет на дождется уже втечение трех лет. Неутомимые члены комиссии ехали дальше в поисках электрических пил.

Люди, ведавшие постройкой театра в Симферополе, колесили по всей Европейской России, появлялись на Урале, переваливали через него. Бездна денег уходила на прогонные, суточные, на подарки и ужины директорам трестов. Тратились годы на эти скитания по тернистому и ухабистому пути нелепой и преступной социалистической хозяйственной системы.

Эти злоключения комиссии по постройке столичного театра в Крыму напомнили мне то, как в военные годы в Европе обыватель добывал себе пару ботинок или брюки и как для этого надо было произвести сложнейшую коммерческую операцию: сначала достать масло, потом обменять его на коньяк, коньяк превратить в сигареты, сигареты еще во что нибудь и, наконец, добраться до нужных ботинок или брюк.

Эта сложная операция производилась в Европе, в условиях войны и блокады, все же в каких то семейных масштабах. В практике социалистического государства подобные же зулусо - бушменские торговые комбинации надо было проводить в мирное время и в масштабах далеко выходящих из понятия семейных.

Удивительно ли после этого то, что за пять или шесть лет работ по постройке злополучного симферопольского театра, с грехом пополам, удалось заложить лишь один фундамент?

За годы советской власти в Симферополе (вернее близь него) было выстроено четыре консервных завода. Эти заводы и поглотили все богатство крымских базаров. Но это богатство не вернулось в обработанном виде назад к жителям Крыма. Не обогатило оно домашний стол и прочих граждан СССР. Оно куда то исчезало. Куда — на этот вопрос, быть может, когда нибудь дадут ответ архивы центральных хозяйственных учреждений в Москве. Или — иностранного отдела НКВД, выписывавшего ордера на выдачу «иностранным центрам» компартии не только валюты, но и

целых пароходов, груженых добром советских граждан.

Так это или не так, но во всяком случае, жители богатейшего Крыма в мирное советское время испытывали затруднения во всем и никогда не были уверены в завтрашнем дне. В Ялте, например, вдруг появлялись откуда то горы персиков. Ялтинцы не были в состоянии их поглотить, а дальше их не везли. И персики начинали гнить. Тогда симферопольцы, евпаторийцы, керчане с мешками в руках стекались в Ялту за персиками.

Разумеется, персики — роскошь. Буржуазный предрассудок. А сахар? Мука? Соль? Тоже — предрассудок? Но и за этим предрассудком тоже, вдруг, как по команде, феодосийцы устремлялись в Симферополь, симферопольцы в Евпаторию, а евпаторийцы в Херсон.

Иногда с этой хозяйственной разрухой пытались бороться. Приезжали комиссии из Москвы. О чем то совещались. Что то выясняли. Сменяли каких то должностных лиц. И забывали о главном: — что сменять надо не людей. Уже давно пора сменить — систему.

Улицы города оживлены. И толпа здесь несколько живее, чем в областях севернее Крыма. Наряду с русскими лицами, мелькают характерные татарские головы. А часто и помесь этих двух рас, помесь интересная и оригинальная. Улицы Симферополя, как и в других городах, были заново окрещены большевиками и носили имена всевозможной интернациональной накипи на невкусном вареве октябрьской революции. От коммунистического апостола и пророка Карла Маркса до почтенного дегенерата и садиста товарища Бэла Кун.

После ухода большевиков, городское управление вернуло всем улицам прежние названия. Всем — кроме одной. Этой одной была — Дворянская улица, ставшая на время оккупации — Таврической. Это характерно. В комиссии и в голову никому не пришло сохранить за ней ее старое название. Слова «дворянин», «дворянское« — исчезли из быта без следа. Молодежь знает, что раньше были какие то дворяне и дворовые, но путает оба эти понятия. Старшее поколение употребляет эти слова только в юмористической форме. В тот

день, когда несколько не очень умных дворян вынудили у последнего царя подпись об отречении, они этим самым убрали из под себя стул на котором сидели долго и удобно. Убрали и полетели в пропасть. Падение было неприятным, но логичным. Юмористический оттенок слова дворянин — грустная, но заслуженная кара, когда то могущественному сословию, много положившему труда для создания той страны, в которой теперь слово — дворяне — произносится только шутливо.

Впрочем, в утешение российскому дворянству надо заметить, что оно в социалистическом государстве все же оставило после себя внушительный след. В каждом советском городе стоит памятник российскому дворянину — Владимиру Ильичу Ульянову — Ленину. Кепка и помятый пиджачишка Владимира Ильича вводят в заблуждение трудящихся всего мира и девяносто девять процентов из них не имеют понятия о том, что вождь мирового пролетариата совсем не пролетарий, а потомственный дворянин Российской Империи.

«Рыба воняет с головы», — говорит народная мудрость и не своеобразным ли объяснением всей гнилостности социалистического государства, является то обстоятельство, что оно было гнилым еще с самого своего основания. Ибо, трудно признать здоровым и нормальным то явление, что основоположником первого социалистического государства был как раз представитель того буржуазного класса, ради уничтожения которого и родилось это самое социалистическое государство.

Во всяком случае оригинальная сцена, как недоучив шийся богослов Джугашвили — Сталин, никогда в своей жизни не державший в руке ни серпа, ни молота, никогда не носивший почетного звания «крестьянин» или «рабочий«, клянется у открытого гроба потомственного дворянина Ульянова — Ленина в верности идеалам рабочего класса, еще найдет своего Джонатана Свифта или хотя бы Козьму Пруткова.

В Симферополе — крестьян нет. Рабочих — очень мало. О нищенском существовании первых я уже писал. О жалком быте вторых — тоже. И я думал — кто

же в этой стране «снимает пенки с октября?» Быть может представители административного аппарата?

В Симферополе — административном центре Крымской Автономной Республики много советских госучреждений. Я пишу «советских», ибо почти все они остались на время оккупации на своих местах, а с ними и служащие. И теперь я хорошо знаю в каких жутких условиях приходилось им работать.

Посещая присутственные места заграницей, мы привыкли к большим зданиям, широким корридорам, паровому отоплению, светлым комнатам, в которых работают один - два, редко три - четыре человека. Я проехал, в сущности, вдоль всей Европейской России, от Пскова до Симферополя, но нигде ничего подобного не видел. Кроме военных штабов, отделений НКВД и крупных партийных учреждений, занимающих либо бывшие дворцы, либо новые здания, вся остальная масса советских служащих обречена на первобытные условия работы.

В больших полутемных комнатах, в которых часто уже с утра надо зажигать свет, сидят по десять, двадцать и тридцать служащих. Они выполняют самые различные функции. Поэтому вы одновременно слышите пулеметный стук пишущих машинок, кастаньеточные пощелкивания русских счетов, телефонные разговоры, причитанья просительниц и увещевания служащих. В этом несмолкаемом рокоте, в давке и тесноте проходит день советского служащего. Он сидит целый день в этом караван - сарае, за неудобным обшарпанным столиком, часто на табуретке, сидит с беспокойной мыслью — удалось ли жене получить сегодня в кооперативе селедки и не попал ли он ненароком в список подлежащих «чистке». За это он получает грошевый оклад, который с грехом пополам позволяет ему просуществовать три недели в месяце. А как он живет четвертую неделю? На это я слышу уже знакомый ответ: — «крутился......»

Казалось бы, что в государстве, где все принадлежит государству, административный аппарат должен был бы быть обставлен как следует. Но этого не было. Почему? Вопрос — праздный. Но так или иначе, нес-

частный, забитый «совслуж», как он здесь сокращенно называется, нищенски жил и каторжно работал только за право на эту каторгу и нищету.

В этих учреждениях — масса посетителей. После резкой встряски, вызванной войной и оккупацией, все перемешалось и подпрыгивает сейчас на житейском си те, стараясь сквозь свободную дырочку снова проскочить в жизнь. Кроме обычных в таких условиях посетителей, я встретил и одну необычайную разновидность просителя, которая могла народиться лишь в непроходимых джунглях марксистского государства. Это люди — желающие восстановить свои законные имя и фамилию, давно замененные для советских условий более удобными и подходящими.

С несколькими из таких клиентов я познакомился. Предположим, что чья то фамилия была Голицын или Крестовоздвиженский. Предположим, что первый был гвардейским офицером, а второй — священником. И то, и другое в двадцатом году (и в тридцатом, и в сороковом) в лучшем случае равнялось ссылке в концлагерь. И Голицын или Крестовоздвиженский, делались Клим чуком или Сидорчуком и для полного успеха мимикрии начинали заниматься сапожничеством, либо поступали в дворники.

Теперь прошло двадцать два года и такой клиент снова хочет носить свою законную фамилию Разумеется, ему в этом не отказывают. Но и получив свою ста рую фамилию он уже до конца дней останется какой то странной социально - бытовой разновидностью, порожденной нелепицей наших дней и ему самому трудно будет разобраться, где в нем кончается Климчук и начинается Голицын и наборот. Я встретил нескольких голицыных, которые уже на всю жизнь останутся климчуками, ибо последний почти без следа раздавил первого. Неужели, действительно, — «бытие определяет сознание?» Впрочем, довелось мне встретить и одного Голицына, который был двадцать лет дворником Климчуком, а потом снова стал Голицыным без малейшего климчуковского налета. Значит, все таки, — бытие не определяет сознания. Или во всяком случае — не всегда.

В Симферополе хочется остаться надолго. Но делать тут фактически нечего. Никакими новыми наблюдениями он не может одарить кочующего журналиста. Этот город такая же жертва советского безвременья, как и другие уже описанные мной.

В последний вечер симферопольская радио - станция предлагает мне прочесть что нибудь по радио В промежутке между татарским музыкальным ансамблем и «последними известиями» — читаю один из своих очерков. После выступления кассирша приносит гонорар — триста советских рублей. Сначала хочу великодушно отказаться, но смотрю на засаленные червонцы с портретом Ленина и соблазнительная мысль, что я за антисоветское выступление получаю советские рубли, заставляет меня принять гонорар. И по возможности сохранить его на будущее. Как редкий уникум в пестрой коллекции дорожных впечатлений.

На следующее утро машина уносит меня к Черному морю.

XVI

ТАМ, ГДЕ БЫЛ СЕВАСТОПОЛЬ. ТЕНЬ НАХИМОВА. НА ЮЖНОМ БЕРЕГУ.

Севастополь.... Сколько легенд, красоты, гордости и горечи связано с этим словом в душе русского человека.

Город русской славы, где когда то, втечение одиннадцати месяцев, русская армия, под трехцветным флагом, отбивалась от европейской коалиции. Где, не спуская андреевского стяга, погружались на дно военные корабли. Где адмиралы гибли в бою, телом своим прикрывая грудь матроса.

И город русского позора, где так недавно, беззащитным старикам — адмиралам привязывали к ногам ядра и бросали их за борт. Где, венгерский наборщик Бэла Кун тысячами расстреливал русских людей и грязным сапогом втоптал трехцветный флаг в грязь на Графской пристани.

Все эти мысли приходят мне в голову, когда автомобиль, миновав симферопольскую выездную заставу, выносит меня на севастопольское шоссе.

Несмотря на то, что со времени падения Севастополя прошло уже несколько месяцев, по сторонам дороги лежат груды испорченного военного материала. Мой спутник проезжал здесь на другой день после взятия Севастополя и говорит, что тогда эти груды, километрами, достигали высоты человеческого роста. Теперь они уменьшились, но, тем не менее, уже около часа мы

едем вдоль полей сплошь устланных поломанными танками, автомашинами, орудиями, пулеметами, зарядными ящиками и винтовками. С обеих сторон дороги — доты. Они вырублены в серых скалах и совершенно сливаются с окружающим. Их — сотни. Но надо напрягать зрение для того, чтобы отыскать глазами хоть один. По обеим сторонам дороги — огромные воронки от авиабомб. Срезанные начисто деревья. Сдутые с лица земли поселки. Вот один из них — Дуванкой. От него ничего не осталось. Только — остовы фундаментов убогих татарских лачуг. Но там уже копошатся люди. Лиловой змейкой вьется дымок. Поселок стоит на лысой горке, место это для жилья должно быть отвратительное и не осталось тут ничего, а люди, с кошачьей преданностью к насиженному месту, возвращаются именно сюда. Дымок за дымком и скоро здесь вырастет поселок. Жизнь, голая жизнь, повидимому, сильнее всего. Даже — смерти.

Проезжаем Камышловский мост. Машина все ускоряет ход. Скоро покажется Севастополь. И, впервые после Киева, подъезжая к новому городу я испытываю особое волнение: — слишком большое место занимает в русском сердце маленький город Севастополь. Почему то вспоминаю вычитанное на днях объявление в старой симферопольской газете «Красный Крым». Это объявление гласило: — «сегодня на Примбуле состоится гулянье. Будет играть музыка....». Примбуль —это Приморский бульвар. Ничего себе. Не надо обладать особым музыкальным ухом для того чтобы почувствовать всю пошлятину первого и всю прелесть второго .Ну, что ж Примбуль, так Примбуль.....

Машина делает резкий поворот, показывается синяя зазубрина Северной бухты и темная неровная полоска Черной речки. Мы останавливаемся у Инкермана. Вот они, знаменитые инкерманские штольни. Знаменитыми они стали в день падения Севастополя. И страшная слава, нависшая над этим местом, будет несмываемым кровавым пятном лежать на тех кто эту славу создал. Инкерманские штольни — это самая жуткая страница севастопольской эпопеи. В них находились два склада: шампанского и.... снарядов. Севастополь-

цы, число которых, по рассказам, колеблется от шести до десяти тысяч, прятались тут от бомбардировок. Воды для питья не было. Люди пили шампанское. На голодных людей шампанское действовало, вероятно, особенно опьяняюще. И мороз пробегает по коже, когда вдумаешься в это: тысячи голодных, измученных и..... подвыпивших людей. В день падения Севастополя партийное начальство города отдало приказ — взорвать находившийся в штольнях склад снарядов и умышленно, (что б не остались у немцев) не предупредило прятавшихся там людей. Несколько тысяч севастопольцев, главным образом, женщин, детей и стариков — взлетели в воздух вместе со снарядами и шампанским.

Мы стоим на пригорке напротив штолен и видим этот кошмарный подорванный холм, осевший от взрыва на три - четыре метра вниз. Сколько под ним похоронено человеческих жизней! Сколько нечеловеческого ужаса погребено здесь!

Рядом со штольнями—старинный монастырь, высеченный в скале. Там несколько пещер. Там давно уже нет ни одного монаха, но над пещерами вьется дымок. Значит там живут люди. По стертым каменным ступеням поднимаемся вверх. Над входом в пещеру приделана дверь, в пещере — лежит солома, стоит коза и сидит девочка с собакой. Собака недовольно ворчит.

— Белка, перестань, — говорит девочка.

Я принимаю их за беженцев из Севастополя. Но каково же мое удивление, когда я узнаю, что они живут в этой пещере уже пять лет. Пять лет — в сырой каменной пещере! Почему?

— Я не знаю, мамка знает, — говорит девочка.

Из соседней пещеры выходит «мамка». Зовут мамку —Настасьей. Она уборщица в Севастополе. Был у нее муж, работал в арсенале. Его расстреляли. «За политику» — говорит Настасья. А ей запретили проживать в черте города. Повидимому, настасьино пребывание в Севастополе считалось угрожающим безопасности Советского Союза. И она с дочкой, козой и собакой Белкой поселилась в пещере за городом. И живет здесь — пять лет. Вот и все.....

У одного из штатных трубадуров советской власти — Ильи Эренбурга есть книга. Называется она — «Испания». Несколько страниц этой книги, облитых желчью по адресу «феодальной Испании», повествуют о людях, живущих в пещерах в каких то испанских горах. Зачем автору понадобилось ездить в Испанию? Ведь он наверно гулял по Примбулю? В белых штанах и под музыку? От Примбуля до этой пещеры каких нибудь три километра. Это гораздо ближе Испании. И он бы увидел тут гражданку социалистического государства — Настасью, с дочкой, козой и собакой Белкой. Двести строк в «Известия»? Или в «Правду«?!

За Инкерманом автомобиль делает еще один поворот и останавливается на возвышении, с которого хорошо видно то место, где.... был Севастополь.

Свежий морской ветер играет голыми ветками акаций на Историческом бульваре. Он набегает с моря, пролетает мимо Малахова кургана, поднимает пыль с беспомощно лежащих развалин города и исчезает, где то за горкой с легендарными севастопольскими редутами. Он приносит с собой тот особый запах моря, Черного моря, который заставляет каждого, раз вдохнувшего его, уехать отсюда с единственной мечтой — вернуться когда нибудь сюда навсегда.

Морской ветер чуть слышно шевелит ветками акаций. И он, и акации понимают, что шуметь сейчас не время. Слишком много человеческого шума было недавно в этих местах. А может этим тихим шелестом они служат какую то свою, известную только им, бессловесную панихиду по рабу Божьему — Севастополю.

По крутому подъему Исторического бульвара мы медленно поднимаемся в гору. Тут и там зияют огромные воронки от тяжелых снарядов и бомб. С корнем вырванные деревья беспомощно висят на своих уцелевших соседях. На верхушке одной акации нелепо раскачивается раскрытый противогаз. Вдоль аллей и дорожек валяются кучи неиспользованных снарядов, пулеметных лент, патронов и ручных гранат. Дыхание смерти пронеслось над Историческим бульваром. Оно витает здесь и сейчас: — вокруг виднеются де-

сятки табличек — «осторожно, неразорвавшаяся бомба».

На одной из площадок — статуя Ленина. От нее осталась одна нога. Из ноги торчат кверху проволочные обгрызки. На них раньше держались голова и руки. Снаружи — гипс, внутри — пустота. Эти люди даже своих идолов не могли увековечить по настоящему. Мой спутник рассказывает, что как то перед войной, на одном из гипсовых заводов Донбасса, он видел пять тысяч, вот таких самых, гипсовых пустышек, заготовленных впрок. Серийное производство низкокачественных Ильичей. Это имело свой резон. От дождя и ветра, эти гипсовые идолы очень скоро оставались без носа и ушей. Надо было ставить новые.

Поднимаемся по дорожке еще выше и перед нами —памятник Тотлебену. Это — памятник Империи. Это не гипсовая ерунда ширпотреба. Вылитый из бронзы стоит он, огромный и величественный, десятилетиями. Осколком разорвавшейся бомбы, как ножем, срезало голову статуи. А другим осколком, так же аккуратно снесло голову одному из солдат на барельефе памятника. В ту давнишнюю оборону Севастополя командир сложил свою голову в бою наравне с простым солдатом. И в этой обороне он снова сложил ее вместе с ним, но на этот раз лишь.... с бронзового памятника. Не хотел ли сам Рок символически указать этим на вечный позор партийной верхушки сбежавшей из сдающейся крепости и бросившей сто тысяч бойцов в безъисходном тупике Херсонеса? ...

С горки Исторического бульвара виден весь Севастополь. Или, вернее, то место, на котором он был. На подобие раскопанных остатков Помпеи, внизу расстилается новая панорама Севастополя. Целые ряды домов, целые кварталы, словно скошенные снопы, беспорядочными скирдами лежат вдоль улиц. Пыль, поднимаемая с развалин, тихо колышется в воздухе и создает полное впечатление дымящихся остатков города, погибшего в результате какого то страшного подземного катаклизма.

Смотрим еще раз на бронзовую громаду Тотлебе-

на, проходим мимо левой ноги Ильича, спускаемся в город и мимо лежавших вповалку мертвых домов идем к Нахимовской площади.

Нахимовская площадь.... Конечно, она должна быть в Севастополе. И она была. «Была» — ибо большевики давно переменили ее название и дали ей имя Ленина. На этой площади стоял когда то замечательный памятник. Памятник гордости русского флота и русского народа — адмиралу Нахимову. Памятник Нахимову, «царскому золотопогоннику и врагу народа», большевики снесли. Несколько лет бронзовая статуя знаменитейшего русского моряка и безупречного командира валялась во дворе Исторического музея. Подметальщики двора присаживались иногда на нее для того, чтобы отдохнуть и скрутить цыгарку. Потом им пришлось искать другое место для отдыха. Статую адмирала куда то уволокли. Оказывается ей нашли другое применение. На бывшей площади Нахимова решено было поставить монументальный памятник Ленину. Однако, в Советском Союзе, повидимому, не нашлось нескольких сот килограммов бронзы, для то чтобы увековечить память своего создателя. Выход из этого оказался простой: — взять статую никому ненужного адмирала и перелить ее в изображение Ильича. Так и сделали. Огромный безвкусный истукан Ленина занял на площади место адмирала Нахимова.

Никому ненужного адмирала вспомнили много лет спустя. И, вдруг, он оказался очень нужным. Даже нужнее Ильича. Ибо, когда Севастополь был осажден, московская радио - станция ежедневно обращалась к его гарнизону и диктор, без всякого стеснения, взывал не к тени Ленина, а к тени «доблестного защитника Севастополя адмирала Нахимова», которая, по словам диктора, должна была непременно витать и над нынешними защитниками крепости. Однако, тень доблестного адмирала, очевидно, так и не появилась над крепостью. Севастополь — пал. Московский диктор забыл, что тень Нахимова и не могла появиться тут, ибо даже она давно была изгнана из города, которому он отдал когда то свою жизнь: Нахимовский проспект

тоже не сохранил своего имени, он стал — проспектом Фрунзе.

Когда Севастополь пал, на голову статуи Ильича набросили аркан из стального троса и привязали к грузовику. Машина, пущенная полным ходом, рванулась вперед и огромный истукан из ворованной бронзы свалился вниз, уйдя головой до плеч в асфальт пло щади. Около него всегда толпятся любопытные. Многие любят сниматься, присев на указательный палец Ильича, торчащий теперь к небу.

— Вишь, Ильич, — попал пальцем в небо, — сказал как то, стявший около меня, какой то молодой рабочий. Собравшиеся весело рассмеялись.

Позеленевшие от времени высятся в стороне колонны Графской пристани. На них нет ни одной царапины. Спокойно лежат равнодушные ко всему каменные львы. Перед самой пристанью, метрах в ста от берега, торчит из воды мачта затопленного крейсера. На рейде — никого. Зеленоватые волны мерно плещут о камни пристани и, разбиваясь о них отскакивают белой пеной. Чайка с удивлением кружит над опустевшим рейдом и садится на мачту затонувшего крейсера.

Несмотря на все разрушения, в Севастополе, после его сдачи немцам, осталось немало жителей. Что то около десяти тысяч. И, действительно, в городе часто встречаются прохожие. Неужели и на этих развалинах может возродиться жизнь? Очевидно, может. Нет более стойкого, упорного и упрямого существа во вселенной, чем обыватель. Могут рушиться и создаваться вновь огромные империи, могут исчезать с лица зем ли государства, может за одну ночь погибнуть целый город. Но из каких то сокровенных нор его, уже рано утром вылезет маленький и в тоже время великий Обыватель и с кошелкой в руке отправится на поиски того, что продлит его жизнь и воскресит постепенно к жизни и весь город. Через час из его кошелки будет уже торчать пучек морковки, на дне будут болтаться несколько картошек, а если этот обыватель —русский, то в руке у него будет зажата чудом добытая книга

или газета. Вот таких удивительных, никогда не гнущихся обывателей, я много встретил и здесь.

В Севастополе остановиться — негде. Строго говоря, тут и присесть — негде. Поэтому с сумерками, садимся снова в машину и возвращаемся в Симферополь, для того, чтобы с зарей отправиться на Южный берег.

От Симферополя до Ялты — сто сорок километров. Длинные ряды тополей провожают нас через татарскую деревушку Мамут - Султан почти до самого Перевала. Перевал — это поворотный пункт пути. Это горный раздел однообразного срединного Крыма от его южного берега, действительно (и без всяких поправок на патриотизм), несравнимого ни с какими прославленными Ривьерами.

На Перевале — традиционная остановка. И панорама, открывающаяся отсюда эту традицию вполне оправдывает. Слева высятся огромные снеговые вершины Чатыр - Дага, справа, далеко внизу, яркой синей акварелью поблескивает Черное море, а прямо перед нами, огромными терассами уходят вниз волнообразные кущи вечнозеленых деревьев. Белое, синее, зеленое. И все это девственно яркое в этот холодный и солнечный день. Глядя на эти краски, не хочется верить, что могут быть такие обстоятельства, при которых даже этот сказочный уголок может поблекнуть и зачахнуть. Однако, уже к вечеру этого дня мне станет ясно, что при советской власти и это возможно.

Южный берег Крыма поблек и облинял, как поблекло и облиняло здесь все. Это относится не к снегу на Чатыр - Даге и не к синим акварелям моря. Туда еще не дотянулась рука партийного активиста. Но всюду, куда она могла добраться, она добралась и оставила после себя все тот же след скуки, пошлости и уныния. След, который здесь, в этом уголке точно взятом из «Тысячи и одной ночи», кажется особенно безобразным и кощунственным.

Сама природа позаботилась о том, чтобы здесь все было прекрасно. От людей требовалось очень немного: — красивыми и удобными строениями дополнить

то, что им было так щедро отпущено свыше. И без всякой предвзятости можно сказать, что раньше люди это понимали. Сотни красивых строений: дворцов, отелей, санаторий, вилл и просто домиков, выросших здесь до революции, подтверждают эти слова.

Но вот — короткая остановка в Алуште и мы успеваем осмотреть алуштинский театр, единственное большое здание, воздвигнутое здесь при советской власти. И здание это — безформенный тонкостенный сарай, с рядами грубо сколоченных стульев, — выглядит как оскорбительный вызов, брошенный кем то окружающей красоте. На фоне прелестной Алушты этот безформенный ящик выглядит также кощунственно, как, вероятно, выглядели римские казармы на фоне ажурно - лазоревых пейзажей Эллады.

Через полчаса машина несет нас в Ялту. Слева показываются очертания Аюдага, что в переводе с татарского означает — Медведь - гора. И, действительно, эта гора, сползающая к самой воде, поразительно напоминает медведя, пьющего воду из моря. А сразу за горой появляется Гурзуф, с характерными скалами, высящимися из воды, с «площадкой Айвазовского», с воспоминаниями о Пушкине и с непередаваемой хрупкостью очертаний всего этого игрушечного городка. Еще несколько километров и мы въезжаем в Никитский ботанический сад.

Если на земле существовал когда то рай, то он был, вероятно, здесь, а совсем не в долине Тигра и Ефрата. Впрочем, здесь он быть не мог. Полтора века тому назад тут было пустое место. Граф Воронцов первый начал насаждать здесь экзотические деревья. А затем, втечение долгих и долгих лет, посаженное им культивировалось, сад рос, расширялся и скоро стал самым прекрасным уголком Южного Берега.

Два часа проходят незаметно в прогулке по крутым склонам сада, сплошь усаженным пальмами, ливанскими кедрами, пробковыми деревьями, мексиканскими соснами, бананами, золотистыми туями, мамонтовыми деревьями и кипарисами всех существующих на земле разновидностей. Справедливость требует отметить, что

в годы советской власти Никитский сад не вырубили на дрова, как это сделали со многими садами и парками на нашей родине. Часто приезжали сюда различные экскурсии. В саду появились даже новые прибавления, на центральной площадке—бюсты Тимирязева и Карла Маркса, а на чешуйчатых стволах ливанских кедров и золотистых туй — бесхитростные, вырезанные ножем надписи: «Петя и Оля. 1936.», «Маня и Шура 1938«. Очень жаль, что никто не догадался подойти к бюсту Маркса и вырезать на его лбу несколько слов с вопросом — почему он сюда попал и какое он, собственно говоря, имеет отношение к пробковым деревьям и мексиканским соснам?...

Сразу после Никитского сада показываются первые домики Ялты и еще через несколько минут мы гуляем по ее набережной.

Бедная красавица Ялта... И в ней по непонятным при чинам, партийное начальство перед бегством из города распорядилось сжечь главную улицу. Это непременное уничтожение главных улиц в оставляемых городах столь же непонятно, сколь и абсурдно. Это делалось положительно во всех городах. И в Пскове, и в Киеве, и в Днепропетровске, и в Ялте. Целыми и невредимыми оставались неприятельо казармы, заводы, фабрики, элеваторы, но главная улица обязательно разрушалась. Интересно дадут ли когда нибудь ответ на этот вопрос мемуары секретаря какого нибудь горкома?

Обуглившиеся дома и развалины всегда и везде производят гнетущее впечатление. В Ялте они кажутся чудовищными по своей нелепости. Ибо, слишком резким контрастом режут они глаза по сравнению со всем этим улыбающимся городком, купающимся в лучах южного солнца, с прохладой кипарисовых садов и с белозубыми смуглянками, весело смеющимися на безчисленных балкончиках домов.

Быть в Ялте и не посетить домика Чехова — нельзя. По длинной и крутой Аутской улице поднимаемся почти в ее конец. Маленький, необыкновенно чистенький и уютный домик. На парадных дверях — медная

дощечка — А. П. Чехов. Та же дощечка на которую, нажимая кнопку звонка, смотрело столько людей, чьи имена известны всему культурному человечеству. А еще через несколько секунд они горячо пожимали руку хозяину дома. Мы, увы, лишены этой возможности. Хозяина дома давно уже нет здесь, но вся окружавшая его обстановка осталась на тех же местах, где и была.

Домик Чехова уже давно объявлен музеем. В нем и во время нашего посещения жила сестра писателя — Мария Павловна. Сегодня она нездорова и мы не беспокоим ее, несмотря на приглашение подняться к ней наверх. Маленькая старушка, живущая при ней, водит нас по всем комнатам. В кабинете — стол, за которым так много часов проводил Антон Павлович. В углу — большая плетеная корзина с визитными карточками. Она полна доверху. Если в ней покопаться, то сколько замечательных имен встало бы в памяти посетителя. А так видны лишь лежащие сверху: — Шаляпин, Мамин - Сибиряк, Станиславский, Леонид Андреев....

На маленьком столике, под стеклянным колпаком, такие знакомые по фотографиям — шляпа и пенснэ. Мягкая шляпа с опущенными полями. Простое пенсне с черным шнурком. На стене — удочки и фотографии. Среди последних одна очень редкая—Чехов и Толстой. Разумеется — Лев Николаевич Толстой.....

Рядом спальная комната. Узкая скромная постель с белым покрывалом. Над постелью — отрывной календарь. На верхнем листке — дата — 27 мая 1904 года.

В этот день Антон Павлович, в поисках исцеления от своего неизлечимого недуга, покинул Ялту навсегда. Он сам оторвал последний листок на календаре и больше к нему никто не прикасался. На столике у кровати — толстый журнал. Это «Исторический Вестник» за февраль 1904 года. Он открыт на той странице, которую накануне отъезда читал Антон Павлович. Около книги — коробка спичек — «Нетлеющие шведские спички фабрики И. Н. Дунаева в Ярославле».

К спальне прилегает светленькая, миниатюрная столовая. Одна из дверей ее ведет на веранду. На этой ве-

ранде тоже часто работал Чехов. Но известна она также и другим. А именно: когда Антон Павлович закончил «Вишневый Сад», состояние здоровья не позволило ему, согласно установившейся традиции, поехать в Москву и прочесть эту пьесу ансамблю Московского Художественного Театра. И тогда весь ансамбль этого театра, отдавая дань любви к Чехову и его громадным заслугам перед этим театром, приезжает из Москвы в Ялту и тут, на этой веранде, Антон Павлович впервые читает свой «Вишневый Сад».

В гостинной, как и в кабинете, тоже много фотографий. С них смотрят на вас лица почти всех знаменитых людей во всех областях искусства, которыми столь богато было в России начало 20 века. Впрочем, есть среди них и не знаменитости. Вот, кто то скромный в военной форме. Подпись: — «участник в постановке «Вишневого Сада», по мере сил и дарования. А. Стахович.« Сопровождающая нас старушка поясняет: — он, знаете ли, лаял за сценой, изображал собачку. Большой был друг Антона Павловича......

В стекляной витрине — большой лист белого картона. Дата — 15 июля 1934 года. Внизу много подписей: Книппер, Качалов, Москвин, Немирович - Данченко.... Это соболезнование Московского Художественного Театра, адресованное Марии Павловне по случаю тридцатилетия со дня смерти Чехова. Вверху обращения, каллиграфическими буквами, выведен пышный титул, знаменитого когда то своею скромностью, театра: — «Московский академический, ордена Ленина, имени Максима Горького.....». Последние слова читаются с особой грустью. И пока я вглядываюсь в них, мне кажется, что старенький, небритый Фирс, слезящимися глазами смотрит через мое плечо и по складам повторяет незнакомые слова пышного титула. А прочитав их до конца, как и в последнем акте «Вишневого Сада», произносит грустно и растерянно: — « а, человека то и забыли.....«

Да, там в далекой и холодной Москве, как будто слишком скоро забыли человека Антона Павловича Чехова. Но тут, в маленькой и солнечной Ялте,

память о нем живет и будет жить еще долго. А еще дольше будет жить она в сердцах миллионов его читателей. В миллионах сердец самых разнообразных русских людей, которых Антон Павлович Чехов так хорошо знал и так бесконечно любил.

Отдыхаем в одном из «Домов отдыха», построенных здесь уже при советской власти и осматривая его убеж даемся в том, что алуштинский театр не является неудачным исключением среди новейших строительных упражнений в Крыму. И становится по человечески жаль тех несчастных тружеников, которым, наряду с тысячами партийных ловчил, все же иногда удавалось провести здесь некоторое время.

«Дома отдыха» или санатории (разумеется, носившие имя кого нибудь из вождей), напоминают богадельни для бездомных стариков и старух, которые, в свое время, строили в России, сердобольные и не очень богатые купчихи. Крутые лестницы, узкие коридорчики, тонкие стенки, маленькие комнатушки, общие умывальни, казарменные кровати с жесткими тюфяками, все это явно протестует даже против самого названия — «дом отдыха». А если прибавить к этому еще клопов, следы присутствия которых видны и посейчас, то можно с уверенностью сказать, что отдохнуть в таком «доме отдыха» — нельзя.

Впрочем, не только клопы мешали советским курортникам отдохнуть от суровых будней. Еще назойливей и въедливей клопов, были партийные активисты, не выпускавшие и тут советских граждан из под своего бдительного ока и требовавшие от них — «организованного отдыха». Отдых такого рода тоже является изобретением социалистического государства. А заключается он в том, что обалдевших от всевозможных «общественных нагрузок» и приехавших сюда с надеждой отдохнуть людей, бодрые активисты заставляют и тут маршировать под «песню о Сталине», принимать участие в «коллективных играх», в которых непременно есть элемент партийной пропаганды, а по вечерам «прорабатывать» очередной доклад кого либо из кремлевских оракулов.

В одном из «домов отдыха», на подоконнике нахожу почтовую открытку. Я сохраню ее на память. Почтовая открытка — мелочь, пустяк. Но как в капле воды отражается солнце, так и в этой открытке отразилась вся беспросветная скука и тупоумие советской эпохи. Маленькая открыточка размером 9 на 14. С наружной стороны — аляповато намалеваны какие то зелено - розовые волны, бьющиеся о скалы. По бокам — розочки и мимозочки. Ну, это дело вкуса и в этом еще полбеды. А вот на обратной стороне этой открытки напечатано следующее:

> Почтовая карточка. Карт посталь... Куда. Кому.. Воспоминание о Крыме. Ялта. Фото Сокорнова. Из отходов. Цена 60 коп. Х — 3320. Издание Крымгосиздатторга. 1940. Симферополь, Горького 5. Главлит Крымской АССР. № 450. Ялта. Гос. тип.НКМП. 5211. Тираж 5.000.

Это почище розочек и мимозочек. Это — апокалипсическая тоска. Почти вся оборотная сторона открытки занята этим казенным безобразием. Написать на ней — «Привет из Ялты Мане от Вани» — негде. Просто негде.

По дороге в Алупку проезжаем мимо знаменитой ялтинской киностудии, построенной еще до революции основателем русской кинопромышленности Ханжонковым. Когда то здесь «крутились» фильмы с Верой Холодной, Мозжухиным, Полонским. С тех пор киностудия мало изменилась. К сожалению, нельзя того же сказать и о ее основателе. По тротуару, вдоль кино — студии, пожилая женщина, везет в кресле разбитого параличем старика. Это сам Ханжонков — отец русской кинопромышленности и бывший хозяин этой студии. Советская власть ограбила его. В советское время он был «лишенцем» — жалким парием социалистического государства. За что? За то, что он когда то рискнул всем своим состоянием и вложил его в дело, сослужившее впоследствии хорошую службу самим большевикам? Коляска, подталкиваемая женой, везет ограбленного, нищего и больного старика мимо

его бывшей киностудии, в которой еще недавно снималась очередная советская кинофальшивка и бодро звучали записываемые на пленку циничные слова:

«....Я другой такой страны не знаю,
где так вольно дышет человек....»

На секунду старик Ханжонков поворачивает голову в сторону прячущейся в парке киностудии и всматривается в нее. А мы продолжаем наш путь в Алупку.

Алупка — это дворец Воронцова. Миллионы туристов, побывавшие здесь за последние сто лет, приезжали сюда не ради Алупки, а ради этого дворца. Ни один царский дворец в Крыму не может сравниться по роскоши с этой гордостью Алупки. Война сохранила дворец Воронцова. Он стоит гордым памятником Империи, неизменно вызывая возгласы восхищения у всех побывавших тут. Зубчатые мавританские стены его, удивительно гармонируют с таким же зубчатым Ай Петри, находящимся позади. Белые мраморные львы двумя рядами спускаются к морю, образуя знаменитую «львиную терассу». Дворец уже давно превращен в музей. При нем живут директор и постоянный гид. Последнего прошу объяснить мне все так, как он объяснял при посещении советских экскурсий. Он, смеясь, исполняет мою просьбу. В трафаретном советском описании дворца есть, между прочим, и такое место: — «служащие графа не имели права жить во дворце, а помещались в, так называемых, «службах», где они влачили свое жалкое существование«.

Правда, советский путеводитель, забыл указать на то обстоятельство, что эти — «так называемые службы» — при советской власти без всяких перемен были превращены в .... санаторий. Добавлю от себя, что из виденных мною санаторий, открытых на Южном берегу уже при советской власти, это был — лучший.

Перед дворцом — источник ключевой воды, выложенный мрамором. На нем надпись — «Трильби 1828». Директор музея говорит, что кто из него выпьет воды, тот непременно еще раз побывает в Алупке. Пьем. Очень хочется еще раз побывать здесь.

Однако, Крым это не только дворец Воронцова, «дома отдыха» и курорты. Это не только солнечные ванны и кипарисовая истома лазурных берегов. Когда то со словом Крым связывалось представление об огромных гуртах баранов, о горах фруктов, рыбы, мяса, табаку, о прекраснейших винах, поставлявшихся во все концы страны, о широко развитой кустарной промышленности замечательных крымских безделушек, украшавших этажерки гостинных в самых заброшенных, медвежьих углах России. Втечение ста пятидесяти лет созревал сочный и полнокровный Крым. И понадобилось всего лишь двадцать пять лет социалистической эпохи для того, чтобы он завял и засох. И даже не двадцати пяти, а значительно меньше. Ибо до конца НЭП'а Крым был Крымом. И лишь после коллективизации и пятилеток он стал одним из самых бедных родственников, составлявших вкупе семью народов именуемую Советским Союзом.

Будущий экономист, который заинтересуется причинами обнищания Крыма, несомненно, найдет здесь для себя непочатый край работы. Он сравнит хозяйственные расчеты старого Крыма с безграмотными промпланами партийных «плановиков - экономистов» и «плановиков-калькуляторов» и без труда разобьет по пункт там всю эту марксистскую хозяйственную галиматью.

Проезжему журналисту заниматься теоретическими выкладками некогда. Его интересует — практика. И об этой практике мне долго и подробно рассказывал старик Гуссейн, ехавший со мной в купэ на моем обратном пути из Крыма. Старик Гуссейн имел когда то три тысячи баранов. Коллективизация оставила ему их —сто. Из трех тысяч — сто, но все же оставила. Но эта оставшаяся сотня была обложена таким налогом, что по истечении года Гуссейну пришлось их продать и доложить еще своих тридцать рублей для того, чтобы избежать дамоклова меча фининспектора. А эти бараны, вместе с отобранными ранее, попали в совхоз. Там их судьба была одинакова с судьбами тысяч им подобных. Бараны от бесхозяйственности — дохли. Шерсть, которую раньше Гуссейн так выгодно продавал скупщику,

загнивала на складе « за недостатком транспорта». Овечье молоко, из которого Гуссейн изготовлял раньше превосходный сыр, отправлялось на «Молочный комбинат имени Розы Люксембург», где в результате в большом количестве выливалось в помойку, ввиду хронического «недостатка необходимых для производства химикалий». А никому ненужный Гуссейн, чтобы не умереть с голоду, работал в это время на консервном заводе, тоже чьего то имени, где запаивал банки с консервами. Делал он это медленно и плохо. Он не любил эту работу и, вероятно, многие банки консервов вышедшие из его рук, позже попадали в брак. Таким образом насильственно разрушенное хозяйство Гуссейна не только не пошло впрок государству, но наоборот — из полезного превратилось во вредное. Ибо, вреден был совхоз, губивший баранов, вреден был «молочный комбинат», портивший продукты и, наконец, вреден стал сам Гуссейн из хорошего и рачительного хозяина, превратившийся в плохого рабочего и изготовлявший недоброкачественные консервы.

А сколько было таких Гуссейнов, Ивановых и Петровых? Миллионы! Надо только вместо Гуссейна подставить Иванова или Петрова, а вместо баранов — рыбу, фрукты, табак. И подставив все это, быть может, уголок завесы, прикрывающий причины экономического упадка Крыма, чуть - чуть и приподымется. Слушая же рассказ старика Гуссейна о его баранах, невольно в голову приходит мысль, что если бы в социалистическом государстве не люди бы распоряжались баранами, а бараны — людьми, то результат пожалуй был бы отрадней.

Гуссейн выходит из вагона в Армянске, а мой поезд через Перекоп и Херсон идет дальше на север. И пока, по покрытой глубоким снегом равнине, он отсчитывает длинные километры по дороге в Берлин, у меня есть достаточно времени для того, чтобы подумать о всем виденном и слышанном и подвести, какие то, хотя бы беглые, итоги.

XVII

ДВА ЛИЦА МАРКСИСТСКОГО ГОСУДАРСТВА. УСТОИ ВЛАСТИ. О СУЩНОСТИ БОЛЬШЕВИЗМА.

Я вполне отдаю себе отчет в том, что о всем беспросветном ужасе коммунистической системы имеет право писать лишь тот, кто сам втечение многих лет задыхался под свинцовой тяжестью большевистской диктатуры.

С другой стороны, я прекрасно понимаю, что для того ,чтобы хотя бы поверхностно набросать чудовищный образ деспотии, воцарившейся в нашей стране в октябре 1917 года, нужна не одна глава, а многотомный труд.

Такие книги, в свое время, конечно, и будут написаны. Но теперь, когда я оборачиваюсь назад, на пройденный мною путь по горячим следам марксистско го опыта, когда я собираю воедино осколки впечатлений от виденного, слышанного и перечувствованного, я естественно прихожу к заданному самому себе вопросу: — что же, собственно говоря, представляет собой та новая государственная система. которая существует более четверти века на моей родине? И чтобы облегчить ответ на этот мучительный вопрос, я невольно разлагаю марксистское государство на те две составные части, на которые можно разложить любое государство, как современное, так и давно отошедшее в область истории.

Каждое государство, несомненно, имеет два лица: физическое и духовное. Первое отображает материальную структуру государства: его внутреннее устройство, законы, администрацию и жизненный стандарт его граждан. Второе — духовную жизнь страны, культурный уровень ее населения, развитие искусств, гуманитарных наук и качество мысли ее передовых людей.

Эти два лица каждого государства развиваются самостоятельно и хотя тесное их взаимоотношение очевидно, тем не менее, относительное совершенство одного еще не определяет таких же качеств и для другого. Не трудно найти государства, и в прошлом, и в настоящем у которых духовное лицо оставляет позади себя лицо физическое и, наоборот, такие у которых физическое лицо более совершенно нежели духовное.

Дореволюционная Россия тоже имела два лица. И, несомненно, что к началу XX века духовное лицо России значительно довлело над ее лицом физическим. Однако, это второе, начиная с эпохи великих реформ, настолько быстро начало менять свои несовершенные черты и догонять духовный образ страны, что были все основания полагать, что еще через какой то промежуток времени, обе неравные части сравняются и сольются в одно гармоничное целое.

Октябрьская революция скомкала исторический ход физического и духовного развития российского государства. В результате революционного катаклизма, на обоих лицах его были сломаны переносицы, выколоты глаза, вырваны уши, выбиты зубы и на некоторое время они превратились в страшные кровавые маски, на которых трудно было уловить даже след их былого выражения. И когда на их месте не осталось ни одной прежней черты, тогда новые хозяева российского государства начали лепить новые модели по образцу, позаимствованному из полного собрания сочинений Карла Маркса и дополненного вольной фантазией всевозможных последователей и толкователей его.

Затем прошло много лет и вылепленные модели

двух лиц марксистского государства приняли вполне определенные и почти законченные формы. И теперь возникает естественный вопрос: — что же они вылепили? Что это за лица? Как они выглядят? И, что они нам напоминают?

Начнем с лица физического.

Большевики, повидимому, вполне серьезно убеждены в том, что физическое лицо марксистского государства, т.е. структура, устройство, законы и администрация являются чем то новым и еще неизвестным в истории нашей планеты. Они кажется, совершенно искренне чувствуют себя основоположниками нового вида государственного устройства, неведомого доселе беспомощному человечеству. Такую, ни на чем не основанную уверенность их, можно объяснить только, либо их невежеством, либо недобросовестностью. Впрочем, может это их заблуждение покоится и на том, что они склонны считать начало человеческой истории со дня рождения Карла Маркса или даже с момента октябрьского переворота. Между тем, если бы они внимательно перелистали историю земли несколько дальше, то они не могли бы не заметить, что их творение не только не ново и не оригинально, но, что ему почти пять тысяч лет отроду и от него несет тошнотворной затхлостью хорошо сохранившейся египетской мумии.

Египетская мумия упоминается тут не для красного словца, а имеет прямое отношение к марксистскому государственному творению, которое большевиками полностью позаимствовано из египетской истории, ибо система государственного капитализма, введенная марксистами в России, существовала в том же самом виде в древнем Египте, где получила особенно законченные формы во времена четвертой династии (2720 — 2560 г.г. до Р. Х.), т.е. примерно пять тысяч лет тому назад.

Именно в Египте того периода не существовало частной собственности, ни на землю, ни на орудия производства, ни на промышленные предприятия. Все это принадлежало Фараону, т.е. — государству, которое

он олицетворял. Собранный урожай, египетские земледельцы, оставив себе необходимый прожиточный минимум и семена для нового засева, должны были сдавать в фараоновы, т.е. в государственные склады. За правильностью сдачи урожая следила целая армия специальных государственных чиновников, которые жестоко карали за недосдачу сельско - хозяйственных продуктов, а в неурожайные годы оказывали помощь земледельцам, выдавая им зерно из государственных складов. Другими словами, египетские земледельцы должны были всю жизнь трудиться только ради того, чтобы не умереть от голода, без всяких перспектив на какой то прогресс в своей жизни.

Египетские рабочие того времени были прочно прикреплены к промышленным предприятиям, мастерским и общественным работам, которые либо принадлежали Фараону, т.е. государству, либо производились за счет и в интересах последнего. Все выработанные ими изделия поступали опять таки на фараоновы склады, являвшимися ничем иным как государственными распределителями, распространявшими эти изделия среди населения, а выручку забиравшими в пользу фараоновой, т.е. государственной казны.

Такое примитивное государственное устройство делило Египет той эпохи на две неравные в социальном отношении части: Фараона и его чиновников, снимавших, разумеется, пенки с придуманной ими системы государственного капитализма и на широкие массы египетских земледельцев и рабочих, влачивших нищенское и бесправное существование.

Марксисты, присвоившие государству: землю, орудия производства и промышленные предприятия, не выдумали, таким образом, ничего нового, а лишь воскресили к жизни давно похороненную древнеегипетскую систему государственного капитализма, несомненно, самую жестокую и бескомпромиссную из капиталистических форм человеческого общежития.

Большевики точно таким же образом поделили граждан своего государства на две неравные части: партийного фараона и его чиновников, обслуживаю-

щих партийный аппарат управления и на подобие своих древнеегипетских коллег, снимающих пенки с воскресшей системы государственного капитализма и на широкие массы тружеников земли и рабочих, влачащих, подобно своим далеким египетским собратьям, безнадежное и абсолютно бесперспективное существование.

Что можно еще добавить к этому?

Разве то, что египетские фараоны не догадались присвоить государству и жилища своих подданных, а большевики сделали и это? Что на общественных работах древнего Египта в огромных масштабах применялся принудительный труд и рабочие гибли тогда в столь же ужасающей пропорции, как это происходит и на стройках затеянных большевиками? И, наконец, что всех недовольных и непокорных в древнем Египте ссылали в жаркий Судан, а в марксистском государстве их ссылают в холодную Сибирь?

Это поразительное сходство двух государственных систем: Египта времен четвертой династии и России времен коммунистической диктатуры, настолько бросается в глаза каждому, кто не пожалеет труда заглянуть в соответствующие исторические книги, что остается удивляться только двум вещам: как в истории нашей планеты все удивительно повторяется и каким образом сами марксисты не заметили (или не хотят замечать), что прародителями их государства были не Маркс и Энгельс, а фараоны и жрецы древнего Египта. Какое же право имеют марксисты именовать себя носителями новых идей и борцами против сил реакции, если их идея — ровесница Хеопсовой пирамиды, а сами они являются преемниками самой черствой и самой черной реакции, хотя бы уже потому, что существовала она почти пятьдесят веков тому назад!

Так выглядит физическое лицо марксистского государства.

Каково же его духовное лицо?

Надо сказать, что и в последнем нету ни одной черты еще не знакомой человечеству. И когда я думаю о духовном лице марксистского государства, то не могу

не вспомнить замечательной книги В. Ирецкого — «Похитители огня», изданной зарубежом много лет тому назад и, к сожалению, прошедшей недостаточно заметно на книжном рынке. А между тем, книга эта заслуживает самого пристального внимания, ибо в ней автор дал удивительно точное определение духовного образа социалистического государства еще раньше, чем он выкристаллизовался в своей окончательной форме.

Словами одного из персонажей этой книги, старого профессора, автор говорит, что социализм неуклонно ведет к новому Средневековью.

«....В средние века, — говорит он, — «отвлеченная идея целиком пожрала действительность. Опыт и проверка с негодованием отвергались. Мысль была приведена к соблазнительной согласованности, к готовому синтезу, т.е. к тому, что истина раз навсегда найдена и, что остается только писать к ней комментарии. Так родилась схоластика.

Догма в свою очередь (это неизбежность) привела к неумолимой тирании канона и к преследованию еретиков. Весь мир духовный и телесный был поделен на две резко окрашенные части: белую и черную .А еретиком был всякий, кто выступал с критикой канона или хотя бы только пытался стать на путь некоторой умственной свободы.

Искусство и наука должны были служить только религии и больше никому. Чтобы предохранить и спасти мыслящего человека от соблазнов к собственному исследованию, таких исследователей во первых уничтожали, а во вторых — писали книги, в которых хитро и заботливо предусматривались все каверзные вопросы. Этими книгами схоласты заткнули рты всем скептикам и вольнодумцам средневекового мира. Не навсегда понятно — человечество не стоит на месте. но на двести лет им это удалось....»

После этого экскурса в Средние Века, автор устами этого же персонажа, предлагает, как это делается в алгебре, педантично подставить другие слова и термины. Он это делал на заре социалистического госу-

дарства. И делал это предположительно и в будущем времени. Теперь же, когда духовный облик марксистского государства определился окончательно, это алгебраическое упражнение можно проделать в настоящем времени и с большей уверенностью в его точности.

И, действительно, в нынешнем марксистском государстве, как и в Средние века, отвлеченная идея целиком пожрала действительность, а опыт и проверка отвергаются со столь же решительным негодованием. Мысль опять приведена к догме, к стройной согласованности, к готовому синтезу.

Другими словами марксисты твердо решили, что истина найдена раз навсегда и теперь остается писать к ней комментарии. Совершенно естественно что в результате этого на смену средневековой схоластики, пришла схоластика марксистская.

Марксистская догма столь же неизбежно привела к неумолимой тирании канона и к преследованию «еретиков». Снова весь мир поделен на две ярко окрашенные части: красную и белую. И «еретиком» («врагом народа«) считается всякий кто выступит с критикой марксистских догматов. Такого вольнодумца, сошедшего с «идеологически выдержанных» путей, в марксистском государстве предают физическому уничтожению.

Надо ли говорить, что в марксистском государстве, искусство и наука должны служить только марксистской религии и больше никому. Вожди марксистского государства не забыли и о том, чтобы предохранить мыслящих людей от соблазнов собственных исследований. Для этой цели таких исследователей во первых — расстреливают, а во вторых — пишут для них книги, в которых современные марксистские схоласты хитро и заботливо предусматривают все каверзные вопросы, которые могут возникнуть в голове мыслящего человека.

В этом отношении непревзойденную роль играют сочинения, так называемых «классиков марксизма». В сочинениях Ленина и Сталина каждое слово — истина.

И всем остальным мелким марксистским схоластам, остается только писать к ним комментарии. А когда они натыкаются на какую то неясность в своих рассуждениях, то немедленно отыскивают соответствующий том Ленина или Сталина, цитируют их слова по этому вопросу и считают, что этим они не только ответили на нужный вопрос, но и заткнули рты всем неверующим и сомневающимся.

Сделать это навсегда, им разумеется, не удастся. Но неужели они это сделают тоже на две сотни лет?

Впрочем, между средневековыми блюстителями истины и марксистскими мракобесами существует немалая разница, говорящая притом, не в пользу последних Ведь первые как никак, тянули человечество — вверх, к небу, в то время как марксисты заставляют его ползать по земле.

Пять тысяч лет прошло со времен фараоновой системы своеобразного «государственного капитализма», давно забракованной людьми и с правом считающейся самой жестокой и отсталой формой человеческого общежития. Восемь веков отделяет нас от расцвета средневекового духовного угнетения. Длинный и тяжелый путь прошло с тех пор человечество, в беспрерывных и мучительных поисках новых общественных форм и новых духовных идеалов. Создавались и гибли новые государства, возникали и отметались с разочарованием новые формы человеческого общежития, рождались и умирали новые идеи, появлялись новые религии и пророки, гекатомбы жертв приносило неустанно ищущее и двигающееся вперед человечество ради того, чтобы когда нибудь притти к своей великой цели.

Неужели же все эти жертвы, все усилия долгих столетий и все муки бесконечных поколений принесены для того, чтобы в XX веке христианской эры, в самом просвещенном из всех оставшихся позади веков, человечество снова рухнуло в темную бездну фараоновой деспотии и духовного мрака средневековья.

И когда думаешь об этом странном, но логическом сочетании в марксистском государстве — древнееги-

петского физического угнетения людей со средневековой кастрацией их духа — то невольно встает опять таки естественный вопрос: — каким же образом в нашей стране могли марксисты придти к власти и какие силы поддерживают эту власть втечение столь долгого времени?.....

О силах, которые привели большевиков к власти в России говорить не приходится. Слишком много сказано на эту тему и давно уже не оставляет никакого сомнения, что этими рычагами были — насилие и обман.

Эти же две силы удерживают большевиков у власти и до сих пор. Насилие и обман с поразительным искусством переплетены во всех действиях партийного аппарата и, сидящие в Кремле высококвалифицированные мастера террора и лжи, с непревзойденным умением регулируют приводные ремни этих двух сил, ослабляя один из них тогда, когда бесперебойно действует другой и усиливая его в том случае, если другой начинает давать перебои. Ибо, как ни жестока созданная большевиками система террора, как ни совершенны применяемые ими методы преследования, как ни бесконечна гипнотизирующая сила страха, все же одной этой силы никогда не хватило бы для того, чтобы многомиллионный и мужественный народ на долгое время захватить в свои руки. Только соединяя неслыханный террор с удивительным искусством лжи, большевистская партия сумела придти к власти и удержаться у нее столь долгое время.

Насилие, начавшееся с разгона Учредительного Собрания, через гражданскую войну, через годы военного коммунизма, через миллионы жертв ЧЕКА, ГПУ, НКВД, через концлагеря, чистки, ссылки, штрафные батальоны и заградительные отряды, сопровождает советскую власть от первого дня ее существования и до сих пор. Насилию, ставшему одним из основных устоев советской власти, посвящено современниками достаточно внимания и роль его в в жизни советского режима оценена почти в полной мере. Однако, — обману,

этой второй силе, приведшей большевиков к власти и удерживающей их у нее до сих пор, еще не отведена современниками та роль, которую она по праву заслуживает. А между тем сила эта нисколько не уступает по своей эффективности — насилию и, наряду с этим последним, является вторым основным устоем большевистской диктатуры.

Обман, сопровождающий большевиков на всем их пути, начинается уже с того, что они присвоили себе имя, которое не имеют никакого права носить. Они упорно называют себя социалистами, хотя в осуществленной ими политико - экономической системе нет ни крупицы того социализма, о котором веками мечтали многие умы человечества.

И если я в своих очерках называю советское государство — социалистическим и не беру это слово в кавычки, то делаю это лишь потому, что это государство носит официально ярлык социалистического, а социалисты всего мира не протестуют против этого доста точно решительно. Впрочем кто знает, — быть может, сталинский социализм и есть логичный путь и предельная форма того государственного устройства, к которому должна неизбежно привести социалистическая доктрина, лишенная в своем развитии всяких сдерживающих начал? Так это или не так, но во всяком случае большевики оказали очень скверную услугу социализму, ибо на одной шестой части суши у без малого двухсот миллионов людей, на многие десятилетия, вызвали полное отвращение к социализму, а самому слову «социалист», (как и слову—«большевик«) на долгие годы обеспечили значение слова — ругательного.

Однако, в том, что большевики присвоили себе не принадлежащее им имя заключается еще — полбеды. Беда состоит в том, что миллионы людей поверили им в этом. В этом отношении большую роль сыграло несомненно то обстоятельство, что русский народ легче, чем какой либо другой народ мира, можно поднять на «большое дело». Объясняется ли это молодостью русского народа, свойственным ему размахом, заложен-

ным в него «исканием правды», или всем этим взятым вместе — трудно сказать. Но это, именно так. Построить государство где «всем было бы одинаково хорошо» — дело, разумеется, очень большое. И миллионы людей поверили большевикам, что те их поведут по этому пути. А поверив начали прощать. Прощать и полуголодное существование, и вечную нужду, и страх, и застенки НКВД, и непосильный труд жен и матерей, и босые ноги детей, кровавую драму коллективизации, и черный ужас фабричной каторги, и ссылки, и концлагеря, и тысячи других жутких спутников на бесконечной дороге к недостижимому социалистическому раю.

— Все это очень тяжело, — говорили эти люди, — мы терпим большие лишения и приносим много жертв. Но мы затеяли большое дело, ради которого стоит пожертвовать многим.....

Но проходили годы и годы. Люди трудились до предельного истощения сил, жертвы приносимые во имя светлого будущего увеличивались во все возрастающей прогрессии, а призрачное счастье будущего оставалось все так же далеко, как и пять, десять и двадцать лет назад. Люди видели, что если кому это счастье и улыбалось, то только небольшой клике партийных вельмож живущих в изобилии среди общей нищеты, мягко покачивающих свои тучные тела в заграничных лимузинах, кутящих за стенами Кремля, окуриваемых фимиамом лакеев от искусства и лишь изредка показывающихся перед народом для того, чтобы призвать последний к новым трудовым подвигам, к новым лишениям и к новым жертвам. Люди начали понимать , что с приходом большевиков к власти, в России возникла не новая форма человеческого общежития, а лишь новая форма эксплоатации ничтожным меньшинством громадного большинства и притом в такой жестокой и циничной степени, в какой она еще не возникала никогда и нигде.

Сколько чернил и энергии тратится партийными агитаторами для того, чтобы доказать, что в СССР построено бесклассовое общество и, что это существенно

отличает советский социальный строй от того, что было в дореволюционной России.

Безклассовое общество... Верно, что в дореволюционной России существовало деление на классы, а в Советском Союзе этого деления нет. Однако, центр тяжести этого вопроса никогда не лежал в классах, как в таковых, а исключительно в п р и в и л л е г и я х которые являются принадлежностью того или иного слоя населения. Большевики, уничтожив деление на классы, не только не уничтожили привиллегий, а наоборот — в советское время это социальное неравенство приняло еще более уродливые и возмутительные формы.

Большевики любят говорить о «верхних десяти тысячах», существовавших в дореволюционной России и живших за счет остального населения. Надо сказать, что такие же верхние десять тысяч существуют и в Советском Союзе. Причем, в дореволюционной России переход от верхних десяти тысяч к беднякам шел постепенно: — очень богатые люди, просто богатые, состоятельные, со средствами, зажиточные и, наконец, бедные и очень бедные. В Советском Союзе этого постепенного перехода — нет. Там есть только две имущественные категории: — люди, которым доступно — все, и люди которым недоступно — ничего. К первым относятся партийная верхушка и те в ком партия чувствует острую необходимость. Ко вторым — все остальное население СССР.

В дореволюционной России все земные блага теоретически были доступны любому гражданину страны; практически — тем кто имел деньги, чтобы эти блага приобрести. Другими словами, если бедняк вдруг получал откуда то деньги, то он мог немедленно стать обладателем любых земных благ от дворцов до модных перчаток включительно. Советским гражданам земные блага недоступны, ни теоретически, ни практически. На пути между советским гражданином и благами жизни стоит — закрытый распределитель

В Германии, во время войны, национал - социалисты ввели особую систему снабжения руководящих членов

партии остро дефицитными товарами. Товары такого рода привиллегированные партийцы получали из особых складов по особым партийным ордерам, недоступным другим жителям Германии. Эта мера вызвала большое недовольство среди немцев, кажется больше чем все остальное содеянное национал - социалистами и послужила одной из мишеней для антигитлеровской пропаганды со стороны вражеских стран.

Однако, то до чего национал - социалисты додумались на втором или на третьем годе войны преспокойно процветало и процветает в Советском Союзе во все времена его существования. В советском закрытом распределителе имеется все: парижские туалеты, французские духи, английские материи, шампанское, ликеры, икра и даже злополучные ананасы и рябчики (ешь ананасы. рябчика жуй, настал твой последний денечек буржуй»). Но пользоваться этими благами может только тот, кто прикреплен к такому распределителю. А прикреплены к нему, либо высокие партийцы, либо люди очень нужные партии. Остальные же граждане социалистического государства имеют право полюбоваться на эти витрины с духами, чулками, рябчиками и ананасами, выругать про себя безклассовое общество и, отправившись в открытый распределитель, встать в очередь за селедкой или четвертушкой постного масла. Всякое социальное неравенство носит неприятный характер. Советское социальное неравенство, делящее людей на имеющих право войти в закрытый распределитель и на не имеющих этого права, т.е. на каких то «чистых» и «нечистых«, носит не только неприятный, но и оскорбительный, для человеческого достоинства характер.

Коммунистическое «безклассовое общество»—один из циничнейших блефов партийной пропаганды. Борьба против привиллегированных классов велась большевиками не ради уничтожения привиллегий, а ради перенесения этих привиллегий на себя. Точно такой же характер носит и борьба коммунистов с капитализмом. Не с капитализмом ведут борьбу коммунисты, а с капиталистами. Борьба коммунистов против капитали-

стического общества это не борьба за ликвидацию капитализма, как несправедливого социально - экономического строя, а борьба за переход капитала в безконтрольное пользование коммунистической партии.

Если бы от этой борьбы коммунистического треста с капиталистическим выигрывали бы широкие народные массы, т.е. каждый из нас в отдельности, то с этой борьбой, до известной степени, можно было бы мириться. Но, как мы видим на примере России, победа коммунистического треста над капиталистическим приводит не к раскрепощению трудящихся от уз капитализма, а к дальнейшему закрепощению их в еще невиданных в истории масштабах. Ибо, если буржуазный капитализм, при всем его несовершенстве, не посягает на личные свободы человека и оставляет ему тысячи лазеек, то капитализм коммунистического образца растворяет в себе человеческую личность без остатка Государственный капитализм коммунистов -- это самая жестокая форма капиталистического хозяйства. Это тотальный капитализм.

Годы и годы прошли пока это было понято широкими массами, и поняв это, люди начали трезветь и с недоверием всматриваться в настоящее и с опаской в будущее.

Этот процесс отрезвления остановить нельзя. Но замедлить его можно. И усилия большевистской партии годами направлялись именно в эту сторону, причем, и в данном случае она прибегает к двум своим испытанным союзникам: — насилию и обману Уничтожая физически наиболее опасных из протрезвевших или ссылкой в концлагеря, изолируя их от остальной массы населения, эту последнюю они пытаются одурманить новыми потоками лжи и обмана.

Эта ложь направлялась партийной пропагандой по двум основным руслам: ложь на дореволюционную Россию и ложь на весь остальной мир.

— Ваша жизнь не легка, но в царской России она была во сто крат хуже, — кричит партийная пропаганда советскому гражданину в одно ухо.

— Во всем мире — плохо, только у нас хорошо, — добавляет она — в другое.

И, как упорные дятлы, тысячами молоточков, забивают партийные пропагандисты эти лживые слова в головы советских граждан, изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год. Для этой цели мобилизованы газеты, журналы, брошюры, книги, театр, кино и целая армия лекторов, разъезжающих из города в город с портфелями набитыми лживыми данными, фальшивыми сводками и подогнанной статистикой. Миллиарды трудовых рублей тратится партийным аппаратом на этот подлинный «опиум для народа».

Ложь на старую Россию плохо достигает своей цели. Слишком много еще живых свидетелей дореволюционной жизни находится среди советских граждан и потому она расчитана, главным образом, на молодые поколения. Впрочем и представители этих последних с трудом попадаются на эту удочку.

— Как я могу поверить, что в царской России власть терроризировала народ, — сказал как то мне один молодой киевский рабочий, — если я знаю, что Сталин бросил бомбу в конвой солдат, убил нескольких из них, ограбил казенные деньги, а теперь сидит в Кремле и кушает шашлык Хотел бы я знать — добавил он, — где бы находился я сейчас и чтобы я кушал, если бы убил бомбой нескольких энкаведистов и ограбил деньги Госбанка?.....

Подобные замечания, в справедливости которых трудно усомниться, приходилось слышать не раз и по поводу многих других сторон жизни в дореволюционной России и в СССР.

Однако, если грязь и ложь на старую Россию, бьющая из источников партийной пропаганды, как из пожарной кишки, не всегда достигает своей цели, то потрясающая по своей нелепости и цинизму ложь на весь остальной мир не остается бесплодной.

Огородив Советский Союз непроницаемой стеной, исключив всякую возможность общения советских граждан с иностранцами, большевистская пропаганда кропотливо создает у населения СССР ту картину о

внешнем мире, которая нужна большевистской партии. На протяжении десятилетий советские газеты, журналы, брошюры и книги отражают на своих страницах лишь все плохое, что происходит в мире. Экономические кризисы, забастовки, стычки с полицией, аферы, происшествия криминального и паталогического характера, самоубийства, драмы на почве нищеты и просто житейские драмы, все это находит в советской печати немедленный отклик и сопровождается соответствующими комментариями. В тоже время ни одному положительному явлению, относящемуся к внешнему миру ни разу не было уделено ни одной печатной строчки

Большевистская пропаганда не удовлетворяется очернением внешнего мира — в розницу. Иногда она это проделывает и — оптом. Огромным тиражем была выпущена книга, называющаяся — «День мира», в которой заботливо подобраны все гадости и мерзости, происшедшие в мире за один день и нашедшие свое отражение на страницах мировой печати. Последние же страницы книги были посвящены явлениям положительного свойства происшедшим за этот же день в СССР. Если перелистать эту книгу, то о всем мире, находящемся вне СССР, не может не создаться впечатление как о какой то жуткой клоаке кишащей: угнетателями, угнетенными, аферистами, ворами, самоубийцами, нищими, сифилитиками и неврастениками. По странной иронии, вдохновителем этой книги (как утверждают ее издатели) был — Максим Горький, годами предпочитавший жизнь в этой самой клоаке буржуазного мира, пребыванию в своем счастливом социалистическом отечестве.

Удивительно ли после этого, что мне на моем пути приходилось иногда слышать такие вопросы: есть ли в Европе в продаже белый хлеб? Правда ли, что в Америке существуют два отдельных судопроизводства, одно — для богатых, другое — для бедных? Правда ли, что в капиталистических странах безработных грузят на пароходы, якобы, везя их на работы в колонии и..... топят в открытом море, дабы избавиться от лишнего балласта? Правда ли, что в Западной Европе кре-

стьяне три дня работают на помещика, а три дня на себя? И так далее, и так далее......

Формула — «у нас плохо, но в остальном мире еще хуже», конечно, не очень утешительна, как для власти, так и для подвластных, но миллионы раз отраженная, в умах и сердцах рядовых советских граждан могла стать стимулом для более терпеливого отношения к устрашающей прозе советской повседневщины, а равно замедлить процесс отрезвления русского народа.

Вторая мировая война взломала, но не сломала непроницаемую стену, возведенную вокруг СССР большевиками. Надо надеяться, что наступит день, когда эта стена будет сломана окончательно, а тогда и для граждан Советского Союза и для жителей всего остального мира будет достаточно оснований и для удивления, и для негодования.

Параллельно с процессом отрезвления народа, аналогичный процесс происходил и в самой большевистской партии. Я отнюдь не хочу последнюю представить с самого начала ее существования, как сборище матерых преступников, не ставивших себе никаких других задач кроме захвата власти. Нет никакого сомнения в том, что именно в этой партии (и быть может более, чем в какой либо другой), был известный процент идеалистов, твердо веривших, что осуществление их программы изменит к лучшему жизнь миллионов людей. Однако, когда эти люди увидели страшную действительность их теории, примененной на практике, то они начали трезветь и один за другим отходить от партийной линии. Этот процесс отрезвления внутри большевистской партии относится, главным образом, к периоду 1933 — 1938 г.г., т.е. к годам непосредственно примыкавшим ко времени коллективизации. И, если когда нибудь можно было расчитывать на пресловутую «эволюцию большевизма», то это могло иметь место именно в ту пору.

К сожалению, отрезвевшие большевики оказались неорганизованными и не подготовленными к борьбе и

поэтому, когда дамоклов меч внутрипартийной реакции обрушился на их головы, им ничего не оставалось другого, как с этими головами расстаться. В кровавом партийном погроме, длившемся несколько лет подряд, погибли десятки (если не сотни) тысяч отрезвевших большевиков. Этот погром начался с верхов партии, захватил, главным образом, середину и дошел до самых низов ее.

Подводя итог этой внутрипартийной бойне можно без ошибки сказать, что с 1938 г. в рядах большевистской партии не осталось ни одного «идеалиста». В ней остались только две категории партийцев: — фанатики и примазавшиеся. Или в переводе на более понятный язык: — сумасшедшие и прохвосты.

Победное окончание второй мировой войны, разумеется, вольет в партийные ряды, какой то процент идеалистов из молодежи. По поводу их дальнейшей судьбы не может быть двух мнений. Часть из них со временем отрезвеет и будет физически уничтожена новой волной партийной реакции. Другая часть — пополнит ряды двух, упомянутых выше, почтенных категорий, из которых состоит и, пожалуй, только и может состоять бессменный состав всесоюзной коммунистической партии большевиков.

На моем пути мне приходилось встречать представителей обоих категорий. Естественно, что все партийцы, без исключения, старались эвакуироваться еще до прихода немцев, но какой то очень небольшой процент застревал в оккупированных городах из за быстроты неприятельского продвижения. И надо сказать, что обе эти категории партийцев вели себя последовательно: примазавшиеся к коммунистам — с таким же рвением примазывались к немцам (многим из них это и удавалось), а фанатики уходили в подполье.

В разных городах, иногда, мои новые друзья показывали мне на какого нибудь мрачного субъекта, жившего по соседству и говорили: — «это убежденный большевик, только сейчас помалкивает....» И, странное дело, — я заметил, что во всех подобных случаях, почти без исключения, указанный «убежденный» отли-

чался особой и одинаковой для всех ему подобных внешностью: низкий лоб, маленькие звериные глазки, туповатое выражение лица, с какою то затаенной и, повидимому, вечной озлобленностью Когда я перебираю в памяти эти характерные образы, то мне непременно приходит в голову мысль, что если бы гориллы или оранг-утанги обладали даром человеческой речи, то они обязательно были бы большевиками. В этом отношении, высказанная кем то уже давно мысль, что большевик и коммунист не одно и тоже, совсем не звучит парадоксом. Большевизм — это религия неудачника, бунт недовольного, озлобленность обделенного, возмущение физического или духовного калеки. Коммунисты — это большевики, объединенные одинаковой партийной программой. Не поэтому ли, именно коммунистическая партия выдвинула из своих рядов, даже на руководящие посты, огромный процент нравственных уродов, дегенератов, садистов, кокаинистов морфинистов, алкоголиков, сифилитиков и прочих дефективных членов нормального человеческого общества.

Во всяком случае, когда мне приходилось встречать партийца с обыкновенной и даже приятной внешностью, я мысленно говорил себе: — «примазавшийся». И, наоборот,—встречая члена партии с явными ломброзовскими чертами, я неизменно отмечал про себя: — «убежденный». И надо сказать, что, по возможности, проверяя потом эти, более чем вольные, заключения, я пришел к удивившему меня выводу, что я почти никогда не ошибался.

Не говорит ли это о том, что коммунистическое движение заключает в себе не столь политические начала, сколь какие то несомненные зоологические признаки?

Природа не признает равенства и сама заботится о создании людей различного порядка. Это различие надо проводить не по расам и не по нациям, не по классам и не по профессиям, а исключительно по признаку моральных качеств человека. Во всем мире существуют люди высшего и низшего морального порядка. И если внимательно проследить характер, способы и особен-

ности борьбы коммунистов против всего остального общества, как в России, так и во всем мире, то нельзя не придти к заключению, что эта борьба является прежде всего борьбой людей низшего морального порядка с людьми высших духовных степеней.

Только усвоив это положение можно объяснить себе не только все массовые убийства, кошмарные насилия, обманы и надругательства, совершенные коммунистами в невиданном еще объеме за неслыханно короткий срок, но и то, что они с насмешкой и издевательством освистали не только христианскую, но и просто общечеловеческую мораль, как чуждую, непонятную и ненужную духовную обузу. Понятным станет тогда и та удивительная легкость, с какой коммунисты зачастую добиваются своих успехов. Происходит это, главным образом, потому что их враги придерживаются в борьбе с ними общепринятых правил человеческой морали и выступая против окровавленного топора — с декларацией прав человека, неизменно оказываются битыми. Когда человеческое общество осознает истинный смысл этой борьбы и заговорит с коммунистами на единственно понятном для них языке — языке силы, лишь тогда эта борьба примет те формы, которые она уже давно должна была принять. От исхода этой борьбы будет зависеть судьба нашей планеты на много столетий вперед.

Представлять себе эту борьбу, как борьбу политическую — было бы ошибкой, ибо в этом случае декларация прав человека будет неизменно натыкаться на окровавленный топор. Коммунистическая партия большевиков, родившаяся от социал-демократов, только первое время, по инерции, была политической партией К нашему же времени она уже давно из политического движения выродилась в некое международное содружество людей низших моральных степеней, объединенных в одно целое, не ради достижения каких то политических целей, а ради сохранения и расширения находящейся у них в руках власти и безразадельного обладания теми преимуществами, которые эта власть заключает в себе.

Таким образом, борьба с коммунизмом должна протекать, не столь в плоскости борьбы политической, сколь в порядке согласованной полицейской экзекуции, какие производятся обычно для разгрома хорошо организованных международных преступных банд. Правда, на этот раз эта экзекуция должна будет далеко выйти из обычных рамок и принять масштабы мировые. Но, ведь, и преступная международная организация, которая будет объектом этой экзекуции тоже уже давно выросла до размеров мировых.

В этой борьбе, которая должна носить характер именно борьбы мировых сил Добра с мировыми силами зла, русский народ, несомненно сыграет роль одного из наиболее значительных факторов. И если эта борьба будет понята правильно и вестись будет методами верными, то роль этого фактора для мировых сил Добра будет положительной.

Так могло случиться уже в войне 1941-45 г.г., если бы русский народ убедился в том, что немцы и есть та сила Добра, помощи которой русский народ ожидает уже столько лет. И не его вина в том, что в ходе минувшей войны он, в этом ожидании, был самым жестоким образом обманут.

XVIII

«СОЛНЦЕ ВОСХОДИТ НА ЗАПАДЕ» НЕМЦЫ В РОССИИ. ТРИ ЛОШАДИ СТАЛИНА.

Осенью 1941 года, среди другой корреспонденции, в редакцию «Нового Слова» было доставлено письмо в сером конверте немецкой полевой почты. Когда секретарь редакции вскрыл это письмо — из последнего вывалилось несколько мелко исписанных листков. Это был очерк, посвященный первым дням войны. Письмо прибыло из Смоленска. Автор — советский человек, житель этого города.

Спустя полгода в нашу редакцию будет поступать ежедневно более десятка таких писем. Но ни одно из них уже не произведет на нас такого впечатления как это. Ибо, это было первое письмо, полученное нами с территории России, первая корреспонденция с родины для русской зарубежной газеты.

Серый конверт и грязно - лиловые листки переходили в редакции из рук в руки и явились для очередного номера газеты предметом особых забот, начиная с редактора и кончая метранпажем.

Этот очерк носил название — «Солнце восходит на западе» и был для нас не только первым приветом с родины, но и первым показателем настроений среднего советского человека. Содержание очерка вполне отвечало его заголовку — автор сравнивал в нем начало войны Германии против СССР — с солнцем, взошедшим на этот раз на западе и несущим российским народам свет и освобождение.

Этот очерк, его заголовок и его содержание отвечали в то время настроениям громадного большинства населения СССР. Ибо, в те дни никто еще не видел ни штыков, которыми было утыкано это солнце, ни страшных харь жестоких ублюдков из Восточного министерства, притаившихся за его кровавым диском.

О том, как в первые дни войны отнеслись к немцам красная армия и гражданское население, уже говорилось на страницах моих записей. Однако, лучше всего об этом скажут два примера, которые я сейчас приведу. Два примера, которые имели место в начале этой войны и, которые, вероятно, не имели места ни в одной из тысячи войн, отгремевших на нашей планете за тысячи лет.

Осенью 1941года, когда немецкая авиация начала налеты на Москву, бабы смоленских сел, заслыша гудение сотен моторов, выходили на улицу и крестили вдогонку немецкие воздушные эскадры, проносившиеся над ними в сторону Москвы. Один из свидетелей этого, сказал такой бабе:

— Что ж ты тетка кресты посылаешь: ведь это немцы летят....

— А мне все равно — немец или нет, главное, что на святое дело он летит, — ответила ему баба.....

Во время одного из локальных боев на южном участке фронта, немецкая танковая часть, в срочном порядке, отошла назад, бросив при этом в поле около трех тысяч пленных красноармейцев. Через несколько часов после занятия новой позиции, немцы увидели облако пыли с восточной стороны. Думая, что это наступающий неприятель, танковая часть приготовилась к бою. Каково же было изумление немецких танкистов, когда они увидели, что это следом за ними, по страшной жаре, плетутся пешком, голодные и усталые пленные красноармейцы, которых они несколько часов назад оставили на покинутой позиции.

Через год — полтора эти же смоленские бабы разводили рельсы и пускали под откос немецкие военные эшелоны, а пленные красноармейцы, пробивая кам-

нем голову немецкому часовому, бежали в леса к партизанам-

Было ли все это?..... Да — все это было. Как же это могло случиться?... На следующих страницах я попытаюсь дать хотя бы приблизительный ответ на этот вопрос

——

Немецкое нашествие на Россию шло двумя волнами. Первой волной была германская армия. Второй — чиновники немецкого гражданского управления. Однако, в эти две волны вклинялась еще и третья. Это — немецкая пропаганда. Эта волна тоже имела свои особенности и, говоря о первых двух, нельзя и ее обойти молчанием.

В первые дни войны на востоке, в русское радио - отделение Министерства пропаганды в Берлине, пришел какой то аккуратненький, сухенький старичек, в старомодном сюртуке и целулоидовом воротничке. Он вынул из кармана листок и прочел написанное им стихотворение, которое, по его мнению, хорошо было бы передать по эфиру в Россию.

Стихотворение это начиналось так:

»....Как, когда то, вам варяги
Создавали вашу Русь,
Так теперь германски шаги
Изгоняют красный флюс....»

После каждой строфы следовал оптимистический рефрен:

«....Прыгай русский мужичек,
От Москва до Таганрог... »

Стихотворение это, правда, в эфир передано не было. Но немецкая пропаганда на русском языке, втечение всей войны, была похожа на эти незамысловатые вирши неизвестного старичка в целулоидовом воротничке. Ибо, согласно всему тому, что передавалось по радио и печаталось в листовках, русский мужичек обязательно должен был прыгать от радости и благодарности, но причины, ради которых он должен был столь бурно себя вести, ни разу не были указаны. Раз-

ница между этими виршами и немецкой пропагандой была, быть может, лишь в том, что неизвестный старичек был, несомненно, преисполнен самыми лучшими чувствами и хотя бы схематически был знаком с русской историей. Люди, ведавшие немецкой пропагандой добрыми чувствами преисполнены не были и русской истории не знали.

Немецкая пропаганда втечение всей войны призывала русский народ помогать всеми силами победному для Германии окончанию войны, не говоря в тоже время о том, что эта победа принесет русскому народу. В этом отношении немцы, в силу, правда иных причин, повторили ошибку руководителей Белого движения. В обоих случаях вся антибольшевистская пропаганда строилась на лозунгах отрицания: — «долой большевизм», «долой советскую власть«, «долой коммунистическую партию«, без ясного ответа на то, чтоже придет на смену большевизму, советской власти и коммунистической партии. Между тем, пропаганда претендующая на успех ни в коем случае не может базироваться только на лозунгах отрицания, но должна нести в себе и лозунги утверждения. Если чему то объявляется «долой», то за этим сразу же должно следовать и соответствующее «да здравствует».

Это обстоятельство, в свое время, отлично учли большевики и в эпоху октябрьской революции и гражданской войны, каждому большевистскому «долой» непременно следовало соответствующее «да здравствует«.

Другое дело, что потом большевистская партия ни одного из этих «да здравствует» не выполнила. Это уже относится за счет той лживости, которая лежит в основах большевистской теории и практики. Но, в свое время, эти «да здравствует» сослужили хорошую службу большевикам.

Руководители Белого движения и, двадцать три года спустя, немцы роль этих «да здравствует» совершенно не учли. В первом случае все обещания сводились к созыву «Учредительного собрания». Во втором — русский народ соблазняли тем, что он «будет включен в состав Новой Европы». Если в годы гражданской вой-

ны туманная и скомпрометированная «Учредилка» не вызывала особых эмоций у русского человека (как на стороне красных, так впрочем и — белых), то сомнительная честь быть включенным в Новую Европу была ему попросту непонятной. Среднему русскому человеку одинаково безразлична, как старая, так и новая Европа. У него есть свои собственные большие заботы и своя настоящая боль. Поэтому, от каждого зовущего его на борьбу, он хочет иметь ответ не только против чего он будет бороться, но и, что его может ожидать в результате этой борьбы.

Этих ответов он не получил ни от руководителей Белого движения, ни от немцев. Первые его не дали потому, что и сами точно не отдавали себе отчета в том, за что именно они борются. Вторые не могли его дать, ибо та цель, ради которой они боролись, разумеется, никак не могла устроить ни одного русского человека. В обоих случаях это оказалось одним из сильнейших козырей в игре большевиков и оба раза эта игра закончилась для их врагов трагически.

Однако, этот основной порок немецкой пропаганды не был единственным. Волна этой пропаганды, направляемая из Берлина, уже в самом начале разбивалась на разные течения, которые, дойдя до оккупированных областей, рассыпались по ним тысячами мелких брызг, часто не имевших ничего общего между собою. Пропагандный аппарат Восточного министерства работал по одной линии, Министерства пропаганды — по другой, германской армии — по третьей. Первые два министерства ненавидели друг друга и, где только возможно ставили одно другому палки в колеса. Оба эти партнера с явным недоверием относились к третьему, который, в свою очередь, не скрывал своего презрения к ним обоим.

Разноголосица в пропаганде естественно породила и разноголосицу мер, проводимых на оккупированной территории. В одних местах отменяли колхозы, в других их укрепляли в еще более жесткой форме, временами в деревнях действовало выборное начало, затем оно заменялось принципом назначения сверху, в одних

городах оказывалось покровительство сепаратистским течениям, в других сепаратистов преследовали, выпускались какие то декреты, которые завтра же отменялись и заменялись совершенно противоположными, что то обещалось для того, чтобы не быть выполненным и, что то выполнялось, чего никто и никогда не обещал.

Все это вместе взятое создавало в оккупированных областях такую свистопляску, что население не знало кому оно должно верить, а кому нет. Скоро оно уже не верило никому.

Все же в этом трагическом калейдоскопе, на всем протяжении войны, можно было проследить одно общее для всей оккупированной территории явление. А именно: в областях, находившихся непосредственно под управлением военного командования жизнь была много лучше, нежели в тех районах, которые прочно отошли под опеку немецкого гражданского управления. Происходило это не только потому, что армия была занята войной и мало обращала внимания на дела внутреннего порядка, но и потому, что качественный подбор людей в армии и гражданском аппарате резко отличался друг от друга и давал громадный перевес на сторону армии.

Волна германской армии, катившаяся на восток была первой реальной силой, с которой знакомилось русское население. Для некоторых это знакомство было печальным, для большинства — вполне приемлемым. В ходе войны на востоке создалось понятие о «немецких зверствах». Справедливость требует отметить, что меньше всего зверств в России было совершено германскими фронтовыми частями. Эти части совершали, то непредусмотренное никакими конвенциями количество зверств, которое совершает каждая армия вторгающаяся на неприятельскую территорию. На совести германской армии их было, вероятно, больше чем, скажем, — американской, вступившей на территорию Германии и, во всяком случае, неизмеримо меньше чем у красной армии, после ее перехода германских границ.

Жестокая судьба пленных красноармейцев в начале войны не может быть отнесена за счет германских фронтовых частей. Эту позорную страницу в немецкую военную историю вписали тыловые части армии, состоящие из особых команд («зондеркомандо«), набранных среди отборных подонков национал - социалистической партии. Что касается фронтовых частей, то они нередко отпускали пленных по домам в первый же день пленения, особенно если речь шла об уроженцах уже занятых немцами областей. Часть пленных, по собственному желанию, вливалась в германские боевые части в качестве разведчиков или вспомогательного персонала.

Но и судьба военнопленных, попавших в немецкий тыл, была особенно жестокой лишь в начале войны. Со временем их положение улучшилось, хотя втечение всей войны оставалось хуже, чем положение военнопленных других стран, что во многом явилось следствием чудовищного приказа Сталина, которым он отказался от своих пленных. Это лишило их поддержки международного Красного Креста, отразилось на их питании, осудило на полное бесправие и подстрекнуло немецкое лагерное начальство к безответственному к ним отношению. Что же касается общего улучшения их судьбы, то это прежда всего явилось следствием незаметных, но героических усилий российских антибольшевиков, находившихся в то время в Германии, Польше и Прибалтике, положивших немало труда в этом направлении и добившихся, наконец, результатов. Уже одно это делает ярлык «коллаборантов», приклеенный этим людям благополучными соотечественниками за океаном, не только достаточно нелепым, но в какой то перспективе российской освободительной борьбы, ставит их в более выгодную позицию, чем этих самых благополучных соотечественников, дружно собиравших деньги на «сталинградских сирот« в наивном предположении, что эти деньги действительно к этим сиротам попадут. Наличие этих «коллаборантов» спасло в то время не одну тысячу жизней, которые еще пригодятся России. Вряд ли, деньги, собран-

ные на «сталинградских сирот» — утерли хоть одну сиротскую слезу.

Эти же «особые команды» занимались и чисткой среди гражданского населения. Эта чистка охватывала, главным образом, — евреев. На всей оккупированной территории «особые команды» уничтожали их почти без остатка.

Реакция населения оккупированных областей на это истребление евреев исходила из их, выработанного десятилетиями, к ним отношения. Русские евреи приняли большое процентное участие в установлении и работе большевистского аппарата в России. От Троцкого, Свердлова, Урицкого, через братьев Кагановичей и Френкеля, до многочисленных следователей НКВД и даже завмагов (в которых советский обыватель имел некоторые основания тоже видеть своих угнетателей), в понятии многих русских людей, особенно в первый период большевистского режима, евреи, до некоторой степени, слились с понятием советской власти. Особенно это мнение укрепилось, одно время, в русском зарубежьи. Или во всяком случае — в преобладающей части его.

Однако, советский обыватель, наряду с процветанием Кагановичей и Френкелей, видел и немало еврейской бедноты, жившей рядом с ним и страдавшей от советской власти в той же степени, в какой страдал и он Исходя из этого, у советского обывателя выработалось по отношению к евреям чувство не расовое (вообще чуждое русскому человеку), а политически — бытовое. Другими словами, еврейского вопроса, (в том значении этого слова, в каком это понималось до сих пор), на оккупированной территории, для русских людей не существовало, а существовал лишь вопрос большевистской диктатуры. Тот, кто принимал участие в этой диктатуре рассматривался — врагом, а кто в ней участие не принимал — товарищем по несчастью и союзником. Один киевлянин, беседуя со мной на эту тему, обронил фразу, которая хоть кратко, но довольно ясно характеризует весь комплекс этих вопросов:

— Места у нас много, — сказал он, — хватит его и

для памятника Канегиссеру и для виселицы Кагановичу.....

Видимо, согласно этой формуле, население оккупированных областей с одинаковой энергией вылавливало евреев - энкаведистов (как это делало и с энкаведистами - русскими), случайно застрявших в городах, занятых немцами и прятало (с опасностью для собственной жизни) тех евреев, которые к большевистской диктатуре никакого отношения не имели.

На оккупированной немцами территории, с уходом большевиков, бежали и все те евреи, которые имели какое то отношение к большевистскому аппарату насилия, а на местах осталось лишь та еврейская беднота, которая по злой иронии судьбы ожидала немцев тоже как освободителей. Немцы, уничтожив эту бедноту приписали к своему пассиву на оккупированных территориях еще какую то единицу с нулями, без всякой пользы и без всякого смысла для себя. Что же касается остального населения, то эта мера поразила его прежде всего своей свирепой бессмысленностью. Это не только психологически оттолкнуло его от немцев, но и привело к сознанию, что на этот раз борьба ведется не только против коммунистов и, что истребление евреев только первый этап этой борьбы, за которым могут последовать и другие. Будущее покажет, что опасения эти были верными.

Если эти две темные страницы следует отнести за счет «особых команд», чинам которых не всегда подавали руку чины фронтовой германской армии, то на счет последней остается лишь какое то число изнасилованных женщин, зарезанных свиней и украденных кур, которое в приблизительной пропорции соответствует аналогичному проценту всех других армий от времени Цезаря и до наших дней. В остальном офицеры, а особенно солдаты германской армии очень коротко сходились с населением. В первую военную зиму население Крыма питалось, в значительной степени, за счет котлов германской армии. На завалинках украинских хат множились идиллические картинки, в которых немецкие солдаты няньчили своих детей,

произведенных на свет вчерашними колхозницами. В прифронтовой полосе немецкие солдаты помогали населению обрабатывать землю, разводили огороды, починяли тракторы. Процент чинов германской армии, желавших вступить в брак с представительницами «низшей расы Востока», принимал катастрофические размеры и вызвал особые мероприятия верховного командования.

Что же касается меня лично, то я, читая теперь много вздора о германской армии, не могу не вспомнить тех дней, ночей и тысяч километров, которые я проехал по России, часто, в вагонах с немецкими солдатами. Мне случалось садиться в эти вагоны и на отправных станциях средь бела дня, и на маленьких полустан ках среди ночи. Я не имел на себе никаких знаков, указывающих, что я корреспондент берлинской газеты. Вид у меня не всегда был безукоризненный. И наконец, я почти не говорил по немецки. И, тем не менее, за все мои совместные поездки в одном купэ с немецкими солдатами, ни один из них не спросил меня — кто я такой, почему я еду в этом купэ и какие у меня имеются документы. Для многих это, вероятно, будет звучать невероятно, но это было именно так. И я не отдаю себе точного отчета в том, могло ли подобное произойти со мной, в этих же условиях, в среде любой из демократических армий сегодняшнего дня. Во всяком случае, некоторый опыт, приобретенный мной во время попыток поездок по западным зонам Австрии в 1945 году, заставляет меня усомниться в этом Что же касается восточных зон Австрии 1945 г. то о них можно, конечно, и не говорить.

В политическом отношении новость, приносимая вол ной германской армии сводилась к короткой формуле: «Сталин — капут», «большевист — капут«, сообщаемой немецкими солдатами населению и встречавшей бурное одобрение у последнего. В административном плане командование германской армии предоставляло населению почти полную свободу действий, которая привела к выборному началу сельских старост и доказала казалось бы совершенно невероятную (после

стольких лет страшной диктатуры) и в тоже время понятную вековую способность русского народа строить свою жизнь на демократических началах, идущих снизу. В экономическом отношении германская армия предоставляла также большую свободу и крестьяне сами решали делить ли им землю сразу или сохранить временно коллективное пользование ею, что обычно вызывалось исключительно острым недостатком инвентаря и тяглового скота. Поборы продовольствия для армии, как правило были вполне терпимыми и, по сравнению с советским выкачиванием «под метелку», значительно выигрывали в пользу немцев. В прифронтовых полосах это положение было длительным. На остальной части оккупированной территории этот почти медовый месяц освобождения от советской власти был кратковременным.

Ибо, за волной германской армии следовала страшная коричневая волна немецкого гражданского управления.

В промежутке между образованием Восточного министерства и назначением имперских комиссаров («рейхскомиссар») Украины и Белоруссии, в русских антибольшевистских кругах Берлина еще существовали какие то иллюзии по поводу возможности создания на очищенных от большевиков территориях, очагов будущей российской государственности. Наиболее оптимистически настроенные люди, одно, правда очень короткое время даже полагали, что Восточное министерство образовано с целью координации отношений русского населения и немцев и административно-технической помощи в создании новой жизни. Жители оккупированных областей, примерно, также оценивали обстановку и, не встречая противодействия со стороны военных властей, сами стали создавать очаги самоуправления. Назначение имперских комиссаров уничтожило, как эти иллюзии, так и эти очаги.

Когда в редакцию «Нового Слова» принесли вечернюю газету с указом о назначении этих комиссаров и их портретами, помню, редактор, развернув ее сказал:

— Ну, теперь на всем можно поставить крест...

— Почему, — спросил кто то из сотрудников.

— Вы видели эти ряжки? Вы посмотрите на них как следует, — хлопая по газете, ответил он. — Ну, чего можно ожидать от людей с такими физиономиями.....

С газетной страницы смотрели физиономии, действительно, не обещающие ничего доброго. В них отражалось какое то знамение времени. Я думаю, что если б по всей Германии надо было их специально подыскивать, то более глупых, жадных и жестоких физиономий найти было бы трудно.

Глупость, жадность и жестокость .... В эти три слова укладывается вся деятельность немецкого гражданского аппарата в России. Глупость, Жадность и Жестокость — вот имена трех лошадей, впряженных Гитлером, Розенбергом и Кохом в победную колесницу Сталина, которая повезет его в Берлин. Этим трем деятелям нацистской Германии большевики, по существу, должны были бы поставить памятники, а не клясть их, ибо никто не содействовал укреплению большевистской власти в той мере, в какой это сделали они.

Центральной фигурой гражданского управления оккупированных областей был «гауляйтер» Восточной Пруссии — Эрих Кох, ставший имперским комиссаром Украины. До того, как дружба с Гитлером вынесла его на поверхность жизни, Кох был служащим на вокзале в Кенигсберге. Он годами стоял у выхода с перона и отбирал у пассажиров билеты. По мнению железнодорожного начальства, это, вероятно, было максимумом того, на что был способен Эрих Кох. Новое начальство, в лице Гитлера, назначило его неограниченным самодержцем Украины, территории, почти равной Германии, с населением более тридцати миллионов человек, со сложной и запутанной обстановкой огромной области, освободившейся от многолетней большевистской диктатуры. Генеральным комиссаром Киева и киевской области сделался некто Магуния — булочник из Кенигсберга, который, вероятно, в свое время отпускал Коху в кредит «бротхены» и незабытый потом его милостью. Примерно, по этому же принципу подбира-

лись и остальные кадры гражданского управления.

В тоже самое время в Германии сидело без дела немало немцев (особенно русских немцев), прекрасно знавших Россию и понимавших всю трагедию создавшегося положения. За откровенные высказывания по русскому вопросу, их иногда посылали на фронт простыми солдатами, иногда — сажали в концлагеря. А на оккупированные территории ехали, расшитые золотыми позументами по коричневому сукну, железнодорожные контролеры, булочники, трактирщики, сутенеры, просто неудачники и прочий мелкий партийный люд, не имевший никакого представления о той стране, куда его посылали, кроме внушенного с партийных верхов понятия о том, что там живет народ «низшей расы», которым надо управлять «железной рукой«.

Вот как выглядел гражданский аппарат управления, которому выпало на долю познакомить население оккупированных областей с Германией, более тесно, чем это могла сделать армия. Для населения это знакомство оказалось драматическим. Для Германиии оно закончилось трагически. Но даже и в этом аппарате встречались люди, которые понимали, что, то, что они делают — совсем не то, что надо делать. Получая новый приказ, и видя его нелепость, они хватались за голову, но..... приказ выполняли. Знаменитое немецкое — «приказ есть приказ» — побеждало все остальное. Таким образом, дисциплина, видимо, не всегда является положительным качеством. Пресловутая немецкая дисциплина на этот раз содействовала катастрофе, ибо немцы беспрекословно выполняли все приказы своего начальства. Даже явно идиотские и вредные для самой Германии.

Если бы кто нибудь в 1941 году засел за работу и написал бы специальный устав, посвященный тому, чего немцам н е л ь з я делать в занятых областях, то в этом уставе несомненно оказалось бы как раз все то, что немцы в этих областях делали. Это совсем не каламбур. Это было именно так. И это настолько резало глаза, что некоторые особенно подозрительные люди, не раз высказывали нелепые предположения, что кто

то из высших руководителей Германии находится на службе у большевиков и, действуя по их указаниям, делает все возможное, чтобы население оккупированных областей восстановить против немцев. Предположения эти были вздорными. Но они соблазнительно походили на правду.

В политическом отношении гражданское управление, руководимое глупостью, повело беспощадную борьбу со всеми зачатками российской государственности и разгромило уже созданные очаги последней. Это вынуло намечавшийся костяк из аморфной массы населения и последнее было ввергнуто в состояние перманентной политической анархии. Тоже относится и к административному аппарату, в котором были уничтожены все, родившиеся при военном управлении, органы самоуправления и все было сосредоточено в руках немецких чиновников, которые не только не знали обстановки, но и не понимали ни слова по русски. Это создало пропасть между административным аппаратом и населением и последнее предпочитало обходиться без услуг первого, что еще более способствовало росту анархии.

В экономическом вопросе, на первый план выступила жадность, подсказывавшая, что надо сохранить колхозную систему, ради выкачивания из крестьян максимального количества продуктов, которые вывозились в Германию без всякой возможности для крестьян получить, что то взамен. Несмотря на то, что немецкая система выкачивания продуктов, за незнанием обстановки и недостатком людей, значительно уступала советской, тем не менее, сохранение колхозов и продолжающийся грабеж крестьянства, оттолкнули массы последнего от оккупантов.

Паралелльно была запрещена всякая частная торговля (которая начала бить живительным ключем при военном управлении), вплоть до базаров, которые разгонялись специальными нарядами полиции. Это создало буквальный голод в городах и способствовало восстановлению городского населения против немцев. Чем была продиктована эта мера — трудно сказать Быть

может тоже — жадностью, ибо в результате свободной торговли происходила бы утечка продуктов от их прямого назначения — вывоза в Германию. Но возможно, что тут уже выступала на арену и жестокость, которая осуждала города на медленное вымирание, что могло быть одной из мер, ведущих к «искусственному сокращению населения», что согласно слухам ходившим по Берлину, также входило в программу деятельности немецкого гражданского управления на оккупированной территории.

Жестокость, широко применяемая в оккупированных областях, не ограничилась истреблением евреев, отдельными эксцессами карательных экспедиций, избиением правых и виноватых, вешанием на площадях заложников, но и вылилась в массовые формы в виде насильственного вывоза гражданского населения на работы в Германию. Этот вывоз проводился в огромных масштабах. Вывозились учащиеся университетов, школ, рабочие заводов, устраивались облавы на улицах, площадях, базарах. Дети разлучались с родителями, жены с мужьями, братья с сестрами. Во время облав центральные части городов были похожи на джунгли Конго в самые черные времена работорговли. Люди, спасаясь от этого, бежали в деревни, но их искали и там. Тогда они уходили в леса и пополняли, начавшиеся образовываться партизанские отряды. Ошибочно думать, что партизан на оккупированной территории создала Москва. Их создал — Берлин.

В свое время немецкие мемуаристы, причастные к поведению немцев в оккупированных областях, будут, вероятно, указывать на десятки причин, вызвавших именно такое поведение. Вряд ли это убедит кого нибодь. Причин этих было только три: глупость, жадность и жестокость. И самым наглядным примером к тому, что немцы делали как раз то, чего нельзя было делать, является оккупированная румынами Одесса и прилегающая к ней область, вошедшая в историю этой войны под именем — «Транснистрия». Румыны там сделали как раз обратное тому, что сделали немцы на Украине. По крайней мере в экономическом отноше-

нии. Они разрешили свободную торговлю и не вывозили в Румынию, ни рабочую силу, ни продукты. Я позже проведу в Одессе два месяца. И я своими глазами увижу, какое чудо может произойти на русской земле, в результате осуществления трех слов: свободы частной инициативы. За один год жизнь в Транснистрии, вернулась на тридцать лет назад и, перескочив НЭП, приближалась к сказочным временам дореволюционного времени.

После передачи Украины гражданскому управлению, вся эта огромная территория практически превратилась в прерии дикого Запада, где не действовали никакие законы, кроме закона сильного. Сильнее всех чувствовал себя там Кох, ибо под его рукой была полиция, а за его спиной Гитлер. К закулисному хаосу и вражде разных министерств, с образованием «Рейхскомиссариата Украины» прибавилось еще соперничество Коха с Розенбергом, смертельно ненавидевших друг друга. Кох отказывался подчиняться Розенбергу, ссылаясь на то, что он ответственен только перед Гитлером (об ответственности перед русским народом и немецкой историей он забывал) и грозился повесить Розенберга, если тот приедет в его резеденцию в Ровно. Розенберг жаловался Гитлеру на Коха, но в Ровно не ездил.

Когда, в соответсвующем отделении Верховного командования в Берлине, я получал пропуски для моей второй поездки в оккупированные области, бывшие почти целиком под немецким гражданским управлением, знакомый обер-лейтенант из русских немцев, выдавая мне бумаги сказал:

— Ну, вот, получайте ваши бумаги и поезжайте. Но только, Боже вас упаси, не заходите ни в какие отделения «рейхскомиссариата Украины». Вас там могут арестовать, повесить и мы даже об этом не узнаем.......

Эти слова лучше всего характеризовали «правовое» положение, созданное на территориях, находившихся под немецким гражданским управлением и, если корреспонденту берлинской газеты рекомендовалось избегать контакта с чиновниками этого управления, то не

удивительно, что местное население должно было попросту убегать от них в леса.

На этом этапе оккупации даже антибольшевистская пропаганда уже не интересовала немцев. Видимо, они считали, что она свою роль сыграла и теперь надо заниматься не ерундой, а «делом». Это повело к полному зажиму местной прессы, возникшей при военных властях, которая была постепенно сведена к маленьким еженедельным газетам, помещавшим сводки Верховного командования и распоряжения немецких гражданских властей. «Новое Слово» было пропросту запрещено Кохом. В Киеве это запрещение было тотальным. В другие города газета проникала, но судьба каждого номера зависила от личного взгляда на нее дежурного чиновника. Это запрещение нашей газеты на оккупированной Украине. было самым нелепым событием в ее жизни во время войны И. одновременно — это было самым лучшим комплиментом для нее.

Наряду с разгромом всего русского, на Украине, происходил и разгром украинских сепаратистских ячеек, пользовавшихся у Розенберга особой благосклонностью. Быть может, последнее, до некоторой степени, и обусловило поход против них Коха. Правда, эти ячейки представляли известную значительность лишь в западной Украине, отошедшей к СССР после раздела Польши, а с приходом немцев включенной в польское «Генерал - Губернаторство», особой единицей, названной «дистрикт Галициен». В восточной Украине сепаратистское течение носило наносной характер, занесенный галичанами, в большом количестве ринувшимися на восток. Им удалось в начале захватить ряд ключевых позиций в администрации, равно и многие газеты. Их деятельность нашла некоторый отклик среди городской интеллигенции, но деревенские массы остались равнодушными. Крестьяне мне не раз говорили, что они не понимают языка, на котором издаются галичанами газеты. В Киеве, где выходило две газеты: русская и украинская — каждый желавший купить русскую, должен был непременно взять и украинскую. Видимо, украинскую газету не понимали и в Киеве.

Поход Коха против украинских сепаратистов прибавил к врагам немцев еще одного. Врага, правда, немногочисленного, но единственного — хорошо организованного. К партизанам иных видов, прибавились еще и партизаны украинские.

Таким образом, за короткий срок деятельности немецкого гражданского управления, на оккупированных территориях не осталось ни одной группы населения, которую бы это управление не восстановило против себя. Недовольство населения росло из месяца в месяц, сведения о происходящем здесь просачивались на другую сторону фронта и прогрессивно увеличивали количество русских людей, понявших, что немцы несут не освобождение, а рабство не менее страшное, чем то, которое было при большевиках, но более оскорбительное, ибо оно носило на себе клеймо чужеземного ярма. На фоне этого, все усилия германской армии на фронте оказывались тщетными и превращались в своего рода Сизифов труд, так как на месте одного уничтоженного врага, появлялось десять новых.

Другими словами, со стороны Германии, кампания на востоке шла по двум параллельным руслам: а) германская военная машина уничтожала живую силу неприятеля; б) нацистская партийно-политическая машина эту силу все время увеличивала. Но, в виду того, что военная машина действовала со средствами ограниченными, а глупость партийно-политического аппарата никаких границ не знала, то естественно, что к истечению второго года войны, живая сила неприятеля, вместо того, чтобы во много раз уменьшится, наоборот — увеличилась во много раз.

Результаты этого сказались очень скоро. Особенно ярко сказались они в кровавой четырехмесячной бойне под Сталинградом, ставшей не только пределом немецких военных успехов, но и переломным пунктом второй мировой войны.

XIX

ДВЕ ФАЗЫ ВОЙНЫ.
НАЦИОНАЛЬНЫЙ НЭП.
СТАЛИНГРАДСКОЕ ПОБОИЩЕ.

Один москвич, имевший временами доступ в Кремль, рассказывал мне об одной «исторической картине», висящей в одном из зал Кремлевского Дворца. Эта картина изображает Ленина, произносящего речь толпе летом 1917 года в Петрограде. Вокруг в эффектных позах стоят сподвижники вождя пролетариата: Сталин, Молотов, Каганович, Киров, Орджоникидзе......

Для человека, хоть немного знакомого с историей русской революции, эта картина — нелепица. Ибо, ему должно быть хорошо известно, что люди, стоящие около Ленина не могли около него стоять по той простой причине, что их в то время, либо вообще не было в Петрограде, либо в то время они играли столь незаметную роль в революционных событиях, что автору картины и в голову не могла придти мысль поставить их рядом с Лениным.

Каким же образом могло появиться на свет это «историческое полотно?»

История этой картины весьма оригинальна. Она появилась на свет еще при жизни Ленина. Сам Ленин был изображен точно также, как он сохранился на этом полотне до сих пор: солнечный, пыльный день, тающие вдали очертания петроградских домов, импро-

визированная трибуна и стоящий на ней Ленин с поднятой ввысь рукой. Третий план картины — солдаты, матросы и толпа — тоже не претерпел никаких изменений. Зато второй план картины — сподвижники Ленина у трибуны — подвергся самым коренным изменениям. На оригинале картины, стоящими около Ленина лицами были: Троцкий, Зиновьев, Володарский Урицкий и Свердлов.

В таком виде картина эта висела несколько лет. Затем Троцкий из ближайшего и, несомненно, наиболее близкого в те дни сподвижника Ленина, превратился во «врага народа» и «презренного фашистского пса«. Само собой разумеется, что такому субъекту стоять на картине рядом с великим Ильичем, по меньшей мере неудобно. И вот, по приказу свыше, автор картины (а может быть и другой художник) замазывает Троцкого и вместо него у подножия трибуны вырастает плотная фигура Иосифа Виссарионовича Сталина.

«Лиха беда начало» — говорит русская пословица и несколькими годами позже такая жа судьба и по тем же причинам постигает и Зиновьева. Вместо него появляется на картине фигура Молотова.

Трудно сказать почему Киров, Каганович и Орджоникидзе сменили на этой картине Володарского, Урицкого и Свердлова. Последние не оказались ни «врагами народа», ни «презренными фашистскими псами«. Вероятнее всего это случилось потому, что они как очень давно сошедшие с политической и жизненной арены просто стали «неактуальны» и были заменены более «актуальными в то время (время этой своеобразной «реставрации» картины) Кировым, Кагановичем и Орджоникидзе.

Так создаются в СССР — «исторические картины».

Однако, по таким же точно рецептам создается в СССР и — история.

Как то в Симферополе мне показали номер тамошней газеты «Красный Крым» за 1940 год. Этот номер был посвящен двадцатилетию окончания гражданской войны на юге России. В передовой статье я прочел следующую фразу: — «в ноябре двадцатого года осу-

ществляя гениальный стратегический план товарища Сталина, Красная Армия сбрасывает в море остатки белогвардейских банд Деникина - Врангеля.....»

Еще раньше, кажется в Киеве, мне попалась в руки брошюра, посвященная годовщине ликвидации армии Колчака. В этой брошюре, черным по белому, было написано следующее: «осенью девятнадцатого года, выполняя гениальный стратегический замысел товарища Сталина, Красная армия отбрасывает колчаковские банды за Урал и наносит им окончательное поражение в Западной Сибири....»

Мне не попадались в руки газеты или брошюры, посвященные ликвидации армий генерала Миллера в Архангельске или Юденича под Петроградом. Но, если бы они мне попались, то я, конечно, нашел бы в них восхитительные исторические открытия, согласно которым и эти очаги Белого Движения были ликвидированы красной армией, выполнявшей «гениальный стратегический план (замысел) товарища Сталина».

Впрочем, подтверждение этой моей мысли я нашел в новом издании «Краткого курса истории ВКП(б)». Составители его без всякого стеснения перед современниками и потомством так и говорят: — «Сталин руководил решающими операциями. Под Царицыным и под Пермью, под Петроградом и против Деникина, на западе против панской Польши и на юге против Врангеля — всюду железная воля и стратегический гений Сталина обеспечивали победу революции». (стр. 83).

Между тем, людям, даже поверхностно знакомым с историей гражданской войны в России, прекрасно известно, что на всем протяжении ее, Сталин не занимал ни одной ответственной военной должности, никогда не руководил ни одной боевой операцией и все его участие в этой войне свелось, главным образом, к тому, что он, в качестве обыкновенного правительственного комиссара, либо добывал хлеб для Москвы, отбирая его путем насилия над крестьянами в глубоком тылу красной армии, либо занимался политическими чистками, т.е. расстрелами в разных участках прифронтовой полосы.

Таким образом, небылицы, печатаемые в советских газетах, брошюрах и в «Краткой истории ВКП(б)», являются подхалимской ложью и бесстыдной исторической фальшивкой.

Фальшивки такого рода возможны только в СССР, где люди создающие их чувствуют полную безнаказанность за сервируемую ими возмутительную историческую ложь, ложь еще более безстыдную тем, что преподносится она читателям, значительная часть которых была, либо участниками описываемых событий, либо их непосредственными свидетелями.

Эта безнаказанность покоится на том, что в условиях советского полицейского режима ни один командир из времен гражданской войны не посмеет опровергнуть подобное утверждение, ни одна газета не посмеет отказаться напечатать эту чудовищную подхалимскую чушь и ни один советский гражданин, читая все это, не посмеет, ни громко рассмеяться, ни выругаться вслух.

Те читатели, которые прекрасно знают, что все это было совсем не так, разумеется, смеются про себя этим лакейским словоизвержениям партийных историков. Но есть и другая категория читателей — подрастающая молодежь, которая принимает порой это за чистую монету, ибо не существует в мире такой лжи, которой бы не поверил какой то процент доверчивых и неосведомленных людей. Для людей этого рода и пишется большевистская история и надо ли говорить, что она находит читателей, которые верят всему в ней написанному.

Однако, если из роли Сталина в гражданской войне, во время которой он был лишь захудалым политическим комиссаром, советские историки создают своеобразного «отца победы», то нет никакого сомнения в том, что в истории последней войны, втечение которой он официально занимал должность верховного главнокомандующего (правда ни разу не побывавшего на фронте,) ему будет отведена какая то фантастическая роль еще не улавливаемая мозгом нормально мыслящего человека.

Уже к концу войны, в советской прессе начали появляться статьи в которых утверждалось, что весь ход этой войны был заранее предвиден Сталиным и протекал по тщательно обдуманному им и, разумеется, гениальному плану. В этих статьях прямо говорилось о том, что в первой фазе войны: — «Красная Армия, выполняя гениальный стратегический план товарища Сталина, завлекает врага вглубь страны, выматывая его силы.....»

Затем в них утверждалось, что Сталинград был заранее намечен Сталиным для решительного сражения, после которого опять - таки: — ....« следуя гениальному стратегическому замыслу верховного главнокомандующего, Красная Армия начинает теснить врага с советской территории....»

Подобные вещи в советской прессе пишутся вполне серьезно и авторы их, повидимому, даже не чувствуют сомнительной «гениальности стратегического замысла«, согласно которому большая половина Европейской России была отдана вражескому потоку и разграблению сроком на три года.

Впрочем, вопрос о том, как советские официальные источники будут толковать в свое время ход минувшей войны, является мало интересным. Гораздо более значительным является вопрос о том, как эта гигантская борьба протекала на самом деле и какие силы влияли в разное время на ее течение и конечный исход.

В этой главе я и хочу остановиться на этом вопросе и ,прежде чем перейти к его изложению, считаю необходимым подчеркнуть то, что мои высказывания по этому вопросу являются не только моими личными наблюдениями и заключениями, а опираются и на то обстоятельство, что втечение всей этой войны я был в непосредственном контакте с тысячами советских граждан, в том числе с солдатами, офицерами и генералами красной армии, в разное время войны, оказавшимися по эту сторону кровавого рубежа.

Германо - советская война 1941 - 45 г.г. делится на две фазы, резко отличающиеся одна от другой. Пер-

вая фаза охватывает, примерно, первые восемнадцать месяцев войны. Вторая фаза — все остальное время ее.

Первая фаза отличается прежде всего тем, что в продолжении ее войну против Германии вела советская власть. Во второй фазе войну против Германии вел русский народ.

Из этого основного различия сами собой вытекают и все остальные отличительные черты этих двух военных периодов. Первый период войны, (ведомый советской властью) ознаменовался неслыханным поражением красной армии, неисчислимым количеством пленных и огромным пространством уступленной врагу территории. Второй период войны (ведомый русским народом) был характерен блестящими победами русского оружия, глубоким героизмом проявленным простым русским человеком и полным разгромом вражеских армий.

Советские граждане хорошо помнят первые дни войны. Они хорошо помнят, то состояние крайней растерянности, которое царило тогда во всех слоях коммунистической партии. Эта растерянность одинаково выражалась и в поразившей всех советских граждан речи Сталина по радио, которую он начал с церковного обращения: — «дорогие братья и сестры», и до нелепых арестов провинциальными партийными сатрапами людей, носящих очки, фетровую шляпу или пиджак заграничного фасона, как немецких шпионов.

Эта растерянность вытекала разумеется, не из за неожиданности германского удара, ибо трудно предположить, чтобы для советского правительства, обладающего одним из самых крупных осведомительных аппаратов в мире, могла остаться тайной концентрация на советских границах многомиллионной неприятельской армии и целых гор военного материала.

Растерянность эта явилась следствием того, что уже в первые дни войны для партийных кругов стало ясно, что армия и народ не желают воевать с немцами и видят в последних не врагов, а освободителей от коммунистической диктатуры. Именно это обстоятельст-

во и оказалось тем неожиданным элементом в этой войне, который не был достаточно учтен всезнающим аппаратом советской разведки и внес настоящее смятение в ряды большевистской партии.

Создавшаяся, таким образом, критическая обстановка требовала принятия каких то срочных мер, которые бы заставили армию и народ сражаться с врагом, с которым они сражаться не хотели.

Эти меры были приняты и они наложили свой резкий отпечаток на весь первый период войны

При изыскании способов и мер, которые бы дали в этом отношении желательные для советской власти результаты, большевистская партия в первой фазе войны оставалась последовательной и верной своим методам. Другими словами, она и в условиях внешней войны решила применить теже методы воздействия на своих граждан, которые ею применялись и в мирное время. А именно: строжайший партийный контроль, беспощадный террор и вытекающий из него страх.

В этом периоде войны командование советскими армиями вручается верным партийным выдвиженцам: Ворошилову, Буденному и Тимошенко, хотя очевидная негодность этих военных неучей для ведения современной войны, должна была быть ясна даже их партийным друзьям. Однако, тут это соображение, несомненно приносилось в жертву их преданности большевистской партии. Полбеды — когда сдавались в плен целые армии красноармейцев. Настоящая беда была бы, если командующий фронтом сознательно открыл бы свой фронт или повернул бы его на сто восемьдесят градусов.

Параллельно с этим власть политических руководителей (политруков) в армии была увеличена до диктаторских полномочий за счет власти боевых командиров частей.

Появились в большом количестве «штрафные батальоны» и были введены расстрелы через десятого в соединениях оказавшихся неблагополучными в смысле боевой морали.

И, наконец, как завершение всего этого, в непосредственной близости боевых линий, впервые в истории Российского государства и его вооруженных сил, появились в большом количестве, так называемые, — «заградительные отряды», составленные из отборных войск НКВД, обязанностью которых было, огнем в спину, заставлять красноармейцев итти вперед и не допускать их отступления.

Ворошилов, Буденный и Тимошенко, политруки, штрафные роты и батальоны, расстрелы через десятого и заградительные отряды — вот все, что дала в эту войну большевистская партия русскому народу и его армии.

Что же касается «несгибаемой воли к победе партии Ленина - Сталина», о которой любят говорить большевики и которая выразилась в подстрекательстве народа к сопротивлению, широко развернутой пропаганде и усилиях по организации отпора, то надо сказать, что у большевистской партии все это было вызвано отнюдь не заботами о благе страны и народа, а исключительно необходимостью спасать собственную шкуру. Ибо, в эту войну для большевиков было совершенно ясно, что проигрыш ее неминуемо влечет за собой гибель коммунистической диктатуры, в то время как выигрыш дает шансы не только на удержание власти, но и на значительное укрепление ее.

А если бы и на этот раз, как и в войне 1914 - 18 г.г. спасение большевистской шкуры зависело не от выигрыша войны, а от ее немедленного окончания, то нет никакого сомнения в том, что «партия Ленина - Сталина» поспешила бы навязать русскому народу еще один мир «без аннексий и контрибуций», вроде позорного Брест - Литовского мира, навязанного большевиками нашему народу в 1918 году и ставшему безусловно одной из предпосылок для войны 1941 года.

Однако, на этот раз для спасения большевистской шкуры нужна была только победа. И не видя другого способа заставить русский народ сопротивляться врагу, большевики в первой фазе войны применили, ука-

занные выше, старые и испытанные средства партийного контроля и беспощадного террора.

Надо ли говорить о том ,что методы, которые были эффективны в мирное время, оказались совершенно несостоятельными в условиях войны.

Абсолютные военные нули: Ворошилов, Буденный и Тимошенко, знакомые до некоторой степени с полупартизанским видом гражданской войны и ничего не смыслившие в современной войне крупного масштаба, очень скоро сделались посмешищем всего мира и, бросая свои армии на произвол судьбы, едва успевали спасать собственные головы из окружений и мешков.

Политруков никто не слушал, штрафные батальоны целиком переходили на сторону врага, а на расстрелы через десятого, красноармейцы отвечали расправами с энкаведистами, продолжавшимися и в лагерях военнопленных.

Ничего не могли сделать и заградительные отряды Они только увеличили процент сдающихся, ибо красноармейцы от огня, открываемого им в спину, правда, охотно шли вперед, но не в атаку, а в плен.

Таким образом, несмотря на все меры принятые советской властью, положение на фронте не только не улучшалось, а наоборот — ухудшалось во все возрастающей прогрессии. Число сдающихся в плен увеличивалось, территория занимаемая врагом росла изо дня в день, все более расстраивалась жизнь тыла. Партийные пропагандисты двадцать три года подряд занимавшиеся выливанием грязи на старую императорскую армию, с недоумением и ужасом констатировали, что в первую мировую войну старая русская армия за три года войны не пустила немцев дальше Ковеля, а теперь тот же враг после года войны выходит на среднее течение Волги. Никогда еще судьба кремлевских диктаторов, метавшихся в смертельном отчаянии между Москвой и Самарой, не была столь близка к своему логическому концу, как именно в этой первой фазе войны с Германией. Все их истерические вопли, обращенные к советским гражданам, о решительном отпоре врагу, оставались без ответа. В то время русский

народ еще не имел стимула для борьбы. Советское прошлое всем надоело. За «торжество марксизма во всем мире» и за «дело Ленина - Сталина« не собирался умирать ни один русский человек. Огромная страна, с ужасом и ненавистью вспоминая советское прошлое, напряженно и терпеливо ждала, что принесет ей будущее.

Трудно сказать точно, когда именно произошел коренной перелом в настроениях русского народа в этой войне. В разных частях страны, под влиянием различного рода причин, этот перелом происходил в разное время. Однако, я не ошибусь, если скажу, что начался он к истечению первого года войны, прошел через весь второй год и окончательно завершился к началу третьего года войны. В переводе на язык календарных дат, перелом этот начался летом 1942 года и окончательно выкристализовался к лету 1943 года.

Таким образом, примерно два года предоставил русский народ Германии для размышлений по русскому вопросу и для выполнения обещаний, которые сулила немецкая пропаганда в начале войны. Два года — срок более чем достаточный для того, чтобы каждая сторона могла сделать конкретные выводы из происходящего. Немцы этих выводов не сделали. Русский народ их сделал. И только тогда, когда русский народ воочию убедился в том, что немец пришел не затем, чтобы помочь ему освободиться от большевистской диктатуры, а для того, чтобы снова закабалить его, только тогда он, стряхнув с себя нерешительность и сомнения, сжав зубы от боли и злобы пошел бить немца, пытавшегося сыграть на долголетнем несчастьи русских людей для того, чтобы навязать им унизительное чужеземное рабство.

Этот перелом в настроении русского народа означал собой начало второй фазы войны, той фазы, когда войну вела уже не советская власть, а сам народ. И это обстоятельство принесло с собой чудодейственные перемены, как на полях сражений так и в советском тылу. Сводки германского верховного командования больше не сообщали, ни об окружениях, ни о взятых в плен

красноармейцах, а в советском тылу полуголодные люди — старики, женщины и дети — работали до изнеможения, заново создавая оборонную мощь страны.

Русский народ, во второй фазе войны, сам взял в свои руки дело борьбы с иноземным нашествием. В этом периоде он не нуждался более, ни в руководстве большевистской партии, ни в навязанных ею бездарных маршалах, ни в политруках ни в заградительных отрядах. В этой фазе войны военные вожди армии вышли не из рядов партийных фаворитов, а из толщи русского народа. Армия выделила из своих рядов десятки блестящих высших начальников, тысячи толковых командиров и сотни тысяч незаметных рядовых героев.

Теперь армия шла вперед не потому, что ей стреляли в спину заградительные отряды а потому, что она хотела итти вперед. И шла она теперь не для того, чтобы сдаваться в плен, а для того, чтобы победить. Она шла теперь руководимая не коммунистической партией, а чувством своего патриотического долга и национальной чести. С этим она шла вперед, с этим она дошла до Берлина.

В первой фазе войны большевистская партия хотела вести на буксире народ к победе. Из этого ничего не вышло. Буксир оторвался и сам тягач чуть не свалился в пропасть. Во второй фазе войны впереди идет русский народ и поневоле тащит за собою на буксире большевистскую партию. Это последнее обстоятельство явилось в ходе этой войны величайшим счастьем для коммунистической партии и ни с чем не сравнимой трагедией русского народа.

Коренной перелом в настроениях русского народа прекрасно учли кремлевские диктаторы. Они поняли, что этот перелом означает не только выигрыш войны, но и дальнейшую возможность удержаться у власти. Они знали, что теперь все заботы внутреннего порядка отошли для русского народа на задний план и все внимание его отвлечено на борьбу с внешним врагом. Они ясно отдавали себе отчет в том, что теперь борьба эта закончится победой и, что единственной их заботой дол

жно быть стремление во что бы то ни стало примазаться к будущей победе русского народа, для того, чтобы в свое время с этой победы получить свой ростовщический процент. А для этого надо было, во всем итти навстречу желаниям народа, подогревать его патриотические чувства, попытаться убедить его еще раз, что партия и народ неотделимы друг от друга и прежде всего попробовать засыпать, хотя бы временно, ту духовную пропасть, которая всегда отделяла руский народ от коммунистической партии.

Именно, поэтому во втором периоде войны, большевистская партия сорок лет боровшаяся против национализма, резко поворачивает рулевое колесо и вводит советский корабль в воды исторического русского национального патриотизма.

Этот неожиданный поворот в истории большевистской партии и советского государства получил от советских граждан название: — «Национальный НЭП».

Втечение этой войны, особенно в ее второй половине, многие советские граждане часто уделяли несколько минут в день довольно странному, но весьма любопытному занятию. А именно: — узнав из свежего номера «Правды» или «Известий« об учреждении, скажем, ордена Александра Невского, они доставали со ответствующий том «Советской энциклопедии» или какой либо другой подходящий справочник и не без удивления и ехидства вычитывали там, что.... «Александр Невский был хитрый и лживый феодальный князь, притеснявший русское крестьянство, угождавший духовенству и игравший на руку зарождавшемуся в то время феодальному капитализму...» Удовлетворенно посмеявшись про себя, любознательный советский гражданин откладывал справочник и погружался в обычный трудовой день.

Однако, очень скоро ему снова надо было браться за справочник: из нового номера московской газеты он узнавал, вдруг, о введении в красной армии — золотых погон! И хотя в его ушах еще явственно звучали вся та злоба и презрение, которое годами партийные аги-

таторы вкладывали в ругательное слово — «золотопогонник«, тем не менее он розыскивал нужное место в справочнике и оттуда узнавал, что .....«золотые погоны, существовавшие в русской царской армии, служили для укрепления классовой розни и создавали оскорбительное неравенство между командным составом, состоявшим из представителей привиллегированного класса и нижними чинами, набиравшимися среди рабочих и крестьян...»

Подивившись такому определению столь неожиданно воскресших золотых погон, гражданин успокаивался, но опять не надолго. Уже через несколько дней столичный номер газеты повергал его в крайнее смятение сообщением об открытии церквей для молящихся, выборах московского патриарха и о молебнах о даровании победы «христолюбивому воинству нашему», в присутствии членов Политбюро ВКП(б). еще так недавно открывавших очередные съезды Союза безбожников. На этот раз любознательному гражданину не надо было даже заглядывать в нужный справочник. Он слишком хорошо и твердо помнил еще большевистские истины о том, что «Бога выдумали попы» и, что «религия — опиум для народа«.

С тем большим интересом читал он в официальном органе ЦК ВКП(б) послание свежеиспеченного московского патриарха к Сталину, в котором глава православной церкви призывал Божье благословение на голову главы не признающей Бога коммунистической партии. Правда, в этом послании редакция партийного официоза набирала слово «бог» с маленькой буквы, а обращение к Сталину на «Вы» — с большой. Кроме того, распоряжение «открыть церкви для молящихся» было строго говоря, пустым звуком, ибо в огромном большинстве российских городов и сел уже давно не было ни одной церкви. Но это не смущало любознатель ного гражданина. Его интересовал, главным образом факт, а не его последствия.

А факты с поразительной быстротой громоздились один на другой. Появились ордена, носящие имена воск ресших из небытия: Суворова, Кутузова, адмиралов

Нахимова и Ушакова, восставали из пыли давно оплеванные и освистанные слова. «родина, священный долг, честь, мораль», откапывались из архивов и пускались в оборот «великие исторические примеры», «славные традиции«, «заветы нашей старины» и во всем этом бурно и буйно вставало во весь рост былое величие великой страны и под его незримым напором трещали и расползались по швам, шитые гнилыми нитками, и «марксистская идеология», и «дело Ленина-Сталина», и тошнотворная духовная похабщина, именуемая «диалектическим материализмом». Трещала и расползалась по швам, — ибо воскресение слов, образов и понятий русской национальной старины, автоматически вытесняло из жизни своих марксистских антиподов: — официально закрылся «Коминтерн», в один день был ликвидирован лелеемый десятилетиями «Союз безбожников«, перестал быть государственным гим ном знаменитый «Интернационал», ушли в партийное подполье десятки и сотни привычных большевистских лозунгов и словечек. Даже пресловутое выражение— «партия и правительство» — претерпело коренное изменение и на страницах советских газет запестрели умилительные по своей скромности обозначения вроде: «народ и партия», «народ и правительство« и даже совсем трогательное — «армия и народ».

В чем дело? Что случилось? Переоценка ценностей? Конец марксизма?

Ничего подобного.... Случилось очень простое и даже не новое.

Когда в начале советского режима его дальнейшему существованию грозила все разроставшаяся хозяйственная разруха, — большевистская партия объявила — «новую экономическую политику», известную под названием — «НЭП'а».

Когда, двадцать лет спустя, существование советского режима было поставлено под вопрос условиями внешней войны, большевистская партия объявила — «новую национальную политику».

Не спроста последняя получила от советских граждан название — «национального НЭП'а». Тождествен-

ность этих двух мошеннических маневров большевистской партии сразу же бросается в глаза. Оба они были произведены не во имя народных интересов, а исключительно ради спасения собственной большевистской шкуры. В обоих случаях они явились полной неожиданностью для советских граждан. И, наконец, оба они в корне противоречат основным положениям марксизма и догматам большевистской веры.

Однако, если оба эти шуллерских маневра являются внешне тождественными, то в их внутренней сущности покоится огромная и не поддающаяся никакому сравнению разница.

Осуществление первого маневра — введение новой экономической политики — легко оправдывалось советской властью хозяйственной разрухой страны, вызванной первой мировой войной, революцией и воинои гражданской. Кроме того, это отступление от партийной программы, было произведено в первые годы существования советской власти и, таким образом, легко находило свое оправдание, и в неопытности партийных кадров, и в неподготовленности масс.

Ни одному из этих оправданий нету места в применении к новой национальной политике, введенной большевиками в годы второй мировой войны. В данном случае в «неопытности партийных кадров» и в «неподготовленности масс« большевистской партии пришлось убедиться не в начале советской эпохи, а на двадцать шестом году существования советского режима. Таким образом, по прошествии такого громадного срока, срока втечение которого выросло целое поколение, советские массы оказались абсолютно ч у ж д ы марксистской идеологии, а партийные кадры этого обстоятельства совершенно не учли.

Этот факт, что после четверти века большевистского перевоспитания русского народа, народ наш оказался совершенно равнодушным к лозунгам Маркса, Ленина и Сталина и для него, в дни войны, т.е. в дни большой духовной пробы, пришлось в срочном порядке вытаскивать не из партийного, а из русского национального архива давно оплеванные большевиками зна-

мена Суворова, Кутузова и даже «святого благоверного» великого князя Александра Невского, означает неслыханное моральное поражение марксистской идеологии и большевистской партии, перед которым бледнеют все их прежние неудачи политического, экономического и иного порядка.

Как известно, «новая экономическая политика» — после того как поставила на ноги хозяйственную жизнь страны — была признана большевиками лишь «временной передышкой на пути к социализму» и затем была отменена. Это их решение ввергло советскую страну в состояние перманентного экономического кризиса.

Когда, во время этой войны, большевики ввели «новую национальную политику», многие были склонны думать, что это тоже «временная передышка на пути к интернационализму», которая будет отменена вскоре же после окончания войны. Когда я слышал такие предположения, то я всегда спрашивал: после окончания какой войны? С Германией или войны за подчинение всего мира коммунистической доктрине?

Нет никакого сомнения в том, что после окончания войны с Германией «новая национальная политика» отменена не будет. Ибо конец войны с Германией еще не будет означать конца войны большевиков против буржуазного мира. А для этой войны «новая национальная политика» будет также нужна, как она была нужна и в войне минувшей. Ведь если знамена Маркса Ленина и Сталина оказались никуда негодными в войне оборонительной, то тем более негодны они для войны наступательной. Почему же для этой последней не оставить, уже проверенные знамена Суворова, Кутузова и Александра Невского? В конце концов, не все ли равно с чьим именем на устах раздавить буржуазный мир — с именем Маркса или Суворова? Главное — раздавить, а «цель оправдывает средства» — всегда были одним из основных принципов большевистской партии.

А вот если и эта окончательная победа будет когда либо достигнута, тогда нет никакого сомнения в том, что «новая национальная политика» будет объявлена тоже

лишь «временной передышкой на пути к интернационализму« и, прошедшие сквозь новые военные бури старые российские знамена Кутузова, Суворова и Алек сандра Невского, будут свернуты уже окончательно. Из своего же морального поражения в годы минувшей войны, большевистская партия, разумеется, сделает выводы и несомненно, что после окончания войны 1941 - 45 г.г. наступит новый период проверки работы партийных кадров, политических чисток и постепенного внедрения марксистской идеологии в головы масс, оказавшихся и на двадцать шестом году советской эпохи «несознательными».

Начало второй фазы войны. не столь ее стратегические и тактические перемены, сколь именно духовный перелом ее, относится к весне - лету 1943 года. Однако, первые симптомы грядущего перелома, сказались уже в многомесячной битве под Сталинградом.

Если, в свое время, всей минувшей войне большевистские исследователи попытаются придать вид «сталинской войны», то битве под Сталинградом, они уже теперь приписывают исключительно характер «гениаль ной сталинской победы» и даже (что весьма неожиданно для последователей диалектического материализма) известную мистику, связанную с новым именем города Царицына.

Как и большинство изысканий большевистских исследователей, так и уже появляющиеся характеристики сталинградского побоища, очень далеки от того, что бы быть верными. На исход сталинградской битвы никакого влияния не оказал, ни вдруг обнаружившийся военный гений глубоко штатского Сталина, ни своеобразная большевистская мистика связанная с названием этого города.

На исход исторической битвы под Сталинградом в равной степени повлияли два совершенно разнородных но взаимно дополняющих друг друга элемента: — предельная возможность растяжения германской армии и возросшая сопротивляемость русского народа, вступав шего к тому времени во вторую фазу войны.

Если бы германская армия не потеряла в первую зиму триста четыреста тысяч замороженных солдат, то весьма вероятно, что на сталинградском направлении немцы продвинулись бы еще на пятьдесят или сто километров дальше. А если бы они в первую зиму заморозили солдат вдвое больше, то германская армия не дошла бы и до Сталинграда.

Однако, независимо от того прошли бы немцы дальше Сталинграда, или не дошли бы до него, все равно германскую армию к этому времени уже подстерегала военная катастрофа, предпосылками для которой являлись упомянутые выше разнородные элементы, а сам город Сталинград оказался лишь случайным перекрестком, на котором пересеклись взаимодействующие линии этих двух элементов. Любителям же сомнительной большевистской мистики тут уместно напомнить, что большой донбасский город Сталино был сдан немцам без боя.

Исследователям этого периода войны на востоке может показаться странным резкий переход от победного шествия германских армий по Дону, Кубани и Северному Кавказу, где они не встречали почти никакого сопротивления, к упорному четырехмесячному сражению под Сталинградом, где приходилось брать с бою каждый камень.

Большевистским исследователям войны, этот резкий переход от отступления к сопротивлению, облегчит создание мифа «сталинградской ловушки» заранее приготовленной «гениальным стратегическим замыслом верховного главнокомандующего».

Однако, переход этот сильно теряет в своей резкости, если учесть то обстоятельство, что к лету - осени 1942 года главные силы красной армии, ввиду ожидавшегося немецкого удара на Москву, были оттянуты за линию Орел - Курск - Воронеж - Сталинград, а равно нельзя забывать и того, что в этом своем победном шествии летом 1942 года немцы шли по казачьим областям, население которых всегда являлось наиболее решительным и действенным противником советского строя.

Разбирать подробно ход сталинградской битвы в мои намерения, разумеется, не входит. В свое время об этом будут написаны десятки книг более компетентными авторами. И надо думать, что эти последние, разбирая причины германской военной катастрофы на берегах Волги, правильно учтут происшедший к тому времени духовный перелом в массах русского народа, который в первую очередь определил исход этой гигантской битвы.

Весть о сталинградской катастрофе пришла в германскую столицу почти одновременно с моим возвращением в Берлин из второй поездки на родину.

Вторая мировая война вступала в новую и решающую фазу.

КОНЕЦ 1 ЧАСТИ

1945 - 46 г.г.
Альт - Аусзее,
Верхняя Австрия.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Стр.

От издательства 5

1. Вступление 7

2. Несколько слов о себе. Молодое поколение эмиграции. Прощай Белград. 11

3 В Берлине. Ожидания и разочарования. На родину. 18

4. По дороге «туда». Рига - Ревель. Заветная черта. 31

5. На родине. Первая встреча. Прогулка по Пскову. 42

6. Мы и они. Псковичи о советской власти. Последние могикане. 57

7. Святки на родине. Троицкий собор. Воскресший сочельник. 71

8. Деревня. В гостях у мельника. Обратный путь. 79

9. «Крестовый поход за салом». Ставка на неудачи. Харьковская битва. 94

10. Снова на родине. Киев—главный вокзал. Бывший город. 107

11. На киевских улицах. Плановое хозяйство Всесоюзный комиссионный магазин. 122

12. Киевская старина. Советское наследство.
К физическому и моральному нулю. 138

13. По дороге на юг. Край колхозный. В товарном вагоне. 160

14. Днепропетровск. О большевистской скромности. Под фабричными трубами. 179

15. Поезд идет в Крым. Симферополь.
К Черному морю. 197

16. Там, где был Севастополь. Тень Нахимова.
На Южном берегу 211

17. Два лица марксистского государства. Устои власти. О сущности большевизма. 228

18. «Солнце восходит на западе» Немцы в России. Три лошади Сталина. 249

19. Две фазы войны. Национальный НЭП Сталинградское побоище. 267

Замеченные опечатки

Стр.	Строка	Напечатано	След. читать
61	19 (сверху)	А почему	А вы почему
68	5 (снизу)	роди-	родину
70	10 (снизу)	мятущихся	мечущихся
96	11 (сверху)	верну-	вернулись

ESTE LIBRO SE TERMINÓ
DE IMPRIMIR EN LA
IMPRENTA „LA VOZ"
c. DEFENSA 828 BS. AIRES
EL DÍA 31 de MAYO, DEL
AÑO DEL LIBERTADOR
GENERAL SAN MARTÍN
1950

EDITADO POR EL PERIODICO
„NUEVA PALABRA"

*

Отзывы о книге и прочую корреспонденцию — направлять непосредственно по адресу автора:

N. Fevr, — Casilla de Correo Nr. 2585, Buenos Aires, República Argentina.

Precio en la Argentina:	**12 m/n.**
Цена в Аргентине:	**12 песо.**
En el Exterior:	**$ 2**
Заграницей:	**$ 2.**

Николай
ФЕВР

СОЛНЦЕ ВОСХОДИТ НА ЗАПАДЕ